

Январь' 2024

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с января 1958 года



Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области
«Редакция журнала «Урал»

СОДЕРЖАНИЕ

ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Александр КУШНЕР. Летний сад зимой. <i>Стихи</i>	3
Олег ХАФИЗОВ. Государева стража. <i>Истерн</i>	6
Андрей КОРОВИН. Мир не закончен, но зачат. <i>Стихи</i>	62
Анна РУССКИХ. Одно счастье моё. <i>Рассказ</i>	70
Феликс ЧЕЧИК. Капелька огня. <i>Стихи</i>	80
Кирилл КОМАРОВ. С квартиры на квартиру. <i>Повесть</i>	86
Максим ЗАМШЕВ. Мы долго говорили не о том. <i>Стихи</i>	130
Анастасия АСТАФЬЕВА. Птичку жалко! <i>Рассказ</i>	133
Евгений СТЕПАНОВ. Трудная работа. <i>Стихи</i>	137
Дарья АФОНИНА. Страх. <i>Рассказ</i>	143
Ольга ЕФИМОВА. Твоя душа, приговоренная к бессмертью... <i>Стихи</i>	148
Марат БАСКИН. ЖЗЖ (Жизнь Замечательных Животных)	150

ПОЧТИ БЕЗ ВЫМЫСЛА

Андрей БАРАНОВ. Полёт на спине у бабочки	164
--	-----

ДЕТСКАЯ

Наталья СМИРНОВА. Сохла и Мокла. <i>Повесть</i>	169
---	-----

Екатеринбург

БЕЗ ВЫМЫСЛА

Сергей БОРОВИКОВ. Запятая-22. (В русском жанре — 82) 199

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Михаил ГУНДАРИН. Образы провинции. Обзор книг-финалистов премии «Ясная Поляна» — 2023 205

КНИЖНАЯ ПОЛКА

Анна КУЗЬМИНА. Книга о «большой» и «малой» истории.
Леонид Юзефович. Поход на Бар-Хото 213

Татьяна ВЕРЕТЕНОВА. «Чистое наслаждение движением».
Дмитрий Данилов. Пустые поезда 2022 года 216

Алефтина БОЯРИНЦЕВА. Замкí и зámки классической музыки.
Дина Карнарская. Классика на бегу: Музыкальные шедевры от Средневековья до современности 219

Анна АЛИКЕВИЧ. Сложная болезнь.
Валерия Соболев. Febris erotica. Любовный недуг в русской литературе 221

ИНОСТРАННЫЙ ОТДЕЛ

Сергей СИРОТИН. Лечение прошлым.
Георги Господинов. Времеубежище 225

ВОЛШЕБНЫЙ ФОНАРЬ

Валерий ИСХАКОВ. Homo pelevins.
Ампиr V, фильм, Россия, реж. Виктор Гинзбург, 2011–2023 229

СЛОВО И КУЛЬТУРА

Андрей ПЕРШИН. Оправдание тени 231

КРИТИКА ВНЕ ФОРМАТА

Василий ШИРЯЕВ. Вот отключат интернет — тогда заживём 236

Александр Кушнер

Летний сад зимой

Летний сад похож зимой на кладбище,
Словно лето в нем похоронили.
Что-то в этом роде Мандельштам еще
Говорил в своем блаженном стиле.

Мы скромнее скажем, простоватому
Языку привержены и слогу,
Что привыкнуть к домику дощатому
Нелегко ни цезарю, ни богу.

Можно ли в гробу стоять навтыжку
День за днем, всю зиму, неподвижно?
Силу где такую взять и выдержку,
Ничего ж не видно и не слышно!

И не всякий бог сумел отважиться,
Скажем, Пан — пожить в такой могиле.
Вот и мы с тобой ни разу, кажется,
В Летний сад зимой не заходили.

Зимний дворец

Зимний зеленый, как роща, дворец
Радует взгляд и зимою и летом.
Кажется, жить бы в нем мог и скворец,
И соловей, и довольны при этом
Были бы статуи пением их,
Стоя на крыше, и для Тициана
И Леонардо порханье таких
Зрителей было бы тоже желанно.

Александр Кушнер (1936) — родился в Ленинграде в семье военно-морского инженера. 10 лет преподавал русскую словесность в школе. Автор более тридцати книг стихотворений и филологической прозы. Лауреат Государственной премии РФ и многих других литературных премий и наград. Главный редактор «Библиотеки поэта» (с 1992) и «Новой библиотеки поэта» (с 1995). Живет и работает в Петербурге.

Кажется, этот зеленый фасад
С белой его золоченой лепниной,
Многоколонный, приневскому рад
Ветру, волнистый, барочный, старинный,
Как упоителен, как золотист,
Можно ль смотреть на него без восторга?
Я в этом смысле, увы, монархист,
И Петербург мне милее Нью-Йорка.

Жизнь — это улица с односторонним движением.
В прошлое нам не вернуться, пути туда нет.
Это большое, с одной стороны, утешение,
Это, с другой стороны, безутешный сюжет.

Я, между прочим, и жил на упрямце улице,
Не позволявшей машинам назад повернуть.
Значит, не стоит по этому поводу хмуриться
И унывать мне: устроится всё как-нибудь.

Тучками на небе залюбоваться жемчужными,
К саду пройти, на скамью рядом с кленом присесть.
Исстари велено быть нам законопослушными,
И параллельная улица где-нибудь есть!

Знаешь, как держат руки кариатиды,
Кверху подняв высоко их над головой?
Знаешь, как давят беды, болят обиды,
С ними в сравненье не тяжек карниз любой.

Но, может быть, неземная архитектура,
Все эти звезды, планеты и Млечный путь,
Нами любясь, хотят, чтобы мы понуро
Жались к стене и держали бы что-нибудь.

Грустно, конечно, вот так, проглотив обиду,
Молча стоять в тупике, опустив глаза.
А пожалел ли хоть раз ты кариатиду?
Вот и тебя не жалеет созвездье Пса.

Все поэты, любимые мной,
Сомневались в возможности той
Жизни: Пушкин в заветную лиру
Душу вкладывал, Вяземский ждал
Только смерти от смерти, скучал
Баратынский, не радуясь миру.

Лишь Жуковский, в балладе своей
Снам не верить велевший Светлане,
Обещал пробуждение ей
В лучшем мире: ни кони, ни сани
Не нужны там, ни снег, ни луна,
Мчаться незачем напропалую,
И уверен был, что не одна
Жизнь у нас, обещающая вторую.

Я хотел бы поверить тому,
Что рассветы его и закаты
Отменяют загробную тьму,
Да стихи у него скучноваты,
И нужнее мне пристальный взгляд
И осмысленно-точное слово.
Или рай вообще скучноват,
И к блаженству душа не готова?

А Пушкин тем еще так дорог мне, что он
Легко на жизнь смотрел и смерти не боялся.
Недаром нравился ему Наполеон,
Дантес не первым был, с кем храбро он стрелялся.

«Предполагаем жить, и глядь — как раз умрем».
Подумай, как проста, спокойна эта фраза!
А «Выстрел» перечти — и всё поймешь о нем,
О мужестве его из этого рассказа.

Уж он ли не любил тригорские дубы,
Кипение волны в уступчатом Гурзуфе?
Переломить бы ход капризницы судьбы,
Париж бы посетить, увидеть бы Везувий!

И что ему петля, опутавшая нас
И узел с каждым днем сжимающая туже?
И в Арзамасе был проездом девять раз,
Ни разу в нем не впад в толстовский смертный ужас.

Олег Хафизов

Государева стража

Истерн

Делибаш уже на пике,
И казак без головы.

А.С. Пушкин

Пролог

Говорят, если поскрести любого русского, то под ним обнаружится татарин. Общим местом стало перечисление русских знаменитостей татарского корня: Суворова, Кутузова, Державина, Тургенева, Куприна и других. Да и у типичных русских, не знающих ни одного татарского предка на протяжении многих поколений, встречаются такие фамилии, которые не могут быть не чем иным, как мусульманскими именами или тюркскими прозвищами, и такие физиономии, что хочется заплатить дань.

Среди коренных татар, владеющих родным языком и исповедующих ислам, также можно встретить голубоглазых блондинов с европейскими чертами лица, и им также ничего не известно об их русских или каких-либо еще европейских предках. И в этом, конечно, нет ничего удивительного, учитывая несметное количество славянских пленников и особенно пленниц, вывезенных татарами в «полон», а затем и русскую колонизацию Востока, и века сосуществования, неизбежно приводящего к самым замысловатым генеалогическим хитросплетениям.

Литературной попыткой расплести два таких хитросплетения и является этот «истерн». Прозвища его героев, превратившиеся в русские фамилии, встречаются в описаниях боевых действий на южном фронтире XVI–XVII веков и в «роспросах» русских полоняников, вышедших из крымского плена, в делах Тайной канцелярии Анны Иоанновны и мемуарах пушкинской поры, в годы Великой Отечественной войны и в наши дни.

Возможно, кто-то из читателей узнает в этих прозвищах имена своих отдаленных предков с русской или татарской стороны. Ведь жизнь этих людей никогда не прекращалась и продолжается из века в век. Вы только вслушайтесь: Темир Шибаетов сын Аламыкин, Злоба, Горемыка, Нератной, Непомой, Истома, Урус...

Олег Хафизов — прозаик, эссеист, сценарист. Родился в Свердловске. Окончил факультет иностранных языков Тульского педагогического института им. Л.Н. Толстого, учился в Литературном институте им. А.М. Горького. Работал художником-оформителем, переводчиком, журналистом, телеведущим, педагогом. Печатался в журналах «Новый мир», «Знамя», «Октябрь», «Дружба народов», «Урал» и др. Автор четырех книг прозы. Финалист конкурса им. И.П. Белкина (2004), дипломант Международного Волошинского конкурса (2012). Живет в Туле.

Бегун

Жизнь в украинном (пограничном) городе была не менее опасна, чем у подножия действующего вулкана, но, пожалуй, более хлопотлива.

Прошлой весной татары как призраки проникли сквозь все русские преграды, а затем, словно из-под земли, явились во внутренних уездах и рассыпали войну, то есть разбились на небольшие шайки — загоны и приступили к методичному грабежу селений, вывозя из них все до последнего гвоздя и уводя ясырь, то есть всех детей, более-менее привлекательных женщин и работоспособных мужчин — для продажи на невольничьих рынках в Кафе (Феодосии) и других приморских городах.

Это был очередной набег с целью грабежа, каким и счет потеряли. Но в нынешнем году, по данным агентов из Крыма, готовилось большое нашествие всей орды во главе с самим царем Девлет-Гиреем. И для того, чтобы его упредить, правительство, кажется, учитывало все предыдущие неудачи, принимало все возможные меры.

Из городов далеко в Поле забрасывались станицы — мобильные отряды из самых «добрых, конных и оружных» казаков, на лучших боевых конях-аргамаках, с лучшим оружием, которые непрерывно рыскали по степи, не «сседая» с лошадей, не разводя костров в приметных местах, никогда не днюя там, где ночевали, и не отсиживаясь в лесах.

Все опасные направления патрулировали сторожи — пикеты из 4–6 человек, непрерывно разъезжающие по своим урочищам на дорогах-сакмах или сидящие в притонах (засадах). Одна из таких дальних сторож находилась у Турмышского брода через Красивую Мечу — узкий быстрый приток Дона, который татары перелезали прошлой весной.

Для того чтобы этим бродом больше не могли воспользоваться всадники, его дно было утыкано заостренными кольями и забросано острыми железными рогульками — чесноком. На самом высоком дереве среди береговых зарослей была устроена кровать — род балкончика, на котором днем и ночью не смыкал глаз караульщик. Рядом с караульным казаком стоял короб смолы с берестой, которую следовало запалить по вестем при получении сигнала о несомненном приближении врага.

После дымового сигнала со сторожи такой же столб дыма пускали на вышке ближайшей сторожи, а затем на всех вышках, находящихся в пределах видимости, так что этот дымовой телеграф действовал в считанные минуты, и крепость успевала подготовиться к встрече «гостей» задолго до того, как они достигали ее стен самым быстрым аллюром.

За ложную тревогу полагался штраф, и, прежде чем поджечь смолу, караульщик должен был получить сигнал от казаков, которые верхом патрулировали свой участок границы — семь верст направо от брода, где стоял приметный конь-камень — допотоппный мегалит в виде чудовища на ножках, и шесть верст налево — где начинался Брысинский лес и участок соседней сторожи.

Из-за режима чрезвычайного положения, объявленного казачьим головой Епифани, на стороже у Турмышского брода постоянно находился начальник сторожевой службы, сотник из похолопленных дворян (боевых слуг) князя Мстиславского по полуимени Ермолка.

Сегодня по сакме катался всего один казак, хотя это и не полагалось по боярскому приговору (уставу). Двух людей, командированных из Донкова, Ермолка послал в город за припасами, один казак сидел на дереве, и один спал в шалаше, ожидая своей смены.

Несмотря на свой офицерский статус, по лагерю дежурил сам Ермолка, и он же подменял человека на «кровати». Перед рассветом Ермолка развел костер, сварил кашу и разбудил казака для отправки в Поле. Молодой казак, выдернутый из самой глубины интересного сна, в котором он как раз ласкал красивую жену Ермолки, обжигался горячей кашей и, кажется, не совсем еще понимал, где он находится и что от него требуется. Он был недавно при-

бран на службу, и о нем было только известно, что его зовут Истома Шацкий, то есть, судя по прозвищу, он прибыл из города Шацка.

— Был бы я боярин, спал бы до обеда, — признался Истома, потягиваясь.

— Чего же для пришел ты с Шацкого на Епифань? Оттуды на сторожу не гоняют, — хмуро справился Ермолка, заливая и затаптывая костер для маскировки.

Сотник всегда выглядел хмурым, чтобы не догадались, что он добрый человек.

— Льготы ради, — весело отвечал Истома. — Сказывали, на Епифани князь Мстиславский дает хорошее жалованье, мне и захотелось в городовые казаки: сытно жити, двор ставити, жену имати. На Шацком я в подсосудниках ходил: с рассвета до обеда землю роешь, а с обеда до заката копаешь.

— Тоже — дворянин лапотный, — проворчал Ермолка и подумал: «Молодые, а порченые, одна выгода и воля на уме».

Ермолке было под сорок, он чувствовал себя пожилым человеком и считал, что молодежь значительно ухудшилась с тех пор, когда ему самому было девятнадцать лет.

Отсыпая из погребка паек сухарей для Истома, Ермолка в который раз заметил, что мешки с провизией как будто чересчур быстро убывают.

— Ты без меня в погребок не лазал ли? — через плечо спросил он Истома.

— Нет, а на что мне? Может, бобры? — отвечал молодой казак.

— Бобры зерно отсыпали да и мешок за собой завязали? За яйца бы того хитрого бобра, — проворчал сотник.

Он проверил подпругу коня, одернул «пансырь» казака, а затем снял с седла пицаль и принес вместо нее из шалаша саадак — лук в футляре (налуче) и стрелы в колчане.

— Ручница сильнее бьет, — напомнил Истома, предпочитающий, как вся молодежь, современное оружие.

— Не успеешь приложиться, как татарин тебя стрелами истычет, а из-готовишься палити, за версту учует фитиль. Шум поднимешь, сторожу выдашь. Не даю ручницу.

— Еще кто кого! — возразил Истома, выдвигая из ножен саблю и со щелчком швыряя ее обратно в ножны. Он был парень дерзкий, как все, кто попадал в это пекло.

— Охоробился, — притворно проворчал Ермолка. — Ты передо мной не храбрись, ты перед татары храбрись.

Перед отправлением Ермолка выдал Истому условный знак — деревянный медальон на шнурке с выжженным царским орлом. Этот признак следовало обменять на такой же медальон предыдущего сторожа, который предъявит его начальнику по возвращении с дежурства, и так далее. Таким образом сторожа подтверждали, что они действительно побывали на урочище и приняли смену.

— А уйдешь с урочища, и татаровя тем временем пройдут безвестно делать войну, казнен будешь смертью, — закончил Ермолка свое наставление и не увидел, но почувствовал в темноте, как Истома ухмыляется.

В потемках Ермолка разгородил замаскированный лаз через реку, устроенный выше непроходимого брода, и Истома, ведя за собою запасную лошадь, исчез среди ползущего с реки пара, словно провалился.

«Между татарскими и московскими границами лежит большое поле; в нем не увидишь ничего, кроме неба и земли: ни домов, ни деревьев, только траву», — писал немецкий опричник царя, посетивший русскую Украину в описываемое время.

Но то, что казалось немцу просто землей и травой, было для жителей степи Муравским шляхом — такой же скоростной дорогой, как современная автотрасса Москва — Дон, проложенная, к слову сказать, в этом же самом месте, на водоразделе рек, по единственно возможному природному проходу,

где пролегали татарские сакмы, а еще раньше — дороги половцев, печенегов, хазар и всех тех легендарных племен, которых европейцы называли скифами.

Эту дорогу, которая показалась бы нам, как и немецкому опричнику, просто неровным бескрайним полем, Истома должен был объезжать от света до света в любую погоду, не покидая седла, подолгу каменным идиолом замирая на вершинах холмов, где была особенно хорошая видимость, и поспешно пересекая лощины, где его могли обнаружить первым.

На рассвете следующего дня его должен был сменить другой сторож на том самом урочище у залесенной балки, примерно в часе езды от брода, куда он в темноте почти вслепую прискакал с первыми лучами солнца.

Найдя нужное место по очертаниям лесной громады на зеленеющем небе, Истома смело пустил коня в самую печную сажу зарослей, где, казалось, можно было на каждом шагу провалиться в яму или врезаться в ствол дерева. Проехав таким образом несколько шагов вслепую и ведя за собой запасного коня, Истома замер и стал прислушиваться. После шума езды, металлического бряцания, тяжелой поступи, дыхания и фырканья животных тишина хлынула в уши Истома громким шипением, а затем обернулась целым концертом бесчисленных лесных звуков, от шелеста листьев и скрипа стволов до утреннего пересвиста птиц и громкого шороха ежа, который шумел, как ползущий лазутчик.

С минуту послушав тишину и не заметив в ней ничего подозрительного, Истома подал сигнал — свист синицы с условными интервалами. Ему отвечали синицы, но настоящие, а не условные. Истома повторил сигнал еще раз — ответа не было.

«Спит, собака», — подумал Истома, и в это время кто-то запрыгнул сзади на его седло, обхватив одной рукой его плечи, а другой приставив к горлу нож.

— Утерден — убит! — сказал этот кто-то голосом казака Кости, который, как многие русские воины, любил щеголять языком противника и перенимать его обычаи.

— Допрыгаешься, — отвечал Истома совершенно хладнокровно, несмотря на лезвие ножа у самой артерии. — Сломаешь хребет аргамаку, заплаатишь из своих.

Истоме надоели молодецкие проделки Кости, от которых он чувствовал не страх, но неприятное напряжение.

Оставив товарища в покое, Костя вывел из зарослей замаскированного коня.

— На что тебе конь заводной? — удивился Костя, увидев у Истома вторую лошадь.

— Гостя встречать: царя Кирея с татары, — огрызнулся Истома.

Отношения между двумя казаками были приятельские, но они, как принято в тесном мужском сообществе, почти совсем не разговаривали нормально, а считали своим долгом обязательно друг друга поддеть и подколоть.

— Волки на сакму прибегали, я одного уязвил стрелой, поищи за ручьем у березы горелой, — сказал Костя уже без прибауток.

— Не надо было зверя бить, как бы он гостей на нас не навел, — напомнил Истома.

— Гнали они меня, проклятые, чуть не сожрали, еле отбился! — возразил Костя.

«Худая примета», — подумал Истома.

— Худая примета, к мертвецам сбегаются, — сказал Костя, словно читая его мысли.

Солнце поднялось и хлынуло на поля, и одновременно залились жаворонки, словно вышивая глубокое синее небо со всех сторон золотыми нитями своих радостных голосов.

— Возьми ручницу от волков, — сказал Костя, оставляя товарищу свою пицаль с перевязью-берендейкой. — Ну, саубул (будь здоров), упаси бог от гостей.

— Саубул, спаси Христос, — отвечал Истома на тот же модный манер.

Они обменялись приметам и обнялись. Костя стеганул коня и помчался по полю галопом, словно не насккался за целые сутки дозора. Истома дождался, пока фигура всадника не превратится в точку, а затем и не уляжется поднятая им пыль. Потом он слез в овраг, разобрал на дне тайник из тяжелых камней и достал запас провизии, украденной у товарищей и понемногу собранной за время дозоров.

Он нагрузил свои припасы на запасную лошадь, вскочил на аргамака и пустился вскачь с не меньшей прытью, чем возвращался в лагерь истомившийся в дозоре Костя. Однако он скакал не поперек лощины, которой пролегала сакма, а вдоль, прямо на кроваво-малиновое солнце, приводившее на Русь гостей.

По расчетам Истома, за целые сутки он должен был отъехать достаточно далеко, чтобы его не догнали, даже если Ермолка решится оставить сторожу и броситься в погоню. Затем он уже может ехать не торопясь, пока не найдет где-нибудь на берегах Северского Донца станицу и не станет вольным казаком.

Если же опытному следопыту Ермолке удастся выследить и перехватить бегуна, то его повесят у ворот епифанской крепости.

В то время когда Истома с запасной лошадью скакал по Муравскому шляху на юг, навстречу ему ехали те самые гости, которых он должен был встречать.

Крымский отряд из сотни всадников, каждый из которых вел за собою еще по две лошади, остановился в укромной лощине на берегу ручья для основательного отдыха перед тем как перейти из относительно безопасной зоны дикой степи в те места, куда добирались разъезды русских казаков.

Сверху этот небольшой отряд производил впечатление целого войска из-за множества лохматых лошадок, которые разбрелись по всей долине. Выставив караул на холме, с которого открывался хороший обзор степи, сотник приказал воинам разбивать лагерь и отдыхать. Татары, как муравьи, таскали хворост из балки, разводили костры и готовили пищу. Одни мыли в ручье своих лошадей, расчесывали их длинные гривы и чистили копыта, другие поправляли растрепанное дорогой снаряжение. Те, что постарше, разувшись, отдыхали в тени и метали кости. Те, что помоложе, несмотря на утомительный марш, умудрялись носиться друг за другом по полю, толкаться и бороться.

Молодой воин Хафиз, которому впервые доверили участие в таком важном разведывательном походе, не только успел перекусить лепешкой с сыром, но уже и искупался сам, и помыл всех своих коней, и отправился побродить по окрестностям с луком, чтобы добыть себе на обед свежего мяса.

Матерью Хафиза была русская полонянка, он свободно говорил по-русски, и поэтому товарищи прозвали его Урус Хафиз. Мать Хафиза звали Мариам (Мария), ее «окупил» — выкупил и взял в свой гарем татарский мурза — заслуженный военачальник, принимавший участие во множестве военных кампаний в Московии, Литве и Польше, а теперь отошедший от дел по здоровью.

Отец Хафиза, старый израненный воин, не хотел, чтобы его сын, подающий большие надежды в науках, пошел по его трудному и опасному пути. Однако в таком военизированном обществе, каким был тогда Крым, было почти невозможно сделать карьеру чиновника или богослова, миновав военную службу и для начала не отличившись в каком-то «прямом деле». Поэтому отец отправил Хафиза толмачом с разведывательной группой, которой предстояло найти бреши в системе русской обороны и захватить языков перед большим походом армии Девлет-Гирея на Москву.

Хафиз хорошо показал себя в военно-спортивных состязаниях, которыми увлекалась татарская молодежь: он метко стрелял из лука на скаку вперед и назад, мог перелезть с одной скачущей лошади на другую без остановки,

поднимал, не спешиваясь, с земли монету и умел (хотя и не очень хорошо) переваливаться на один бок лошади, уклоняясь от копья. Он также неплохо рубился на саблях и особенно любил бороться.

Но в настоящем бою он еще не участвовал, и его отчего-то особенно беспокоила одна мысль, абсурдная на первый взгляд: что он будет делать с русским мужиком, таким же здоровенным, как многие из них, если тот по какой-либо причине не захочет стать его «языком»? И каким образом можно заставить повиноваться большого сильного человека, если он, предположим, этого не захочет.

Впрочем, до сих пор поход татарских разведчиков проходил совершенно спокойно, за время пути они не встретили в поле ни одного человека — ни русского, ни какого бы то ни было еще, и все это, выражаясь современным языком, более всего напоминало какой-то конный пробег.

Храбрясь на словах среди товарищей, в душе Хафиз надеялся, что на этот раз с ними не произойдет ничего особенно страшного, хотя и понимал, что именно ради этого самого страшного и волнующего они в конечном счете и отправляются в свои походы, кому-то приносящие славу и богатство, а кому-то — увечья и раннюю смерть.

Наслаждаясь теплым ветерком, нежным весенним солнышком и каким-то ошалелым пением птиц, Хафиз занимался тем, что трудно сочеталось с образом храброго, безжалостного татарского воина: он сочинял стихи.

Стихи Хафиза были адресованы одной прекрасной черноокой черкешенке, встреченной на рынке в Кафе, но также отлично подходили и для любой другой красавицы, в которых пылкий воин-поэт безумно влюблялся не реже раза в неделю.

Твои глаза меня пламенем жгут,
Огнем мою душу безжалостно жгут.
Страдаю и плачу от них, как в аду.
Но в рай без тебя, о Гюзель, не пойду! —

бормотал себе под нос Хафиз.

Идея о том, что страдания по возлюбленной напоминают муки адского пламени, но эти муки он предпочитает райскому блаженству, была недурна. Но сплетена она была недостаточно ловко, а скорее формально, как будто относилась не к жгучей красавице, а к любимой кобыле, и это не давало покоя поэту, как соринка в сапоге, которая не так уж сильно и мешает при ходьбе, но не дает о себе забыть.

Надо было как-то сильнее, ярче, но в то же время и точнее выразить то, что он чувствовал, вырываясь из пут своей очередной любви ради воинской славы.

Мне рай без тебя как пустыня, Гюзель,
С тобою мне ад — словно кущи, Гюзель.

Хафиз продолжал развивать это мощное противопоставление, но теперь его не совсем устраивали «кущи». Какие такие «кущи», что такое вообще эти «кущи», он представлял себе довольно смутно.

Хафиз держал в руке лук, приготовленный для выстрела, но, если бы сейчас какой-нибудь бешеный весенний заяц сам напрыгнул на него, ударился и упал ему под ноги, он бы этого просто не заметил.

Хафиза привела в чувство ледяная вода лужи, в которую он в своем творческом экстазе наступил и провалился по колено. Он бросил на землю лук, запрыгал на одной ноге, вытряхивая воду из сапога, и... увидел перед собою волка.

Волк стоял на пригорке шагах в двадцати от Хафиза и с каким-то недоумением наблюдал за странными действиями человека. Он не уходил до тех

пор, пока Хафиз не обулся и не поднял с земли лук, и только после этого поскакал прочь на трех лапах, поджимая заднюю ногу. Волк был ранен, и в его бедре болталась стрела.

Отскакав на расстояние, до которого трудно сделать хороший прицельный выстрел, волк остановился и стал поглядывать на Хафиза, словно приглашая его следовать за собой. Затем он отскакал еще на некоторое расстояние и снова стал поджидать стрелка. Он еще раз повторил эту странную игру, словно куда-то вел за собою человека, подскакал к болотцу из разлившейся талой воды и исчез в кустах за горелой березой.

Скользя по льду, сохранившемуся на дне болотца, и натягивая лук для выстрела, Хафиз прошел по щиколотку в воде несколько шагов в глубь кустов, заметил, как там что-то как будто шевельнулось, и вдруг всей своей взметнувшейся душой понял, что сейчас его убьют.

Хафиз угадал смерть не умом и не опытом, которого у него еще не было, а ноздрями. Он учуял едкий дымок тлеющего фитиля и тут же увидел на прогалине волка, в которого целился из ружья человек. Этот человек перевел ружье с волка на Хафиза, и Хафиз перевел наконечник стрелы с волка на человека.

Оценив сложившуюся ситуацию, волк словно мысленно пожал плечами и поскакал дальше на своих трех лапах; если бы он умел говорить, то, возможно, сказал бы этим странным двуногим существам: «Что ж, я зайду попозже». Человек с ружьем целился в человека с луком, хотя давно успел бы сделать выстрел и даже перезарядить свою пищаль. Человек с луком целился в человека с ружьем, хотя во время состязаний успел бы выпустить из своего лука не менее трех стрел.

Казак Истома не стрелял из-за того, что понимал: этот татарин здесь не один, на выстрел сбегутся другие татары и порежут его на куски за своего товарища. Татарин Хафиз не стрелял из-за того, что никогда еще не стрелял в живого человека, глядящего в его глаза, и это оказалась так же трудно, невозможно сделать, как по собственной воле шагнуть в стометровую пропасть, — потому что это противно человеческой природе.

— Яхши, — сказал наконец Истома, опустил ружье и пошел прямо на Хафиза.

— Сдавайся, собака, — сказал Хафиз по-русски, продолжая целиться в идущего на него казака.

— Уруслар бирешми (русские не сдаются), — отвечал ему Истома по-татарски, мимоходом толкнул врага плечом и быстро пошел к березе, где его ждали привязанные лошади.

Истома демонстративно, не торопясь, сел в седло, выбрался на сухое место и только здесь с сильно бьющимся сердцем бросил коней в галоп. Хафиз, не разбирая пути, по колено в воде побрел к лагерю.

Хафиз вернулся в лагерь, мокрый и потрясенный до глубины души, когда похлебка была уже готова.

— Урус, ты почему такой общипанный? Шурале встречал? — спросил его товарищ по имени Муртаза, который подшучивал над ним так же постоянно, как Костя подшучивал над Истомай.

— Волка по болоту гнал, упустил, — отвечал Хафиз, старясь принять непринужденный вид.

— У тебя такой вид, как будто волк тебя гонял, а не ты его. Садись кушать, Урус, — сказал сотник по имени Ахмад, которого отец избрал аталыком — наставником Хафиза.

Если бы не направленные со всех сторон насмешливые взгляды, Хафиз бы, наверное, разрыдался, как ребенок. Наполнив походный котелок ароматным густым варевом, он уселся на кошке спиной к товарищам и стал жадно есть.

«Клянусь Аллахом всемогущим и милосердным, — говорил он про себя. — Это был первый и последний раз в моей жизни, когда я струсил».

Проверяя линию обороны украинного разряда, царский дозорщик (инспектор) князь Тюфякин под вечер добрался из Тулы до Епифани, оставил свою свиту в поле, а сам скрытно приехал в крепость, из которой к этому времени разошлись строители. Через крепостного сторожа (дворника) князь вызвал казачьего голову Федора Лихарева, исполняющего обязанности воеводы, а сам тем временем стал осматривать укрепления.

Работы по возведению крепости шли не так быстро, как хотелось бы Тюфякину, но все же лучше, чем он ожидал. Как истинный генерал, он никогда не признался бы своим подчиненным, что доволен их работой, но, в сущности, все шло по плану.

Новая крепость представляла собой большой закругленный треугольник, раскинутый по холмам над Доном. Тот фас крепости со стороны Поля, который был относительно хорошо доступен для нападения, уже был обнесен пятиметровым дубовым частоколом из бревен с заостренными концами и «вокнами» — амбразурами для стрельбы. В двух метрах от частокола строили второй, более низкий забор, а пространство между двумя этими оградками уже начали засыпать землей и камнями, так что по нему можно было ходить. Со стороны Поля также находилась циклопическая двадцативосьмиметровая проезжая башня, напоминающая пагоду, из «вокон» которой уже торчали орудия.

С других, менее доступных сторон, защищенных крутыми склонами холмов, стен пока не было, но уже был насыпан высокий вал и установлен палисад из плетеных прутьев, обложенных землей.

Внутри этой крепости пока находилось всего одно жилое помещение — изба-дворника. Княжеский терем был также готов, но представлял собою пустую холодную коробку без всякой мебели. Склад был наполнен продуктами и боеприпасами. Под прикрытием стен строили клетки — бараки для осадного сидения защитников крепости на триста человек.

— Что велишь Лихареву молвить? — справился дворник, отпирая вход на проезжую башню.

— Скажи, что крымский царь в гости приехал на пироги, — отвечал князь с досадой.

Ему было неприятно, что он так легко, без малейшего усилия проник в эту первоклассную крепость, оставленную почти без присмотра.

Поднявшись на верхний ярус башни, князь осмотрел сверкающую дугу Дона, рощи, холмы и огороженные слободы Епифани с высоты птичьего полета, подошел к амбразуре и навел прицел орудия на дорогу. Нет, взять такую крепость без тяжелой артиллерии было невозможно, а тяжелой артиллерии у «крымских людей», слава богу, не было.

Снизу бухали сапоги бегущего по лестнице Федора Лихарева. И хотя вид этой крепости, почти неприступной даже в недостроенном виде, несколько успокоил воеводу, он все-таки выразил недовольство.

— Неусторожливо служишь. Где воротники? Где затинщики? Где стрельцы?

— Все сбегутся по вестем, — отвечал, запыхавшись, Лихарев.

— Поглядим.

Тюфякин ударил в вестовой колокол и продолжал греметь до тех пор, пока в ворота не начали заглядывать первые слободские жители.

Результат учебной тревоги ужаснул князя Тюфякина. Лишь через четверть часа непрерывного громохання колокола на крепостном дворе стали собираться люди, да и то это были по большей части начальники — сотники и пятидесятники, которые явились уточнить, что от них требуется и следует ли собираться остальным воинским людям. Весь же сбор гарнизона и людей, обязанных по списку явиться на «осадное сидение», занял более часа — время, более чем достаточное для того, чтобы проворные крымские штурмовики успели захватить крепость и поджечь ее.

Наконец весь епифанский народ, включая женщин, детей и нестроевых «подсоседников», был собран на торгу перед воротами крепости в ожидании выступления воеводы и неизбежных репрессий.

Воевода взошел на помост лобного места, как на трибуну, с каким-то странным предметом, назначение которого вряд ли было известно простым стрельцам и казакам. Это было устройство из двух соединенных стеклянных конусов на деревянном каркасе, напоминающее барышню с узкой талией. Песок из верхней склянки тоненькой струйкой перетекал в нижнюю склянку.

— Это часы немецкие пересыпные на четверть часа, — сказал воевода, ставя диковинную вещь себе под ноги.

— Ой, лепо! — всплеснула руками стоявшая в первых рядах Софья, красивая жена сотника Ермолки, и тут же получила локтем в бок от степенной Маврицы Лихаревой — жены казачьего головы.

Воевода задержал на Софье долгий неслужебный взгляд, шевельнул усами, но ничего не вымолвил.

— В другой раз, как ударю в колокол и поставлю это часомерье, велю всем быть в крепости на осадное сидение прежде, чем перебежит песок.

— Со скотиной? — уточнила Маврица, но не была удостоена ответа.

Для наглядности Тюфякин перевернул часы, которые возобновили свою утку.

— Кто явится после первой четверти, будет бит батоги, — сообщил Тюфякин, постукивая себя нагайкой по ладони. — Кто придет к третьей четверти, будет бит кнутом нещадно.

После этих слов один из нарядных, ловких боевых слуг князя выкатил на помост дубовую колоду и смачно впил в нее свой боевой топорок.

— А се для тех, кто придет в четвертую четверть, — сказал этот пособник Ивана Грозного и подмигнул.

— Господи Иисусе, батюшка, когда же ты в другой раз зазвонишь? — перекрестилась Софья.

— Услышишь, — ответил князь и потрепал красавицу по румяной щеке.

Народ расходился подавленный. Дубовая колода для рубки голов с воткнутом в нее топориком и песочными часами оставалась на помосте в качестве напоминания о том, что все сказанное — не пустые слова.

Дворник тем временем растопил баню и накрыл стол для важных персон, утомленных долгой дорогой от Тулы. Но бане предстояло остывать, а пирогам сохнуть, потому что князь соизволил без отдыха инспектировать сторожи.

— На ночь глядя? — уточнил Лихарев.

— Татары ночью воевать любят, — отвечал Тюфякин.

К тому времени, когда князь Тюфякин в сопровождении Лихарева, нескольких начальников и боевых холопов добрался до татарского перелаза, было уже за полночь. Небо было затянуто тучами, и было темно, как в печи, но Тюфякин не велел зажигать факелы, чтобы стражники не заметили их издали. После того как в просвете между деревьев блеснула река и тропа пошла круто вниз, князь приказал спешиться, оставил одного из слуг стеречь лошадей, а сам вслед за Лихаревым, который мог здесь бегать с завязанными глазами, стал спускаться к притону.

— Не пальнут? — уточнил на всякий случай Тюфякин.

— Сначала окликнут, — успокоил его казачий голова.

Никто, однако, и не думал спрашивать пароль у инспекторов, и они оказались на площадке над рекой, посреди которой на рогатине висел котелок с остывшей кашей, а с краю виднелся остроконечный шалаш для отдыха.

Не говоря ни слова, Лихарев на цыпочках пошел к опушке леса, где находилась смотровая вышка, споткнулся в темноте о перевернутый короб и поскользнулся на разлитой смоле. Выругавшись сквозь зубы (ему было жалко новых желтых сапог), Лихарев взобрался по лестнице на «кровать», но никого там не обнаружил.

Тем временем воевода подкрался к шалашу и, просунувшись вовнутрь, стал стегать нагайкой то, что там находилось. Там, однако, не было ничего, кроме разбросанных овчин, которыми укрывались спящие.

— Измена? — обратился Тюфякин к Лихареву.

— Не было измены, — отвечал казачий голова. — Каша нетронутая, рухлядь брошенная. Татаровя увели сторожу.

Слуги зажгли факелы и стали осматривать место притона и его окрестности. Кровь на помятой траве указывала на то, что казаков накрыли неожиданно и повязали — или перерезали. Ни лошадей у коновязи, ни пороха, ни провизии в погребке не было. В свете фонарей не было видно ни одного лошадиного следа, который бы указывал направление ушедших людей, как будто враги спустились с неба и туда же уволокли своих пленников.

— Туто казак убитый! — крикнули из ямы у берега.

В укромном месте нашли закиданное ветками тело караульного казака. Тело выволокли на свет.

— Товолгу убили, — сказал Лихарев, рассматривая стрелу, пронзившую шею казака насквозь слева направо. — Ермолку и Костю увели.

— Ермолка все наши притоны ведает, — с горечью заметил Тюфякин.

— Ермолка — человек совестной, не выдаст, — защитил Лихарев своего друга.

— Это как спрашивать, — возразил воевода.

— Не вернулись бы гости, — напомнил воеводе его боевой слуга, выполняющий при нем роль телохранителя и зорко выцеливающий кусты пищалью.

— Ну, нет, им теперь прямой бой не нужен, они украдом идут, — отвечал князь. — Скачи вборзе на Епифань. Полусотню казаков пускай следом на сакму — с ясырем татары медленно идут, их еще переимать мочно. А на засеки шли гонцов — пусть ратные люди готовятся к веселию.

Вечером того же дня, когда Хафиз упустил на болоте волка и встретил своего первого врага, наконец началось то, ради чего они так долго тащились из самого Крыма. Татарские разведчики пересекли оставленное без охраны урочище и балкой подползли к самой реке. Найдя незаметное место для переправы поодаль от брода, они подкрались к притону, и самый меткий стрелок во всем отряде, которого сегодня бы назвали снайпером, пустил стрелу в караульщика так точно, что она пробила казаку горло, и он даже не успел поднять тревогу. Затем татары набросились на сидящего у костра Ермолку и спящего в шалаше Костю и после отчаянной схватки связали их.

Хафиз просился на это дело, но вместо него сотник выбрал более опытного Муртазу, для которого это был уже третий набег на русские укрaines.

— У тебя другое дело, ты мне живой нужен, — коротко отвечал дядя Ахмад, и спорить с этим немногословным человеком было бесполезно.

Хафиза оставили при лошадях, и, несмотря на демонстративную досаду, он все-таки испытывал тайное облегчение из-за того, что роковой час перенесен еще на некоторое время. Скоро выяснилось, что его облегчение было не напрасным.

Костю, спящего как колода после утомительного дежурства, опытным татарским борцам удалось оглушить и связать без труда. Но Ермолка вырвался из их рук, как дикий кот, успел выхватить из-за голенища нож и всадить его в живот Муртазе, прежде чем его сбили с ног кистенем. Так что вместе с двумя израненными, окровавленными русскими языками разведчики принесли на овчине смертельно раненного Муртазу, издающего жалобные крики при каждом движении.

Хафиз впервые наблюдал смерть боевого товарища, с которым успел сдружиться за время похода, и это зрелище невыносимого страдания человека, недавно сыпавшего шутками и шалившего, как ребенок, сильно подействовало на его непривычное воображение. Не надо было быть медиком, чтобы догадаться, что часы его приятеля сочтены.

Несмотря на потерю в отряде, сотник был доволен первым результатом, поскольку, судя по панцирю и дорогой сабле, Ермолка был, очевидно, начальником равного ему ранга.

— Ты начальный человек? — спросил Ахмад своего русского коллегу через Хафиза.

— Нет, яз простой человек, — отвечал Ермолка, облизывая рассеченную губу.

— Он начальник? — повторил татарин вопрос Косте.

— Нет, яз начальник, — для чего-то соврал Костя.

— Русские никогда не говорят правду, — заметил Ахмад. — Вы потом скажете, но у меня нет времени вас пытаться.

Татарские командиры уселись кружком на корточках и стали обсуждать дальнейшие планы. Решено было отправить двух человек с двумя пленными в Крым окружным путем. Двум воинам было приказано соорудить чучела из тулупов, веток и травы и, усадив чучела на коней, ждать появления русской погони. Затем им следует скакать домой кратким путем, заманивая казаков за собой.

— Что будем делать с Муртазой, Ахмад-эфенди? — спросил полусотенник. — Его везти нельзя, медленно будет.

— Муртазе остался один час жизни, помилуй его Аллах, — отвечал Ахмад.

Большая часть отряда, в которой остался и Хафиз, должна была продолжить рейд в сторону тульских засек для того, чтобы разведать в них проходы и заодно создать у русских ложное впечатление активности в направлении Тулы и Серпухова, так что князь Тюфякин лишь каким-то чудом разминулся с татарскими всадниками по пути к притону.

Отправляясь в путь, Хафиз увидел боковым зрением, как дядя Ахмад склонился над телом Муртазы, уложенным на кошму, что-то пошептал ему на ухо, а потом дернул его голову, как будто выправляя вывих, и накрыл лицо молодого разведчика сверху платком. Через несколько минут сотник догнал свой отряд, но не поехал, как обычно, рядом с Хафизом, а галопом проскакал вперед. Хафиз хотел спросить дядю Ахмада, что будет дальше с Муртазой, но не решился это сделать, чтобы не узнать правду.

А на рассвете русские казаки, примчавшиеся из Епифани, чтобы отбить своих товарищей, увидели на холме возле урочища четыре крошечные фигурки всадников с высоко задранными вверх коленями, как ездят татары, и бросились за ними во весь опор. Поднимая красивую розовую пыль, двое татар, ведущих за собою лошадей с сидящими на них связанными всадниками, поскакали на юг. Одна из фигур, привязанных к коням беглецов, была сооружена из набитого травой халата, другая была телом Муртазы, продолжающего приносить пользу своим товарищам и после смерти.

Осторожно продвигаясь оврагами и низинами и не приближаясь к селениям, татарские разведчики обошли стороной Епифань и под вечер увидели на горизонте сплошную черную полосу, которая производила на кочевников такое же тревожное впечатление, как степной простор или море на жителей лесов. Это были засеки — лесные заградительные полосы, которые почти невозможно было преодолеть или обойти без помощи вожа — местного проводника.

По плану засечной черты, составленному русским изменником перед началом рейда, сотник нашел сельцо неподалеку от засечных ворот. Ночью татары окружили сельцо, выставили пикеты на всех подходах и развели костры, но не врывались во дворы в темноте. Скоро местные жители заметили появление врагов, и на сельской площади ударил вестовой колокол. Судя по мелькающим огням, лаю собак и реву скотины, в селе началась паника, но никто даже и пытался прорваться и сбежать.

На рассвете сотник в сопровождении Хафиза и десятка всадников начал объезжать дворы. Татары не опускали натянутых луков, но их предосторожности были напрасны. Вокруг не было ни одной живой души, не лаяла ни одна собака, дома были пусты, а под ногами в лужах склизкой крови валялись туши зарезанной скотины и домашние птицы со свернутыми головами.

По заунывному пению, которое показалось Хафизу не лишенным своеобразной красоты, разведчики вышли к храму, высокому сруб с маковкой и крестом на крыше.

— Что они делают, Урус? — спросил сотник Хафиза.

— Молятся пророку Исе, чтобы он их спас, — отвечал Хафиз, на всякий случай наводя на слуховое оконце храма наконечник стрелы.

— Пророк Иса им поможет, — отвечал дядя Ахмад, спрыгивая с коня, разминая кривые ноги и заходя в храм, как покупатель заходит в лавку.

С улицы в храме было почти ничего не видно из-за полумрака и невозможно вздохнуть спертým воздухом. Приглядевшись, Хафиз не поверил своим глазам. Стоя на коленях, в этом небольшом помещении было стиснуто все население сельца — не менее сотни женщин, детей, стариков, старух и несколько взрослых мужчин, не считая священника и безбородого юноши в длинном черном «халате», помогающего вести службу.

Священник и его помощник что-то красиво пели на два голоса, все остальные им нестройно подпевали, осеняли себя крестом и кланялись, ударяясь лбами об пол. При виде вооруженных татар священник поднял руку с крестом, и пение оборвалось. Несколько минут русские молча смотрели на татар, как овцы, наверное, смотрят на волков, ворвавшихся в овчарню. Было так тихо, что слышно было шипение горящих свечей и звук капающего воска. Затем громко запищал младенец, и все остальные дети подняли плач вслед за ним.

— Говори им русским языком, — приказал Хафизу сотник, морщась от шума.

Хафиз переводил.

— Ясырь не беру. Скотину не беру. Вы зря коров и баранов убивали — кого теперь кушать будете? Беру зерна три мешка, соли мешок и жожа хорошего — кто засеку знает. Кто проведет меня через засеку, получит тридцать серебряных монет. Время даю полдень. Не делаете, что сказал, ваших детей беру, а дома жгу. Слышали?

— Эйе, слышали, — отвечал за всех священник.

Еще до полудня, когда татары занимались заготовкой солонины из битой скотины, к их ставке подъехал священник на телеге. Священник вывалил к ногам татарского начальника три мешка зерна и мешочек соли — самую большую ценность, собранную по шепотке со всех крестьянских дворов.

Проверив качество зерна и соли, сотник молча кивнул и строго уставился на священника, не давая ему разрешения удалиться.

— Чего хочет? — справился у Хафиза священник, который при дневном свете оказался довольно молодым еще человеком, несмотря на пышную бороду.

— Надо жожа на засеку, забыл? — отвечал Ахмад по-русски, без переводчика.

— Яз жожа. Сам вас и поведу.

Это неожиданное сообщение озадачило даже невозмутимого дядю Ахмада.

— Ты поп. Ты святые книги знаешь, а лес не знаешь. Как в лес пойдешь?

— Теперь я поп, а был разбойник, в лесу жил, — отвечал священник.

Сотник уставился на странного священника с любопытством и сказал Хафизу вполголоса по-татарски:

— Чудной вы народ — русские. Попы у вас разбойники, а разбойники — попы.

— Я не русский, я татарин, — отвечал Хафиз, сдерживая обиду.

— Как твое имя? — справился сотник у священника.

— Поп Василий, а так — Горемыка Козлов.

— Гор-ре-мык-ко, — пробормотал сотник, удивляясь трудным именам этого народа. — Яхши, не трогаю твою деревню. Поедешь рядом со мной на лошади, и не думай бежать — плохо будет. Умеешь на лошади ездить?

— Умею. Ты обещал тридцать монет, — отвечал поп Василий, он же Горемыка Козлов. — Дашь деньги — веду через лес.

— Я тебе жизнь даю — мало? — удивился татарин.

— Не дашь деньги — не веду, — отвечал поп с таким страшным русским упрямством, которое, кажется, было сильнее смерти.

— Вижу, что ты и правда разбойник, — отвечал сотник одобрительно и рассмеялся, весь пойдя лучистыми морщинками и удивительным образом преобразившись из мрачного палача в симпатичного весельчака.

Затем он потрепал изменника по плечу и не без брезгливости бросил ему увесистый мешочек с тридцатью сребренниками.

Вывавшись из казенной службы с ее постоянными указами, наказами, посылками и отсылками, Истома наслаждался волей и не торопясь кочевал в том направлении, где, судя по слухам, находились станицы вольных казаков. По ночам подмораживало, но днем разогревало почти по-летнему, и, кое-как дождавшись утра, он устраивал долгие дневки, готовил еду, валялся на солнце или бродил по лугам, стреляя дробью сусликов и дроф, которые сновали по траве и только что сами не прыгали к нему в котел.

Казалось, так жить можно было вечно, и так тысячелетиями жили целые народы в этих степях, но Истома все-таки был не кочевник и не мог существовать, как свободный татарин, между небом и землей. Запасы зерна и сухарей подходили к концу, порох и пули приходилось экономить, но ему по-прежнему не попадались следы человеческой жизни. Зато встретился след человеческой смерти.

Однажды на обочине заросшей сакмы он нашел дочиста обьединный человеческий остов. Судя по обрывкам истлевшей овчины и пулевому отверстию в черепе, этот скелет принадлежал татарину, убитому в стычке с казаками. И хотя Истома не отличался излишней впечатлительностью, эта находка не прибавила ему энтузиазма: за время путешествия он настолько пообтрепался и одичал, что теперь его невозможно было отличить от татарина или бродячего дикаря любой другой национальности. Его же православные собратья, похоже, сначала стреляли, а потом интересовались национальностью.

Становилось голодно, и в расчете на скорую встречу с людьми Истома решился на крайнюю меру. Он пристрелил запасную лошадь, наелся впрок и, выбрав из ляжки кусок поаппетитней, засолил его и положил, по татарскому рецепту, под седло. Как ни жалко было, большую часть туши пришлось оставить на съедение стервятникам, и отныне он не роскошествовал, как в первые дни путешествия, а держал себя на строгой диете.

Наконец, продвигаясь по течению реки с большими предосторожностями, Истома стал находить то, чего искал с таким нетерпением: вытоптанное пастбище, яму, из которой люди добывали глину, мостки для стирки над рекой, пеньки порубленных ив... В роще он увидел огромную каменную глыбу, напоминающую пузатого зверя на коротких ножках, а рядом — древний корявый дуб, весь увешанный цветными ленточками, глиняными фигурками зверей и птичьими костями. В этом же капище на возвышении был установлен высокий деревянный крест.

«Нехристи какие», — подумал Истома, и вдруг ему, выходявшему с татариним один на один, стало страшно встретить этих людей, которые, чего доброго, принесут его в жертву своему идолу и сожрут, как, по слухам, поступали с пойманными чужеземцами поганые сыродцы.

«Исхудал я дорогой, невкусный стал, авось и не съедят», — пошутил сам с собой Истома, зарядил ружье одной из последних пуль и вышел из леса, ведя за собой коня.

В ложине ему открылся поселок, устроенный среди прибрежных зарослей таким образом, что со стороны поля его не заметно было и в сотне шагов. Вернее, ему открылось то место, на котором находилась станица.

Люди покинули его совсем недавно — возможно, всего несколько дней назад, так что, если бы Истома прохладился на дневках чуть меньше, он бы наверняка их застал. Натоптанные дорожки еще не успели зарости травой, на земле остались следы копыт и помет скотины, попадались ямки от казачьих сапог на высоком каблуке и даже крошечные следы детских ножек на песке рядом с обвалившейся песчаной крепостью.

Донские казаки, обитавшие в этих местах, очевидно, были лучше осведомлены о планах Крыма, чем московское командование. Прознав через лазутчиков, что Девлет-Гирей пойдет с огромной ордой через их земли, а не прямым путем, где его ждали, они снялись и откочевали со всем своим скотом и имуществом так же легко и быстро, как это делали их враги татары. На арбах и лошадях они увезли все, вплоть до разобранных деревянных строений, так что место их обитания напоминало скорее план поселка, как он выглядит на раскопах археологов. Назло татарам, они не забыли засыпать и колодец.

К великому разочарованию Истома, следы казачьего табора указывали, что переселенцы двигались именно в том направлении, откуда он прибыл, и он не мог отправиться вдогонку. Выбор был невелик: погибнуть или как-то выкручиваться. Возвращение к своим не рассматривалось — какой дурак сам полезет на виселицу?

Идти в сторону Крыма означало, что рано или поздно его поймут крымские люди или ногаи, кочующие в этих степях. Поскольку его жизнь стоит денег, то татары его не убьют, а отвезут в Кафу и продадут, как большинство русских, на каторгу, то есть на галеру. Его прикуют цепью к балке, и он превратится в приводную деталь гребного механизма корабля, ворочая тяжелое бревно весла под бой барабана и свист бича, пока не издохнет от изнеможения. Это было, пожалуй, не многим лучше виселицы.

Оставался третий путь — двинуться отсюда на Днепр, где на острове за порогами живут еще какие-то литовские казаки — не совсем русские, но православные.

Истома не представлял себе, где находится Днепр и что такое пороги, за которыми якобы живут запорожские казаки, но он обладал ценным качеством солдата и разбойника — у него совершенно отсутствовало воображение. Выбрав единственный вариант поведения, при котором вероятность смерти несколько меньше, чем при других, он уже не рассуждал, а действовал так же буднично, как если бы ему предстояло купить корову. Если бы Истома рассудил, что ему надо отправиться отсюда в Индию или на Ледовитый океан, он бы просто встал и пошел.

Для того чтобы выжить, он решился на такую экономию, какая бы только давала ему возможность передвигаться. Из-за своего легкомыслия он уже почти обеспечил себе голодную смерть, но теперь ему требовалось оттянуть ее как можно далее, в надежде на бога.

Истома вспомнил, что татары в подобных случаях (как и во многих других крайностях) использовали для сохранения своей жизни лошадей. Говорят, они делали надрез на лошадиной жиле и, сцедив из раны некоторое количество крови, выпивали этот питательный напиток, поддерживающий силы человека, но не убивающий коня.

Именно таким образом Истома решил подкрепиться до тех пор, пока муки голода не сделаются невыносимыми, а уж тогда сварить себе похлебку из конины и оставшейся горстки зерна. Как же татары делают этот надрез — вдоль или поперек? Сколько крови набирают за раз, чтобы конь не ослаб? И как останавливают кровотечение? Ему надо было действовать с величайшей осмотрительностью, чтобы не лишиться себя одновременно средства передвижения и пропитания.

Истома зажал в зубах перетяжку из ремешка и, держа миску для сбора крови в левой руке, а нож в правой, выбрал на шее коня подходящее место, которое можно было бы быстро надрезать, а затем перехватить повязкой.

«Во имя Отца и Сына и святого Духа», — подумал Истома, нацелился и совершил ошибку, какие иногда допускают самые предусмотрительные люди, так что потом бывает невозможно поверить, как это бес на минуту лишил их рассудка и попустил такую вопиющую глупость.

Истома сделал аккуратный, но достаточно глубокий надрез на шее коня, но, поскольку обе руки человека были заняты, конь взвился от неожиданной боли, отскочил в сторону, как ошпаренный, подпрыгнул несколько раз и... ускакал.

Истома не успел еще осознать, что происходит, когда его конь поскакал в том самом направлении, куда ушел казачий табор. На его спине были навьючены все съестные припасы беглеца: остатки солонины из лошадиной ноги, зерна и соли, а также все его походное имущество, включая саадак со стрелами и пищаль с порохом.

Постояв на горизонте еще несколько секунд, конь поклонился, как бы в знак прощания, и исчез.

Итак, из всех вариантов смерти, которые продумал Истома, ему предстоял тот, который и в голову не приходил, — долгая смерть от голода посреди расцветающей, ликующей весенней природы.

Татарский отряд шагом ехал за Горемыкой Козловым вдоль засечной черты. В глуби этот черный лес оказался деревьями, поваленными и как бы растущими под углом таким образом, что их кроны расходились не вверх, к небу, а в сторону, к полю, сцепляясь и переплетаясь так, что между ними не пролезла бы кошка. За первым рядом раскоряченных деревьев следовал другой и третий, так что нечего и думать было перелезть через них или устроить в них хоть какую-то щелку.

С точки зрения степного человека, привыкшего к залитым светом просторам, выглядело это ужасно: как будто целое войско лесных демонов (шурале) выставило в сторону пришельцев свои гигантские корявые щупальца, чтобы схватить и растерзать. Угрюмые татары ехали вдоль этого рукотворного бу-релома за Горемыкой и час, и другой, и нигде не было заметно ни конца, ни просвета.

Как ни терпелив был дядя Ахмад, но и ему это начинало надоедать, и он обратился к Хафизу:

— Спроси попа, знает ли он, куда идет. Если не знает, пусть лучше скажет сейчас.

— Знаю. Скоро будет ход, — уверенно отвечал Горемыка, и действительно, вскоре после этих слов перед татарами открылась довольно широкая про-галина между подгнившими и обвалившимися деревьями.

— Я здесь хожу. Дальше пехом мочно, — сказал Горемыка, спрыгнул с коня и стал разминать затекшие ноги.

— Идти бережно и слушать меня, туто вам не поле, — строго предупредил он татар и нырнул в нишу среди ветвей.

При виде того, как этот мешковатый всадник преобразился в ловкого, быстрого лесного зверя, Хафиз подумал, что если бы проводник сейчас захотел скрыться от них с полученным вознаграждением, то сделал бы это без труда.

Дальше продвигались пешей тропой, проложенной Горемыкой и ему подобными браконьерами, а также и людьми, которые, вопреки царским указам, предпочитали во время татарских набегов прятаться в непроходимом лесу вместо того, чтобы терпеть голодное осадное сидение в одной из крепостей.

Тащились медленно, путаясь в цепких зарослях и обливаясь потом, несмотря на прохладу. На каждом шагу приходилось перелезать через поваленные бревна, обходить завалы, прорубаться сквозь кусты и перетаскивать за собою измученных коней. К тому времени, когда Хафиз совсем отупел и перестал соображать от усталости, нервная встряска словно окатила его холодной водой.

Повелительным жестом Горемыка приказал колонне остановиться. Затем он на карачках подполз к какому-то предмету, скрытому высокой травой, над чем-то там поколдовал, что-то подрезал ножом, а затем отполз и за что-то дернул.

В лесной тишине словно громко хлестнул бич, и в ствол над головой пригнувшегося Горемыки с мощным ударом вонзилась огромная стрела с древком величиной с черенок лопаты — какие используются в метательных машинах. Хафиз невольно вздрогнул, жар кинулся ему в голову, и до конца лесной тропы он внимательнее вглядывался себе под ноги и по сторонам.

Следующая задержка произошла перед ловушкой, устроенной для людей, но проваленной зверем. Татарам вслед за Горемыкой пришлось обходить трехметровую яму, на дне которой на острых кольях был нанизан разложившийся кабан.

— Смотри, чушка татарина спасла, — пошутил Горемыка, указывая посохом на это безобразное зрелище.

— Сам чушка, — отвечал проводнику дядя Ахмад.

Наконец бурелом кончился, пошел природный прозрачный лес, разведчики передохнули, попили воды и вышли на луг, перекопанный рвом и перегороденный частоколом в два ряда. Задний ряд этого трехметрового забора из заостренных бревен стоял вертикально, а передний, в человеческий рост, был вкопан под углом.

Однако не было, да вряд ли и будет выдуманно такое хитроумное препятствие, которое не испортил бы русский человек. И более того, не смог бы его разобрать и украсть.

Горемыка отыскал место, в котором ров был наполовину присыпан хворостом, частокол выкопан из земли и разобран достаточно просторно, чтобы мог проехать целый отряд элевантерии — слоновьей кавалерии. Разобранные бревна частокола лежали рядышком — штабелем. Их потихоньку рас­таскивали местные жители себе на избы.

Перебравшись через ров, поехали верхом, пока вдали не показалась покосившаяся проездная башня.

— Сторожа оттуда ушли, а башня обвалилась, — сообщил, останавливая коня, Горемыка. — А дальше по заброшенной дороге путь чист.

— А если новых людей прислали? — уточнил сотник.

— Надо смотреть, — отвечал Горемыка.

Ахмад приказал Горемыке идти пешком к башне под видом охочего человека, который пришел наниматься на службу. А для того, чтобы поп не задурил и не выдал татар своим, с ним должен был идти Хафиз, которого нарядили в русскую шапку, отобранную у Ермолки. В случае чего Хафиз мог отвечать сторожам по-русски и поддержать легенду Горемыки.

— А захочет выдать или подать знак — бей ножом вот так.

Ахмад показал молодому воину, как надо бить ножом, чтобы убить человека с одного удара, и Горемыка наблюдал это несложную, но убедительную демонстрацию.

— Ты русский? — спросил Горемыка Хафиза, когда они шли по заброшенной, поросшей травой дороге к проездной башне.

— Моя мать русская, а я татарин, — отвечал Хафиз.

— Христианин?

— Мусульманин.

— Ну, ничего ... — протянул Горемыка в значении «понятно», «хорошо», «плохо», «тем хуже» — и чего угодно еще.

Они перелезли через обвалившуюся подъемную колоду — шлагбаум из толстого бревна, прошли незапертые створчатые ворота, а затем еще одни — подъемные и также кем-то поднятые, и зашли под свод проездной башни.

Их никто не окликнул, нигде не было заметно ни малейшего следа человеческого пребывания.

— Пусто? — шепнул Хафиз по-русски.

— Еще поглядим, — отвечал Горемыка, так же шепотом, хотя в этом не было необходимости.

Они зашли в низкую дверцу и стали подниматься по ветхой, местами провалившейся винтовой лестнице вверх. Снизу Хафиз видел только ноги Горемыки, находившиеся как раз на уровне его лица, так что сверху было бы весьма удобно пнуть его в голову. «Легко сказать — бей ножом», — думал Хафиз, сжимая у пояса рукоятку оружия. В таком беспомощном положении он, в лучшем случае, мог бы уколоть проводника в пятку.

Наконец они оказались на самом верхнем ярусе этой высокой покосившейся башни, откуда просматривалась вся дорога до самого леса. Надо было отдать должное дяде Ахмаду — ни его, ни всадников, укрывшихся за деревьями, отсюда не было заметно.

Хафиз осмотрел заброшенное жилье — три низкие деревянные лежанки, стол, три табурета, три пустых походных сундука... Все это напоминало ему одну русскую сказку, слышанную в детстве от матери.

— Маша и медведи, — заметил Горемыка, словно читая его мысли.

Он высунулся из бойницы, снял с карниза выгоревшее, бесцветное трехязыкое знамя, на котором с трудом можно было различить лик Христа, и помахал им, подавая сигнал.

— Пророк Иса? — справился Хафиз, разглядывая огромные, страшно распахнутые глаза, которые только и можно было разобрать на истлевшем полотнище.

— Господи, милостив буди мне, грешному, — пробормотал вместо ответа Горемыка, поцеловал знамя, снял его с древка, бережно свернул и положил себе за пазуху.

Пройдя через гулкий тоннель проездной башни, отряд вышел на дорогу — заросшую высокой травой и, очевидно, давно не езженную. Эта извилистая аллея среди гигантских хмурых елей была ограждена надолбами — двумя рядами вбитых столбов, соединенных поперечными перекладинами. Двигаться по этому бревенчатому коридору можно было только в одном направлении, как гонят скот на убой.

От этой неприятной мысли у сотника заныло под ложечкой. Однако бывают в жизни такие обстоятельства, при которых человеку легче пойти на убой, чем изменить свое решение. На всякий случай дядя Ахмад лишь снял с седла аркан и накинул его на Горемыку, так что связанный проводник ехал впереди колонны, как собака на поводке.

За поворотом Хафиз увидел то, что показалось ему галлюцинацией от усталости. Лес перед ним начал коситься и падать. Двадцатиметровая ель со скрежетом повалилась поперек дороги, повисла под углом 45 градусов, как бы в нерешительности, и обрушилась со страшным грохотом, подняв до самого неба птичий гул и переполох. По дороге пронесся ветер, и ноздри Хафиза учуяли еле заметный едкий запах, который уже был ему знаком как запах смерти. Он бы очень хотел ошибиться, но это напоминало дымок тлеющего фитиля.

Конь Хафиза шарахнулся назад. Понялась суматоха, среди которой только сотник Ахмад стоял на месте неподвижно, словно конная статуя. И нескольких секунд паники было достаточно, чтобы из-за надолба высыпал отряд стрельцов в красных кафтанах и остроконечных синих шапках. Стрельцы сидели на корточках в кустах, пропуская врага, и выбежали через тайный лаз, как только засечные сторожа обрушили перед татарами подпиленное дерево.

Стрельцы поворотно построились, воткнули в землю свои бердыши и приложили к ним пищали с дымящимися фитилями. Вперед вышел засечный голова — офицер в панцире, желтых перчатках с раструбами и пышной шапке с висячим хвостом.

Голова поднял длинный пистоль и рывкнул трубным голосом, приставив левую руку рупором ко рту:

— Сседай с коней! Бросай оружие, кто живота хочет!

Очнувшись от раздумья, Ахмад выхватил саблю, рванулся вперед, поднял коня на дыбы и в ярости несколько раз рубанул ветки поваленной ели. Нечего и думать было без крыльев преодолеть эту колючую громаду. Сотник за аркан подтянул к себе Горемыку, который спокойно стоял и молился с опущенными глазами, и, почти не целясь, смахнул ему голову свистнувшей саблей. Затем он растолкал оцепеневших воинов и бросился на цепь стрельцов с истошным криком:

— Алла!

В несколько прыжков лошадь Ахмада преодолела половину расстояния до русского строя. Положив длинный ствол пистолета на сгиб левой руки, засечный голова тщательно прицелился и спустил колесико замка. Бабахнул первый выстрел, а за ним разразился целый вулкан огня и дыма.

Едкий дым наполнил коридор между надолбами так густо, что несколько секунд не было видно вытянутой руки. Когда же дым начал расползаться, а на место выстреливших выбежали для нового залпа стрельцы с заряженными ружьями, то голова увидел перед собой то, что и желал увидеть. На дороге кучей валялись, ползали и бились тела людей и лошадей — убитых и умирающих. А те татары, которые замешкались позади и остались живы, слезали с коней и торопливо бросали на землю луки, сабли и ножи.

Голова первым делом подбежал к татарскому начальнику, чтобы убедиться, что выстрел по движущейся цели вышел на славу — даже лучше, чем он предполагал. Пуля попал в нос дяди Ахмада и вышла через затылок. Судя по персидскому шлему-мисюрке и изукрашенной турецкой сабле с золотыми арабскими письменами на кривом клинке, ему удалось подстрелить важную птицу.

Стрельцы сгоняли пленных в кучу древками бердышей, а голова тем временем стал пересчитывать убитых и прикалывать тяжело раненных рогатиной — копьем с широким лезвием, отобранным у одного из засечных сторожей.

— Велешь головы резать али ушеса? — спросил начальника стрелецкий десятник.

За каждую отрезанную голову или пару ушей убитого врага, как и за каждого пленного, человеку, доставившему победную реляцию (сеунч), полагалась хорошая премия.

— Пили головы. Ушеса мочно и у живых нарезать, — отвечал голова.

— Деватеро всего, — заметил урядник, усаживаясь сверху на тело дяди Ахмада и ловким мясницким движением отделяя голову при помощи большого, хирургически острого кинжала, словно предназначенного для подобных операций.

— Девять?

Голова с рогатиной в руке подошел к пленным, которых поочередно связывали и выстраивали цепочкой, и бросил на Хафиза испытующий взгляд, который юный воин позднее не мог вспоминать без содрогания.

— Ну-кошь, — отстранив Хафиза, русский начальник выволок за рукав татарина с простреленной ногой, который прятался за спинами товарищей и кривился от боли, сдерживая стоны.

— Вот человек негодный, — пробормотал голова, поставил сомлевающего пленного перед собой и почти без замаха впил рогатину в его грудь, так что изумленный Хафиз увидел, как у стоявшего рядом с ним еще живого человека между лопаток выскакивает наконечник копья.

— Десять голов — десять рублей, — заметил засечный голова.

Тем временем один из стрельцов нашел у самой ели, перегоревшей до рогу, обезглавленное тело Горемыки Козлова.

— Горемыку срубили! — крикнул стрелец, присаживаясь на корточки и приставляя к телу отрубленную голову попа Василия.

Угрюмые русские воины собирались вокруг тела убитого попа-разведчика, который завел татар на заброшенную тупиковую дорогу, а затем подал своим условный сигнал знаменем для нападения.

Пропитанное кровью знамя с распахнутыми глазами Христа нашлось под зипуном Горемыки, и оттуда же выпал мешочек с серебряными монетами. Знамя отнесли в храм, где служил поп Василий, а деньги передали семье героя — двадцатидвухлетней попадье и трем детям от полугода до четырех лет.

В то время когда связанного Хафиза гнали пешком на Епифань, Ермолку и Костю везли верхом в Крым.

Доставка пленяников в Крым вовсе не была легким делом для наименее способных членов отряда. Она была не менее опасна, чем проникновение в глубокий русский тыл, и, пожалуй, даже более важна. Она была опасна, потому что на каждого охранника приходилось по одному языку — а средний русский мужик все-таки был несколько выше и сильнее среднего татарина. Впереди же было много дней совместного пути, в которые хитрые и опытные враги будут внимательно следить за своими конвоирами, чтобы при малейшей оплошности наброситься на них и освободиться.

Она была чрезвычайно важна, потому что главной задачей этого рейда была именно доставка языков в ставку хана. Так что если бы весь отряд остался цел, но вернулся с пустыми руками, то задание было бы провалено и виновные наказаны. Но если бы весь отряд, за исключением двоих, погиб, а добытые языки раскрыли подробный план русской обороны, то задание было бы выполнено и выжившие получили бы щедрое вознаграждение.

Не последнюю роль играло и то, что языки были к тому же и ясырем — боевой добычей, которую после получения нужной информации можно было продать за хорошие деньги.

Словом, двум татарским воинам, Айдару и Мусе, крайне важно было доставить пленяников на место как можно быстрее, живыми и по возможности здоровыми. Оба они выполняли это сложное дело не раз и знали, как это делается. Но они также знали, что при малейшем притуплении внимания и потере бдительности хоть на секунду роли пленных и охранников могут мгновенно поменяться.

Нам неизвестно, существовало ли у татар нечто вроде тех приговоров и наказов, то есть уставов и инструкций, которые применялись у русских. Но неписанные правила доставки пленных, вероятно, существовали, и если бы можно было сформулировать их в общем, то они мало бы отличались от столь знакомых всем кочевникам правил перегонки скота.

Скотина и пленный должны быть сытыми и здоровыми, чтобы за время путешествия не потерять товарный вид, поэтому им надо предоставлять достаточное питание и необходимый отдых. Скотина и пленные не должны разбежаться, поэтому их надо держать в строгости и тщательно охранять. Скотину и пленного нельзя баловать, чтобы они не перестали повиноваться. Но их нельзя и напрасно мучить, чтобы они не взбунтовались.

Разница между скотиной и пленяником все же была, и она заключалась в том, что пленный (и особенно — русский пленный) был гораздо хитрее и опаснее любой скотины. Он был настолько опасен и коварен, что обращение с ним скорее напоминало не перегонку скота, а доставку тигров из Индии ко двору султана.

Прежде всего, оба татарина были настоящими экспертами по заламыванию рук и завязыванию самых надежных узлов самого разнообразного назначения. В пути казаков связывали таким образом, чтобы они могли ехать шагом и держаться в седле, но не могли управлять лошадью и вылетали из седла от легкого рывка аркана. Во время дневок их связывали так, чтобы они могли оправляться и есть, но передвигались только неуклюжими скачками, как стреноженные кони. Ну, а по ночам из них делали целый кокон, в котором можно было в лучшем случае ворочаться с бока на бок.

Все действия пленных, включая остановки, физические отправления и прием пищи, производились по точному расписанию, согласно выработанному ритуалу, при котором каждого обслуживали сразу оба охранника, так что,

если бы русскому все же удалось на мгновение вырваться, ему бы пришлось вступить в схватку с обоими.

Но главным, нерушимым правилом было то, что пленникам категорически запрещалось говорить что бы то ни было — как между собой, так и с охранниками. Они только должны были слушать команды, выполняя их точно, быстро и молча. В этом случае путешествие проходило без особых неприятностей, если не считать таковыми обычные дорожные трудности, одинаковые как для русских, так и для татар.

Итак, в пути русские и татары не разговаривали, да и конвоиры, находясь постоянно на чеку, обменивались между собой лишь необходимыми краткими фразами. Тем не менее казаки успели уловить, что одного из них звали Муса, а другого Айдарка. Первый был старше, опытнее и суровее, а второй — моложе, веселее и, возможно, снисходительнее. Обсуждая эти наблюдения шепотом во время ночевки, казаки решили, что им не стоит лезть на рожон, но лучше постепенно приручить Айдарку, войти с ним в человеческие отношения, избавиться с его помощью от пут, а затем отнять оружие и прикончить — или взять в плен обоих, как выйдет.

Во время дневки, когда суровый Муса отошел по надобности, Ермолка приблизился к Айдарке, делая вид, что хочет погреться у костра, и, заглядывая ему снизу в глаза, сказал с доброй улыбкой:

— Мин Ермолка, а син? Я Ермолка, а ты?

Татарин смотрел на него молча, с каким-то странным выражением полуулыбки на губах — не добрым и не злым, но безмятежным, какое можно увидеть на изваяниях восточных идиолов.

— Син Айдарка — ты Айдарка? — продолжал подлизываться хитрый русский. — Балалар бармы — детишки есть у тебе? Минем бар — у мене есть.

Никоим образом не выказывая своих чувств, Айдарка допил свой кумыс, протер пиалу пучком сухой травы и убрал ее в мешок. Он что-то посчитал на пальцах и произнес слова, смысл которых стал понятен Ермолке по тому действию, которым они сопровождались:

— Бер суз — бер камчы: одно слово — одна плеть.

Затем он очень сильно и больно ударил Ермолку плетью поперек спины десять раз — не больше и не меньше, по количеству насчитанных им слов.

После этого казаки более не стремились возобновить общение ни с Айдаркой, ни тем более с его строгим товарищем. У Кости возникла другая идея, более соответствующая его лихому характеру. После привала, когда руки пленников еще не были перевязаны на крепкий дорожный узел и находились в относительно свободном состоянии, связанными спереди, он решил разыграть приступ жестокой брюшной боли, чтобы один из татар приблизился к нему на достаточно близкое расстояние, затащить его в «партер», придушить, обезоружить, перерезать ремни — а там видно будет.

Итак, перед отправлением в очередной переход, когда татары седлали коней и собирали вещи, Костя стал валяться по земле, корчиться, хватаясь за живот, и издавать жалобные вопли.

Татары, которые в это время возились возле лошадей, молча обменялись взглядами. Муса кивнул, не говоря ни слова, и Айдарка подошел к Косте, а Ермолка тем временем стал приближаться к Мусе, чтобы броситься к нему в ноги и повалить, когда между Костей и Айдаркой завяжется борьба.

Айдарка внимательно осмотрел Костю, однако не приближаясь к нему настолько, чтобы можно было сделать захват.

— Анда ничек — что там? — справился Муса.

— Бармый — не идет, — отвечал ему Айдарка.

— Утеру — убей.

Словарный запас татарского языка у Кости был достаточно велик, чтобы понять этот короткий диалог, а также и то, что после него не последует уговоров, счета до десяти или хотя бы до трех.

Прежде чем Айдарка достал из ножен саблю, Костя перестал придури-ваться и, постанывая и прихрамывая для приличия, поплелся к своей лошади.

После этого казаки стали придерживаться выжидательной тактики, благо долгий путь до Крыма позволял не торопить события. Пылкий Костя не очень верил в доводы Ермолки, но его старший битый и стреляный товарищ уверял, что скоро все устроится само собой: кто-то из татар заболит, напнется, убьется с лошади, а может — они поссорятся и подерутся, или на них нападут дикие звери — и тогда не зевай. Потому что Господь дает каждому случай, но не прощает, если этот случай пропускают.

Путешествие проходило спокойно и даже приятно, если это возможно при столь своеобразных обстоятельствах. Вокруг не было ни одного человека как источника опасности и беспокойства, а была только одна восхитительная весенняя природа как источник бесконечных наблюдений и открытий. Если бы у казаков были развязаны руки, а у татар исчезла тягостная необходимость принуждения, то все это напоминало бы верховую прогулку двух русских туристов под руководством двух опытных степных гидов.

Об окончании этой поездки и о том, что после нее начнется, и думать не хотелось.

Где-то в донецких степях к путешественникам приبلудилась одичалая лошадь. Этот навьюченный конь плелся за всадниками на почтительном расстоянии, а во время стоянок следил за ними издалека, но не позволял приблизиться к себе на достаточно близкое расстояние, чтобы накинуть аркан.

Однако постепенно дикий конь смелел, и опытный лошадиник Муса, заговаривая ему зубы, стал подходить к нему на расстояние шагов до десяти. Судя по масти и снаряжению, это был тот самый конь, на котором Истома уехал на свое последнее дежурство. Наконец Мусе удалось поймать коня и приобщить его к своему небольшому каравану. Это был точно конь Истома по кличке Орлик, и на нем было навьючено все имущество пропавшего казака, включая червивые остатки истлевшей провизии, лук с колчаном и «ручницу» с остатками боеприпасов, одолженную товарищу Костей.

Похоже было, что Истома убили татары, а конь его убежал. Это вполне объясняло тот факт, что татарам удалось беспрепятственно проникнуть в казачий притон и застигнуть казаков врасплох. Но конь был снаряжен для долгого пути, а не для дневного дежурства в поле, и это наводило на нехорошие выводы, которые Ермолка пока держал при себе.

Однажды среди бела дня потянуло холодом, горизонт затянуло сизыми тучами, и при ярком солнце с неба повалил крупный снег. В считанные минуты почти летняя жара превратилась в почти зимний холод, и началась самая настоящая февральская метель.

Скоро леденящий ветер подул так сильно, а снежные клубы понеслись так густо, что всадники едва могли различить в белом потоке хвост передней лошади, а все пространство снизу, сверху и со всех сторон сделалось одинаково белым и непроницаемым, как будто они плыли по молоку. Дальше ехать было невозможно.

Путешественники спешили возле руины какого-то каменного склепа или капища, оставшегося здесь, наверное, от Батыевых времен, привязали лошадей и залезли в это жалкое укрытие, прикрываемое ветром со всех сторон.

Муса и Айдарка улеглись на попоны, укутались тулупами и положили с боков по русскому, крепко, по-братски, обняв своих врагов, как они обняли бы своих баранов, если бы гнали скотину.

Ветер завывал каким-то все более одушевленным голосом, метель и не думала кончаться. Становилось темно, и из склепа невозможно было определить, какая теперь часть дня. То один, то другой из неразлучных врагов начинал засыпать, выпуская храп, и его толкали в бок, чтобы не мешал. Это был не сон, но и не бодрствование, однажды Ермолке даже померещилось, что он пришел домой сильно пьяный и упал в сени, жена накрыла его овчиной, а одна его голая нога осталась снаружи и мерзла.

Однако его жена оказалась не женой, а Мусой, который приподнялся и укрыл потеплее ценного пленника.

— Минем хатыным яшьрек — моя жена моложе, — сказал товарищу Айдарка, устраиваясь поудобнее и крепко обнимая Костю сзади.

— Э минеке — бик эссе, — отвечал сквозь сон Муса, — а моя — шибко горячая.

До Ермолки дошел гомосексуальный смысл этой шутки, и он хотел было парировать ее по-русски, но вспомнил о плети Айдарки и решил приберечь свое остроумие до более подходящего случая.

Вдруг ему показалось, что снаружи, у входа в капище, что-то ворочается. Несомненно, сквозь выразительный, злобный, но механический вой ветра можно было разобрать какой-то ритмичный скрип, если можно так выразиться, антропогенного или животного характера. Совершенно точно — вокруг капища кто-то ходил или ползал, приближаясь и подкапываясь к ним.

Сонная одурь мигом слетела с Ермолки, и он почувствовал, как волосы его встают дыбом от ужаса. Ермолка толкнул своего вынужденного одноложца, но Муса и без того уже сидел на корточках, держа в руке нож.

— Аю — медведь? — обратился Ермолка к Мусе, вопреки регламенту.

— Глупый совсем? Какая медведь поле? — отвечал Муса по-русски.

Между тем возня снаружи становилась все громче и ближе. Кто бы там ни находился, он теперь рыл снег, пытаясь добраться до путников. Муса нацелил свой нож, чтобы ткнуть им то, что сейчас покажется. В склеп хлынул поток холода и света через открытое отверстие, и просунулось нечто косматое, ужасное, но вполне человекообразное. Это был заросший, почерневший, одичалый человек, настоящий Шурале, каким его представляет татарский фольклор, или снежный человек Йети, каким его изображает научно-популярная литература.

— Син кем — ты кто? — справился Муса, заноса нож на эту образину.

— Мин русский. Возьмите меня в полон, я жрать хочу, — отвечало существо, и по голосу Ермолка узнал в нем Истому.

— Истомка — ты? — спросил Костя, радуясь товарищу, но еще не понимая, что его радость неуместна.

— Яз, — отвечал призрак.

Муса хотел было наказать пленного ударом плети, но в тесноте это было затруднительно, и он решил отложить наказание до более удобного случая.

Кратковременная зима кончилась так же быстро, как и налетела. Утром припекло солнце, по степи побежали ручьи, и пятеро всадников отправились дальше под пение печальных татарских песен, как будто нарочно придуманных для того, чтобы одной песни было достаточно на сто верст пути.

К концу дня, когда о вчерашней метели напоминали только отдельные грязные сугробы, перед путниками вдруг раскинулась белая долина, сплошь усеянная бесчисленными косматыми лошадками, по-собачьи роющими ногами землю и достающими из-под снега то, что было там съедобного. Это были табуны татарской армии, собранные для предстоящего похода на Русь.

В тот день, когда Истома сдался татарам, чтобы не умереть от голода, Хафиза пригнали в Епифань, где пленных, несмотря на непогоду, с нетерпением ждало все население этого военного городка.

Татарам не повезло. Произошел тот редкий случай, когда виновные попали в руки потерпевших вскоре после своего преступления, и свежая ярость могла быть обрушена по назначению. Если бы воевода дал волю епифанцам, скорбящим по пропавшим на днях казакам, то пленных растерзали бы на месте. Но пленные нужны были Тюфякину только живыми, и он приказал охранять их от народной ярости.

Издали Хафиз увидел сквозь белую снежную занавесь высокий черный столп крепостной башни, напоминающей минарет. Затем показались змеящиеся по валам бревенчатые стены, недавно срубленные и еще не потемнев-

шие от сырости, широкое белое поле рыночной площади — торгова, и на нем толпу, от которой за версту исходило возбуждение, как бывает перед публичной казнью.

Связанных гуськом татар тесно окружили конные стрельцы с обнаженными саблями и заряженными ружьями. Колонну остановили перед входом на площадь, и засечный голова с несколькими помощниками стал расталкивать толпу, освобождая вход в крепость. Стрельцы, пригнавшие пленных, были не местные, они не церемонились с епифанскими жителями и скоро установили порядок.

Засечный голова с саблей наголо стал впереди колонны, и пленных погнали сквозь строй людей, прожигающих взглядами этих злодеев, причинивших столько зла буквально каждому — если не лично, то через пропавших, убитых или покалеченных близких.

Начало этого страшного пути прошло без происшествий. Толпа стояла без единого звука, как на похоронах, и тишину только нарушало уханье ветра, словно припугивающего и без того напуганных пленных. Однако постепенно люди теснили конвоиров, бессознательно подступая к пленным и нападая на лошадей подобно какой-то хищной биологической массе, которая охватывает жертву, чтобы ее переварить.

Несмотря на окрики и толчки, люди уже подлезали под самые копыта лошадей. Перед Хафизом уже мелькали лица русских — не злобные, а скорее азартные, какие бывают у спортсменов, сделавших ловкий прорыв к воротам. Полетели камни, связанные татары не могли загородиться, и у одного кровь из рассеченной головы заливала лицо.

Какая-то женщина тыкала палкой в зазор между лошадиными туловищами, норовя попасть пленным в глаза. Какой-то мальчик стрелял в пленных горохом из трубки. Кто-то изловчился заехать Хафизу кулаком, так что искры посыпались из глаз. А впрочем, мужчины, как люди военные, не участвовали в этом развлечении и даже придерживали своих женщин и детей.

С десяток шагов оставалось до ворот крепости, за которыми, очевидно, пленным ждала относительная безопасность. И в это время произошло нечто, чего Хафиз поначалу не мог осознать, как будто на него налетел смерч.

Передняя лошадь стрельца справа от него ускорила шаг, задняя замешкалась, и в интервал между ними ворвалась молодая женщина. Эта бешеная баба вцепилась в Хафиза и с невероятной силой одержимости выволокла его из строя, протаскивая за собой целую низку привязанных татар. Швырнув Хафиза на снег и повалив заодно еще несколько человек — татар и русских, женщина запрыгнула на пленного сверху и стала осыпать его слепящими ударами, стараясь при этом вцепиться в горло, волосы и глаза.

— Где Ермолка? Куды мужа моего дел? — не кричала, а шипела горлом эта женщина, как шипят злобные кошки, словно выдыхая ненависть всем своим нутром.

— Не видал я мужа твоего! — отвечал Хафиз, отворачиваясь и так и сяк, поскольку не мог загородиться. — Брысь, дура!

Измученная звуком человеческого русского языка и особенно домашним словом «брысь» из уст ненавистного безликого, а потому и нечеловеческого татарина, Софья приостановила град ударов. В это время выстрелы громыхнули поверх голов епифанцев, которые также набросились на поваленных пленных и начинали их избивать.

Люди отрезвели от выстрелов, порядок был восстановлен, татар поднимали на ноги и даже отряхивали от мокрого снега с какой-то чрезмерной заботливостью. И только Софья продолжала сидеть на поверженном враге в позе наездницы, так что растрепанная коса падала на лицо юноши.

Сквозь халат Хафиз чувствовал гладкие сильные ноги девушки, крепко охватившие его бока, и печной жар ее лона, от которого у него ударило в голову сильнее, чем от кулаков. Он почувствовал то, что и должен чувствовать в такой ситуации восемнадцатилетний девственник, еще не познавший жен-

щину, но бредящий об этом круглосуточно. Это нелепое, неуместное, а может, напротив, слишком закономерное физиологическое явление передалось сидящей на нем девушке, и оба они замерли от сладкого изумления.

Между тем пауза затягивалась, получившие разрядку люди стали обращать внимание на сцепившуюся парочку и отпускать обычные в такой ситуации шуточки:

— Пусти татарина, Сонька! Обмер совсем! Софья, слезай, пока Ермолай не увидал! Слазь, а то татарчонок родится!

Пылая от стыда, Софья слезла с Хафиза, юноша поспешно задернул халат, поднялся и вернулся в строй.

— Полоняников не бить, они нам годны для обмена! — обратился к людям засечный голова. — А вот вам за сродников ваших!

Он выбрал из торбы голову сотника и вбросил ее в толпу, как шар на кегельбане. К счастью, Хафиз не увидел, что разъяренные русские будут делать с головой дяди Ахмада, потому что колонну пленных поспешно загнали в крепость и ворота закрыли на засов.

Пленных накормили и заперли в пустую осадную клеть — барак, сооруженный для гарнизона на случай осады. Утром князь Тюфякин начал *ро́спрос* языков на осадном дворе, переоборудованном в пыточный.

Хафизу в очередной раз повезло. У воеводы не было ни времени, ни желания допрашивать каждого рядового татарина. Роспросу были подвергнуты только выжившие пятидесятник идесятники, то есть, так сказать, офицер и унтер-офицеры.

Перед входом в княжеский терем был установлен стол с лавкой для Тюфякина, Лихарева и ведущего протокол секретаря — подьячего. Напротив соорудили вису, или дыбу, — что-то вроде качелей с блоком, через который на веревке подвешивали за руки человека. Рядом с виской разложили кнут, щипцы и еще какие-то инструменты наподобие плотницких и разожгли жаровню, точно такую, на каких жарят шашлыки.

Среди епифанских казаков и стрельцов не нашлось охотника на роль палача, так что князю пришлось доверить это непростое дело своему боевому холопу, которого сегодня назвали бы адъютантом, — расторопному молодцу, способному, если надо, и зарезать человека, и принять роды, и прыгнуть в огонь, и предать.

Поскольку Хафиз уже проявил свое знание русского языка, то он при роспросе играл неприятную, но безопасную роль переводчика. Ему, таким образом, наглядно пришлось убедиться в том преимуществе, которое имеет образованный человек перед простым воякой и о котором ему постоянно твердил отец.

Каждому из татар задавали одни и те же вопросы по опросному листу: имя, звание, цель набега, а также предполагаемые планы крымского царя. Спрашивали сначала по-хорошему, без пытки, а затем — в подвешенном состоянии. Под конец роспроса палач вставлял между связанных ног жертвы бревно и вспрыгивал на него после каждого вопроса. Ни кнут, ни раскаленные щипцы, используемые скорее в качестве психологического оружия, на сей раз не понадобились. Все четыре языка отвечали одно и то же, не противореча друг другу, так что, вероятно, они говорили правду.

Отряд проник на Русь не для грабежа и добычи рабов, а для глубокой разведки и захвата языков. Было очевидно, да и татары подтверждали это не без злорадства, что по их возвращении должно было начаться грандиозное нашествие, которое уже невозможно остановить, как нависшую лавину.

Преодолеть засечные укрепления татары не смогли, но главная часть их задания вполне удалась. Они захватили двух языков, среди которых по крайней мере один — сотник Ермолка — располагал всей необходимой информацией по русским укреплениям в направлении Муравского шляха. Второй

пленный казак был не столь опытен, как Ермолка, но мог служить татарам вожем — проводником по укрепленным бродам, сторожам и засекам.

Судя по всем показаниям, третьего казака, Таволгу, татары убили при захвате, а о четвертом, Истоме, они вообще не упоминали, как будто его и не было.

Невозможно было строить план военной кампании на том, что оба пленных казака окажутся святыми мучениками, вытерпят пытки и не выдадут военную тайну. Следовательно, нашествие начнется в пределах ближайших недель, если не дней, и все главные силы с вогненным боем и нарядом — огнестрельным оружием и артиллерией — надо срочно перебрасывать на берег.

С этим страшным, но долгожданым известием князь Тюфякин отправился в Москву.

Утром татар покормили, вывели на двор и опять связали гуськом так, чтобы веревка, опутав руки одного пленного по бокам, переходила к следующему и так далее. Боевой слуга построил татар и сделал переключку по списку. Он приказал колонне повернуться направо — «унга» — и собирался уже гаркнуть команду «пошел» — «айда», как в ворота въехал князь Тюфякин в дорожной одежде — темном суконном кафтане с завязками на груди и верблюжьей епанче, накинута по-казацки на одно плечо. У стремени воеводы торопливо шла, переходя на бег, та самая красивая казачка, которая поколотила Хафиза при входе в крепость и теперь не выходила из его фантазий, несмотря на все ужасные впечатления вчерашнего дня, и даже как бы поверх этих впечатлений.

Окинув взглядом колонну пленных, Тюфякин нашел в ней Хафиза и велел его отвязать. Отсоединенного от общей цепочки татарина вывели за шиворот из колонны.

— Твой отец мурза? — обратился князь к Хафизу.

— Ибрагим бин Дауд Темирташ-бей, — отвечал Хафиз.

— Боярин татарский, за него большой окуп дадут, — пояснил Тюфякин женщине, которая сегодня показалась Хафизу даже красивее, чем в прошлый раз.

— На что он мне? — возразила Софья грудным и даже довольно низким голосом, от которого у Хафиза потеплело в животе.

— Будет холоп твой, — отвечал Тюфякин. — А то — поменяешь на Ермолку своего после войны, когда пойдет обмен.

— Лучше бы четыре рубли дали за мужа, — проворчала Софья.

— За живого не положено, — сказал воевода раздраженно, наверное, уже не в первый раз, и махнул плетью, отдавая колонне приказ двигаться.

— Хуш, Урус! — крикнул пленный татарин, проходя мимо Хафиза. — Прощай, сделай русской бабе татарчонка!

Конвоир ловко огрел шутника плеткой, и тот примолк.

— Ярар — годится! — отвечал Хафиз.

Выйдя из крепости, Софья накинула на пленного аркан и повела его по извилистой тропинке между холмами к казачьей слободе. Она бежала по крутому спуску легко и проворно, подобрав платье почти до самых колен, так что Хафизу были видны ее остроносые алые чоботы, обшитые бисером, и белые вязанные чулочки.

Обернувшись, Софья поймала жадный взгляд Хафиза и презрительно поджала губки.

— Чего он тебе кричал? — справилась она, перепрыгнув через топкий ручеек и распугав стадо сердитых гусей.

— Кто кричал? — прикинулся Хафиз.

— Что тебе твой татарин кричал?

— Он кричал, что мой хозяйка красивый на свете.

— Сама знаю, — отвечала Софья и вдруг резво побежала к берегу Дона, не обращая ни малейшего внимания на своего военнопленного.

Почему-то она была уверена, что ее новая собственность никуда от нее не денется.

В тот день, когда Софья привела на свой двор раба, подаренного ей воеводой в качестве компенсации, ее мужа с товарищами привезли в татарскую ставку.

Появление русских пленников не вызвало сенсации среди татар, продолжавших заниматься обычными делами, какими занимаются военные в свободное время: готовить еду, чистить лошадей, ремонтировать амуницию, петь, плясать, играть в кости. Удивляясь размерам и образцовому порядку этого лагеря, разбитого на улицы и целые кварталы по тысячам, сотням и десяткам, Ермолай подумал, что у диких агарян есть чему поучиться не только русским, но и спесивым немцам.

Несколько раз справившись о направлении, Муса спешил к возле пестрого шатра, из которого тотчас выбежал энергичный кудрявый человек в ермолке.

— Сседай, — приказал пленникам Айдарка, под конец пути вдруг проявивший знание русского языка.

— Ассалам-агалейкум, Муса-эфенди, — воскликнул человек в ермолке, тряся обеими руками руки Мусы и небрежно кивнув Айдарке.

— Магалайкум-ас-салам, Рувим-ага, — сдержанно отвечал Муса.

Рувим тут же принялся ощупывать плечи и ноги пленных, заглядывая им во рты и глаза.

— Я думал, уже всех людей увели с Руси. Остались еще люди на Руси? — пошутил он, подмигивая Ермолке.

Рувим говорил по-русски совершенно чисто, но с какой-то вкрадчивой, словно всегда вопросительной интонацией, свойственной литовским выходцам.

— На вас, жидов, хватит! — отвечал Ермолка, также подмигивая Рувиму.

Тот нисколько не обиделся на эту грубость или сделал вид, что пока не обиделся, и только потрепал могучее плечо русского казака.

Передавая пленных Рувиму, как это, очевидно, и было предусмотрено неписанным татарским уставом, Муса и Айдарка тут же отправились с докладом к мурзе — командующему татарским авангардом. Рувим тем временем отбросил свои шуточки и прибаутки и повел пленных к походной кузнице, где казакам предстояла своего рода инициация, навеки переводящая их из разряда нормальных людей в мир имущества и домашних скотов.

На ноги и руки казаков наложили тяжелые железные цепи с браслетами, в которых можно было лишь медленно тащиться, с трудом переставляя ноги, а затем кузнец продел в уши браслетов стальные заклепки и сплющил их несколькими ловкими, точными ударами молота.

Скованных казаков отвели к загону для пленных, где уже сидели и лежали несколько мужчин и женщин, между которыми весело, как ни в чем не бывало, резвились дети разного возраста. Казакам дали опраться и поесть, а затем привязали поодаль от всех к вбитому в землю столбу.

— Нашел себе волю? — справился Ермолка у Истома, поскольку в скованном положении вынужден был сидеть, упершись спиной ему в спину.

— Еще поглядим, — отвечал Истома.

По старшинству Ермолку повели на допрос первым. В просторном шатре командующего, где среди «позолотных» подушек кружком сидели беки и мурзы, перед ним расстелили большую цветную карту Московии с множеством картинок и надписей на латинице.

В верхнем левом углу карты перед шатром был изображен русский царь и написано: «Ioanes Basilius Magnus, Imperator Russiae Dux Moscoviae». Ниже шли названия стран и народов: Moscovia, Litvania, Tartaria, Crimea, Nagaya, Tvrk и т.д. и изображены были представители этих народов, а также некоторые обитающие там скоты — медведи, верблюды, олени. Сверху вниз через карту извиристо расходились реки — Tanais (Дон) и Volga, впадающие, соответственно, в Pontus Evxinus и Mare Caspius.

Карта была настолько подробной и точной, что на ней можно было разобрать Ivan Ozero, из которого вытекает Танаис-Дон, Tula, Venev и даже Epifan.

Такую или подобную карту, сочиненную учеными немецкими людьми для царя и скопированную для воевод, Ермолка видел на военных советах. Он даже научился разбираться в этом полезном нововведении и никак не ожидал увидеть его на вооружении невежественных «сыроядцев».

— Знаешь ли, что это? — спросил через переводчика худошавый сидящий человек лет шестидесяти с умным лицом, в зеленом кафтане на соболях и турецкой чалме.

Ермолка догадался, что перед ним знаменитый Дивей-мурза, один из лучших военачальников крымского хана, и отрицательно мотнул головой.

— Гляди, — продолжал Дивей-мурза, проводя по карте хлыстом. — Вот Москва, вот река Ока, вот ваши береговые города: Коломна, Серпухов, Кашира. Здесь засеки. Здесь Епифань, а мы сейчас вот здесь.

— Яз простой казак, читать-писать не умею, — набычился Ермолка.

— Ты не простой казак, а сотенный голова, — возразил Дивей. — Ты знаешь, где какой перелаз, где ездят станицы, а где стоят сторожи. Проведешь нас через Оку, будешь живой.

— Мы городовые казаки: округ Епифани места знаем, а других мест не знаем, — отвечал Ермолка.

— Будут огнем жечь, — предупредил, страшно округляя глаза, Рувим.

— Жгите, — махнул рукою Ермолка.

Рувим вывел из шатра Ермолку и отвел туда Костю, а сам пока стал распорядиться приготовлениями к пытке.

Палач под руководством Рувима стал разводить огонь в жаровне, монтировать дыбу и раскладывать инструменты, которые совершенно не отличались от тех, что использовали их русские коллеги, словно всех злодеев мира готовят в каком-то одном учебном заведении по единой программе.

— Жечь будут? — испуганно просил Истома, которого заранее начинало колотить от страха.

— Медом угощать, — отвечал ему бывший командир.

Из шатра привели Костю, который, как и Ермолка, также ничего не показал и не рассказал врагам, хотя и по другой причине: он действительно ничего толком не знал. На допрос повели Истома, а Рувим тем временем отсоединил от столба Ермолку и отвел его в сторону.

— Деньги есть? — просил он Ермолку.

— Откуда у полоняника деньги? — удивился Ермолка.

— Были бы деньги, я бы договорился с катом пытать послабее.

— Дома есть немного. Да как их забрать?

— Ты человек совестной, и я тебе верю. Я заплачу в долг из своих, чтобы палач тебя мучил только для вида. А ты пиши письмо, чтобы твои сродники за тебя расплатились, когда к ним явится с письмом человек.

— Сколько же ты за это берешь? — недоверчиво спросился Ермолка.

Ему не верилось, что хитрый толмач внесет за него деньги при столь ничтожной возможности возврата.

— Пять рублей. Пиши верующее письмо родителям, или кто у тебя есть.

Неграмотный Ермолка продиктовал Рувиму следующее послание для жены:

«Спаси Бог, Софья, пишу из полона твой муж Ермолай. Дай человеку сему пять рублей, да не мучают мене татаровя сверх моих сил. А найдешь денги на окуп, то окупни меня у хозяина моего Рувима сколько он скажет.

Твой муж Ермолка».

Прослушав содержание письма и немного подумав, Ермолка спросил:

— Сколько еще надо, чтобы не томили моих людей — у них денег ни сколько нет, а просить не у кого.

Прикинув сумму с возведенными горе очами, словно она была начертана на небесах, Рувим отвечал:

— Люди они обыкновенные, беру за них пять рублей за обоих.

— Тогда допиши: «Заплати сему человеку Рувиму или кого он пришлет еще пять рублей за товарищи мои, Костю да Истомку, да не замучают их до смерти окаянные татаровя».

Рувим унес письмо с оттиском большого пальца Ермолки в свою палатку, а затем вернулся в шатер командующего, где начинался допрос последнего языка. Он, конечно, не надеялся на скорое получение денег по этому векселю, если их вообще когда-нибудь удастся выручить. Однако он действительно приплачивал палачу из своих средств за то, чтобы тот наносил удары, страшные на вид, но не слишком травмирующие, а огонь жаровни пододвигал так, чтобы он только припекал, не причиняя опасных ожогов.

Терпеливый человек вполне мог вынести такую пытку и выходил после нее без серьезных травм и ожогов. Такого человека можно было продать за хорошие деньги перекупщикам из Турции.

Допрос Истомы продолжался недолго — а может, время перед пыткой ускорило свой бег. Все это время Костя и Ермолка перешептывались, обсуждая свою дальнейшую тактику. Затем Истому, избегающего смотреть товарищам в глаза, повели в кузину и расковали. Ермолку и Костю отсоединили от столба и повели к пылающей жаровне.

— Страшно, дядя Ермолай, — признался Костя.

— Терпи, — отвечал Ермолка.

Во время пытки «с подъему» (на дыбе) и огнем языкам задавали те же вопросы, что и в первый раз. Ермолка заметил, что палач действительно несколько ослаблял удары своего бича и клал их таким образом, чтобы они не повредили позвоночник и жизненно важные органы, да и огонь был установлен так, чтобы жечь больно, но терпимо, а мясо потом не облезало клочьями до костей.

Как было условлено с Костей, после первой пытки Ермолка «признался» Дивею, что все главные силы русских посланы «на немцы». В городах, оставленных без воевод и почти без гарнизонов, начался мор. К тому же по всей Руси, измученной царским тиранством, идет «меженина», готовая перерасти в бунт. И, таким образом, прямой путь на Москву удобными переправами через Серпухов, можно сказать, чист. Показания сотника почти дословно повторил Костя, который не стал разыгрывать из себя героя и заговорил после первого же удара кнутом.

Что же касается Истомы, то он, напротив, стоял на том, что вся государственная Украина готовится к бою, а весь «берег» за Окой изрыт батареями и с нетерпением ждет татарскую конницу, чтобы смести ее «вогненным боем».

На этом допрос русских пленных был завершен. Истому расковали, наградили халатом и зачислили на довольствие в качестве переводчика и жога (проводника) в службе Рувим-аги. Рувим в тот же день «окупил» Ермолку и Костю у татарских разведчиков за сумму, которая казалась значительной рядовым воинам, но составляла ровно половину той, какую получал сам Рувим по окончании сделки. Затем переводчик передал товар своему партнеру — греческому судовладельцу, который переправлял рабов без посредников, минуя рынок в Кафе, прямо кабуданам — капитанам турецкого флота. Здесь сильных русских рабов распределяли гребцами на каторги, то есть на галеры, где их цена еще возрастала.

Несмотря на разницу вероисповеданий, Рувим и Истома сошлись, как родные, едва взглянув друг другу в глаза. Рувим предложил русскому коллеге вступить в его торговую фирму с жалованьем для начала десять процентов с каждой сделки, и они сошлись на пятнадцати процентах. Рувим вручил Истому письмо для Софьи Ермолаевой, по которому следовало получить деньги за послабление пытки — ни в коем случае не объявляя, что пытка уже прошла успешно и ее муж давным-давно продан и перепродан.

— Не вернет деньги за обоих казаков, возьми за одного Ермолку. Не найдет всех денег, возьми, сколько есть. А согласится окупить мужа из турецкой каторги, бери деньги вперед, но не из пытошных, а по новому счету. Не будет

всего окупа, бери половину, а другую половину отдаст по возвращении. А то — замани ее с собой выкупать мужа в Крым да приводи ко мне, мы ее объездим, — подмигнул Рувим, шутя ткнув Истому пальцами под ребра.

— Такая пава самому пригожа, — отвечал Истома, сунув Рувиму под дых понарошку, как переводчик переводчику, так, что дух перехватило.

А впрочем, Рувим оставлял за русским право на импровизацию в этой второстепенной сделке, более уповая на оптовые партии рабов в случае разгрома русских. Главное же задание Истомы, помимо его военных обязанностей, заключалось в том, чтобы разыскать следы татарского воина по имени Урус Хафиз.

Этот юноша был сыном важного человека, вхожего в правящие круги крымской знати. Если он не погиб во время рейда и попал в русский плен, то его следовало выкупить на любых условиях. Благодарность его богатого отца не будет иметь границ и не будет заключаться в одних только деньгах.

— Ты еще будешь татарский мурза, как обрезание сделаешь, — пошутил Рувим, завершая свое наставление и удаляясь в угол шатра для вечерней молитвы.

Ради карьеры Рувим принял ислам, но перед сном, когда никто не видел, молился по-настоящему, со слезами раскаяния, своему прежнему богу.

На рассвете Дивей-мурза отправился в ставку хана на решающий военный совет, где был утвержден план весенней кампании. А в первых числах мая русская разведка доложила царю, что все огромное крымское войско бесследно исчезло, словно превратилось в невидимок или провалилось в свой Тартар.

В то время когда русские разведчики рыскали по полю в поисках исчезнувшей крымской армии, Епифань готовилась к осаде.

Из Тулы прибыла еще сотня стрельцов, посаженных «на конь», и три большие пушки на станках — по одной на каждую башню. Гарнизон теперь жил в крепости постоянно, и его невозможно было застигнуть врасплох, а для мирных жителей то и дело устраивали учения «гражданской обороны», так что у каждого был наготове запас необходимых вещей и провизии на случай «осадного сидения», и женщины с детьми и скотиной действительно научились сбегаться за стены острога в считанные минуты.

На таком почти осадном положении город прожил до середины мая, так что чувство бдительности начинало притупляться, а постоянные учебные тревоги воспринимались как забава. Татары не появлялись, и пошли толки, что, возможно, они устрашились русской военной мощи и вообще передумали «распускать войну» в этом году.

Из Москвы прискакал полумертвый от усталости гонец, и благодушное настроение как рукой сняло. Гонец принес пугающие вести.

Вся огромная работа по организации и укреплению русской границы, все хитрости по дезинформации крымского хана и его заманиванию на укрепленные позиции «берега», все труды и расходы пошли прахом. Произошло именно то, что только могло представиться русским воеводам в кошмарном сне.

Пройдя от Перекопа до Муравского шляха, крымское войско вдруг свернуло и беспрепятственно перешло Оку в самом ее верховье, возле Кром. Затем, вместо того чтобы идти прямо к Москве и попасть под ядра русского «наряда», царь Девлет-Гирей направился на запад, на козельские земли. Здесь, миновав Калугу, он «перелез» реку Жиздру и двинулся к Угре, называемой поясом Богородицы из-за той спасительной роли, которую она сыграла при последнем нашествии на Русь Великой Орды, в 1480 году.

На этот раз пояс Богородицы не спас святой Руси. Крымский хан «перелез» Угру и неожиданно для самого себя оказался в тылу русской укрепленной линии, под самым сердцем Москвы.

Украинные полки снимали из пограничных крепостей и срочно гнали к Москве для участия в генеральном сражении. Русский главнокомандующий (воевода Большого полка) Иван Бельский оставил неприступные позиции на

берегу Оки и спешил к Москве со своим главным корпусом (Береговым разрядом), чтобы не быть застигнутым с тылу. Туда же из Коломны двинулся и царь со своими опричниками.

Это напоминало гонку воюющих армий до стен Москвы.

В Епифани оставалась горстка пеших казаков, которые не смогли участвовать в битве за Москву из-за «худоконности», по возрасту или по здоровью. Караульную службу на стенах поочередно несли все, включая женщин и подростков. Каждый человек был на счету, и вот казачий голова Федор Лихарев решил прибрать на службу пленного татарина Софьи Ермолаевой.

Однако Хафиз на службу не годился.

Когда человека ловят, чтобы убить, он вряд ли умрет от простуды. Болезнь как бы становится в очередь за более сильной напастью, чтобы набраться на жертву с удвоенной силой, как только главная угроза минует.

В тот день, когда Софья привела Хафиза на свой двор в казачьей слободе, юноша чувствовал себя вполне нормально, если не считать какого-то неестественного возбуждения. Прыгая по епифанским ухабам за своей легконогой госпожой, Хафиз воспринимал все окружающее как бы сквозь какой-то звон и фосфорическое сияние. Это странное полуобморочное состояние он приписывал усталости, страшным впечатлениям последних дней, а также той любовной горячке, которая охватила его, несмотря на телесную слабость.

Это и была горячка, но не любовная.

Приведя пленника домой на аркане, как жеребца, Софья указала ему его новое место жительства в хозяйственной пристройке, напоминающей хлев, принесла охапку соломы, покрывало, миску похлебки и удалилась, навесив снаружи чугунный замок.

Хафиз остался наедине с собой, у него наконец-то появилась возможность поразмыслить над всем произошедшим, но в голове звенело, перед глазами «прыгали лягушки», и все шло кругом, как на карусели.

Он не ел сутки, но не мог себя заставить притронуться к пище. На улице стояла почти летняя погода, но его трясло от холода. Набросав на себя сверху все, что только мог найти в этом закутке, вплоть до какой-то ветоши, Хафиз свернулся на соломе в позе зародыша и тут же провалился в темный погреб беспмятства. Потирая сиреневые руки, лихорадка села ему на грудь и стала его душить.

Хафизу становилось попеременно то холодно, то жарко. Он щелкал зубами, весь сотрясаясь от холода, а затем на него вдруг накатывала волна жара, он сбрасывал с себя все и прижимался к холодной земле, пытаясь охладиться.

Предметы то увеличивались, то многократно уменьшались перед его глазами. Особенно забавными казались ему его руки с крошечными пальцами размером с лягушачьи лапки.

Он слышал с улицы явственные голоса, обсуждавшие его по-татарски:

— Вы не видели Хафиза?

— Какого Хафиза?

— Нашего храброго батыра Хафиза.

— Нет, мы его не видели, он куда-то пропал.

Хафиз пытался закричать, позвать товарищей и сказать им, что он здесь, под соломой, но голос не слушался его, и из горла вылетало лишь какое-то невнятное мычание. Он хотел подняться, чтобы привлечь к себе внимание стуком, но не мог пошевелиться, словно его тело было прибито к полу.

«Что если мне запеть? — подумал Хафиз. — Запою мою любимую песню, и они догадаются, что я здесь».

Хафиз запел свою песню:

Твои глаза меня пламенем жгут,
Огнем мою душу безжалостно жгут.
Страдаю и плачу от них, как в аду.
Но в рай без тебя, о Гюзель, не пойду!

Дверь хлева распахнулась, и в ярком потоке света вошла его мать. Мать присела на корточки рядом с его разбросанным ложем и взяла его за руку.

— Эни, мина эссе, — прохрипел Хафиз почти беззвучно.

— Говори русским языком, — сказала мать.

— Мама, мне жарко, — сказал Хафиз во весь голос.

— Я остужу, — сказала мать, положила на его пылающую голову руку, и от ее руки чудесным образом по всему телу до самых ног пошла целебная, освежающая прохлада.

— Мама, лучше, — сказал Хафиз.

Мать поцеловала его в лоб. И в этот чудесный миг Хафиз почувствовал, что его как бы выдергивают из того уютного места, к которому он уже привыкал, в то нехорошее, тревожное место, куда он не хотел возвращаться.

Хафиз с неохотой пришел в сознание, не понимая, где он находится. Он лежал не на соломе и не в хлеву, а в чистой просторной избе, на застеленной лавке. Он был совершенно голый и мокрый. Рядом с ним сидела прекрасная молодая женщина, но не его мать. Эта женщина водила по его телу рукой, и от ее руки действительно исходила живительная, невыразимо приятная прохлада.

Софья была довольна приобретением Хафиза, как новой лошастью или коровой. Человеческая сила была главным капиталом, и, исходя из этого соображения, крестьяне выбирали себе даже супругов. Так что, найдя своего работника без памяти перед нетронутой миской с едой, женщина принялась его выхаживать столь же старательно, как выхаживала бы больного коня.

Она пригласила знахарку, которая была в слободе по совместительству и терапевтом, и акушером, и ветеринаром. Знахарка, разжав Хафизу зубы ножом, напоила его целебным отваром, пустила кровь и прочитала над ним заговор. После этого больному стало хуже, и по телу его пошли судороги, как будто наступают его последние минуты.

При помощи двух мужиков Софья перетащила Хафиза в избу, чтобы попробовать на нем последнее средство, рекомендованное целительницей. Она уложила его на лавку, раздела донага и стала протирать тело льдом из погреба.

Благодаря ледяным протираниям температура стала падать. Хафиз что-то жалобно запел по-татарски, а затем стал звать маму — по-татарски и по-русски.

Он открыл глаза и, принимая Софью за свою мать, сказал по-русски:

— Мама, лучше!

Это уже было выше сил нормальной, жалостливой русской, да хоть бы и не русской бабы.

— Оживает, голубчик, — сквозь слезы залепетала Софья, осыпая жаркими поцелуями лоб и щеки врага.

Несмотря на все усилия знахарки, Хафиз заметно поправлялся. Для согрева Софья переложила его на печь, а себе отгородила занавеской угол под образами. Они провели ночь в одной комнате, Софья всю ночь ворочалась, а Хафиз бредил по-татарски и по-русски, с кем-то сражаясь во сне.

Утром он слез с печи и пошел на двор искать отхожее место, упал и смеялся своей слабости, когда Софья выбежала его поднимать.

Софья пока не брала его в поле, поручая ему работы по дому, уход за скотиной и ремонт инвентаря, после которого, надо сказать, ей приходилось все переделывать самой.

Вечером они не расходились на свои ложа подолгу, Софья занималась рукоделом в свете лучины, а Хафиз, лежа по-татарски, на полу, среди расстеленных овчин, рассказывал ей о своей личной жизни и музицировал. Последнее удавалось ему гораздо лучше, чем ремонт саней или установка изгороди.

Из стебля камыша он смастерил себе флейту, а затем наладил и старые гусли, которыми Ермолка не пользовался с тех пор, как юношей хаживал

на гулянья. И так, вполне оправдывая свое имя певца и поэта, Хафиз непрерывно что-то рассказывал, шутил, декламировал стихи на татарском и арабском языках, играл на флейте и пел. Его артистическая деятельность вполне оправдывала те средства, которые Софья выделяла на его питание, и госпожа вынуждена была отказаться от идеи использования своего работника в качестве сельскохозяйственного орудия.

— Матерь твоя русская? Как же она попала в Татарию? — спрашивала, надкусывая нитку, Софья.

— Батюшка ее привез из набега в корзине.

— Из каких же она мест? Кто были ее родители?

— Этого она ничего не помнит. Запомнила только, что звать ее Марией, а ее отец носил железную рубаху.

— Стало быть, воинский человек в кольчуге? Как же она не отучилась от русского языка, да и тебя приучила?

— Мы с ней говаривали русским языком, она мне песни пела и сказки сказывала, да там еще много людей, с кем говорить русским языком. Что ни год, то пригоняют русских людей тысячами. Там русских более, чем здесь.

— Уж будто. А где они молятся?

— В церквах. У нас есть и греческие церкви, и православные попы, вот как у вас. У нас есть целые города, где не увидишь татарского лица.

Софья качала головой, не очень-то веря в такое благоустройство того адского места, которое называлось крымским полоном. Хафиз брал в руки гусли, которые успел освоить в считанные часы, пока его госпожа пахала, и заводил свою любовную балладу, где вместо имени «Гузель» вставил «София».

Разумеется, применение собственного имени в поэтических целях не могло ускользнуть от Софьи и не заинтриговать ее до крайней степени. Она стала допытываться, почему он поет ее имя и что оно означает в контексте его произведения.

— «София» по-татарски означает «бабушка», это песня про мою любимую бабушку, — отвечал, не моргнув глазом, татарский сказитель.

Отбросив рукоделье, девушка набросилась на охальника, вцепилась по кошачьи и стала с ним кувыркаться, почти как в день их знакомства, но мягче. Во время борьбы они запыхались, разгорячились и растрепались. Софья опять победила, и ей стоило немалого усилия, чтобы встать с поверженного противника, ненароком успевшего во время схватки исследовать на ощупь все ее гибкое, гладкое, твердое тело.

Перед сном каждый помолился своему богу, но Господь, очевидно, создал молодых людей не для того, чтобы они ложились рядом и спокойно засыпали.

Софья ворочалась, вздыхала и даже попискивала за своей перегорожкой, освещенной светом лампы. Она несколько раз поднималась, чтобы попить воды, и на занавеске отображалась ее скульптурная тень, от вида которой в голове Хафиза бушевал целый вулкан.

Уставившись в потолок, юноша напряженно размышлял, и, несмотря на сумбурное многообразие его мыслей, в целом их можно было свести к следующим предположениям: любит ли она его так же, как он ее, согласна ли она на то, чтобы он вошел на ее сторону, и, наконец, что означает ее беспокойное поведение: косвенное приглашение или, напротив, отказ?

Через несколько часов (а может — через несколько минут) подобных умственных терзаний Хафиз собрал все свое мужество и тихонько позвал:

— София-хатын!

Женщина притихла и перестала возиться. Тишина продолжалась так долго, словно Софья уснула. И наконец из-за ширмы раздался ее голосок:

— Ну?

Очертя голову, словно бросаясь в сечу на превосходящего противника, Хафиз полез с печки. На цыпочках он пробежал по холодному полу и отдернул занавеску.

В мерцающем свете лампы Софья сидела на разбросанной постели, поджав под себя одну ножку. Ее распущенные волосы ниспадали до самого пояса и искрились. В руке она держала кинжал, оставленный ей мужем для подобных случаев.

Хафиз пожирал Софью глазами, не веря, что такое райское зрелище возможно на этом свете.

— Чего? — справилась она, замахнувшись кинжалом.

— Свет погасить. Думала, свет мешал, — отвечал Хафиз, от волнения путая все на свете роды и времена излишне трудного русского языка.

— Авось не помешает, — отвечала Софья, спрыгнула с постели, пленительно сверкнув бедром, и вытолкала ухажера из своего святилища.

Опозоренный юноша взгромоздился на печь и прикрыл глаза, пытаясь хоть немного унять сердцебиение. Сердцебиение не унималось. Перед зажмуренными глазами татарского романтика плыл яркий образ девушки, словно нарочно принявшей соблазнительную позу, чтобы заманить его, а затем прикончить этим жутким кинжалом.

— Сонечка, — пробормотал поэт и совершил то, что в его время считалось позорнейшим из грехов, а сейчас даже иногда рекомендуется медиками.

Вернувшись с поля на следующий день, Софья обнаружила, что дома никого нет. Хафиза не было ни на дворе, ни в огороде, ни в конюшне. На стене, где для красоты висели трофейные немецкая кираса, шпага и кинжал ее мужа, было пусто. Все здесь было ясно — Хафиз убежал. И, разрываясь на части от горя и ярости, Софья отправилась к казачьему голове объявить о побеге.

Лихарев в эти дни не покидал крепости. Он стоял перед своим небольшим воинством, состоящим из двух десятков человек, и что-то им толковал. При виде этих разномастных воинов кровь кинулась в голову Софьи от радости: вторым по росту в шеренге стоял Хафиз в сверкающей рыцарской броне, со шпагой и огромным ружьем выше человеческого роста — затинной пищалью.

Лихарев обучал новобранцев искусству «вогненного боя». Не решаясь прервать сурового военачальника, Софья помахала рукой Хафизу и стала в сторонке.

Недовольно оглянувшись на постороннюю, командир продолжал занятие:

— Повторяю: на полку щепотку, в дуло — весь заряд, потом закатываем пулю, да сверху еще пыжиком, да не выкатится нечаянно. Ну, зажигай фитили да подходи — кто смелый.

Хафиз со своим стреляющим бревном первый подбежал к горшку с тлеющими углями, поджег от него фитиль и занял позицию для стрельбы. Он положил дуло пищали на сошку и стал целиться в соломенное чучело, установленное в двадцати шагах. Руки его немного дрожали от болезненной слабости и волнения — все-таки это была его первая стрельба из огнестрельного оружия.

— Да не тужься ты так! — Лихарев похлопал его ладонью по напряженным плечам. — Наводи на чучелу посередине — куды-нибудь да попадешь. Приклад плотнее прижимай к плечу. Затаи дыхание и потихонечку — жми.

Ружье шарахнуло так, что Хафиз чуть не упал от отдачи, но пуля попала в цель и вырвала почти половину туловища условного противника.

— Дай паки пальнуть, — попросил Хафиз.

— Зелья мало для учения. В бою настреляешься, — отвечал Лихарев, направляя сбитую сошку.

После того как каждый новобранец сделал по выстрелу и чучело было разнесено в клочья, Лихарев приступил к занятию, которое было для него неприятнее самого жестокого боя: письменному оформлению казаков на службу. Писать он умел, но неважно, а ему надлежало занести в роспись всех

новобранцев (новики), которым в Москве должны были назначить соответствующее жалованье.

Растолкав очередь, Софья подошла к столу, за которым Лихарев потел сильнее, чем его подчиненные во время учений.

— Ты почто без спроса забрал моего человека? — сказала Софья, хлопнув ладонью по столу.

Лихарев был ее кумом, и она его нисколько не боялась.

— Какой еще спрос, когда я сына родного на службу прибрал? — хмуро отвечал Лихарев, не отрываясь от ведомости.

Действительно, среди новиков слонялся четырнадцатилетний сын Лихарева Лёва в толстом стеганом доспехе-тегиляе с засученными рукавами и стоячим воротником, из-за которого почти не видно было худенького воина.

Возразить здесь было особенно нечего, но Софья еще упрямылась.

— Мужа увели в татары, слугу забрали, а кто будет землю пахать?

— Татаровя придут, они тебя и вспашут, и засеют, и в землю зароят, — огрызнулся Лихарев, пресекая дискуссию.

Этот довод было столь очевиден, что не требовал дополнительной агитации. Софья прикусила язычок, а Хафиз подошел к столу.

— Как зовут? — обратился Лихарев не к самому новику, а к его хозяйке, которая здесь выступала в роли этакой мамыши, записывающей на учебу сына-переростка.

— Он мне называл, да мудрено, на «ф» — я и не повторю, — смутилась Софья.

— Как тебя называть? — спросил Лихарев самого виновника спора.

— Пиши Федором.

— Федей? Добро, — заметил Лихарев, которому нравилось собственное имя.

— Чей сын?

— Ибрагимов.

— А прозвище?

— Он с Орды пришел, и быть ему Ордынским, — решила Софья на правах хозяйки.

Хафиз хотел было что-то возразить, но передумал: Ордынский — так Ордынский.

— Пишу: казак Федор Ибрагимов сын Ордынский, — объявил Лихарев и сделал в книге соответствующую запись, дающую начало старинному русскому роду, много раз разветвлявшемуся, менявшему свое название и пресекавшемуся в отдельных ветвях, но существующему до сих пор в разных странах.

После того как документы были заполнены, прибранные на службу воины, включая мальчика Лёву Лихарева, совершили в слободской церкви торжественный молебен и поклялись на кресте прямо и честно служить царю и великому князю Иоанну Васильевичу.

Бывший батыр Хафиз, а ныне казак Федор Ордынский шертовал (присягал) отдельно, на трофейном «куране», специально припасенном для подобных случаев епифанским попом. В этом не было ничего необычного, поскольку Федор-Хафиз был не первым и не последним татаринном, которого приходилось верстать на службу казачьему голове Лихареву.

Среди татар Хафиза дразнили русским, русские, натурально, прозвали его татаринном. Первая военная специальность Федора-Хафиза Ордынского называлась «воротник» от слова «ворота», а не «ворот», как, возможно, полагают некоторые читатели.

Его боевая задача заключалась в том, чтобы от света до света дежурить на городской стене, непрерывно обходя свое прясло — участок от одной башни до другой, и круглосуточно поддерживая огонь в караульне на тот случай, если понадобится палить из огнестрельного оружия. В случае появления не-

приятеля Федору-Хафизу надлежало выстрелить из пищали, а затем бежать на башню и бить в полошный колокол. В том случае, если он этого не сделает, полагалась смертная казнь.

Как ни странно, новая должность нравилась бывшему Хафизу. После того как перетерпишь несколько томительных ночных часов, спать уже не хочется, а напротив, наступает какая-то неестественная бодрость, обостряющая воображение и мыслительную способность, столь необходимую поэту. Во время дежурств на стене Федор-Хафиз размышлял и сочинял, как никогда, и если бы его стихи епифанского периода были записаны и дошли до потомков, то, возможно, они превзошли бы гениальные газели его знаменитого тезки.

Но еще важнее было то, что все гражданские жители Епифани, как и военные, теперь должны были ночевать в крепости. И, поскольку Софье не спалось в душном и тесном женском общежитии, называемом «осадной клетью», она по ночам поднималась на стену и подкармливала своего бывшего домашнего питомца.

Федор-Хафиз заслушался соловья так глубоко, что не заметил бы, если бы сам хан Девлет-Гирей со свитой въехал сейчас в ворота крепости, когда из дверцы башни, ведущей на стену, мяукнул милый голосок:

— Федя! Ау!

Еще не привыкнув к новому имени, Федор-Хафиз не откликнулся и встрепенулся лишь после того, как Софья зажала ему сзади глаза ладошками.

— Угадай, кто, — шалила она.

— Федор Степанович? Кузька? Ивашка? — придурился юноша к обоюдному удовольствию.

Софья расстелила скатерку на штабеле из бревен, предназначенных для сбрасывания на головы неприятеля, и Федор-Хафиз стал угощаться с завидным аппетитом, отнюдь не соответствующим тем стенаниям неразделенной любви, которые он только что слагал в своем уме. Сама Софья ничего не ела, а только наблюдала за юношей с материнским удовольствием угощающей женщины.

Они завели свой обычный разговор, который в общем-то ничего не означал, но мог продолжаться хоть целые сутки, как чириканье птиц.

— А батюшка твой строгий был? — спрашивала Софья.

— Зачем был? Он и теперь строг.

— Говорят, у татар много жен. Сколько у твоего батюшки жен?

— Одна жена и три подложницы.

— Каково же они ладят?

— Дурно.

— Что же, тиранит он твою матушку? Говорят, татарские мужья тираны.

— Тиранил — токмо не он ее, а она его.

— Татарин, а не злой?

— Добрее батюшки я не видел людей.

Расспрашивал и Федор-Хафиз, но Софье было особенно нечего рассказать, поскольку ее родители пропали «от татарской войны», когда ей не было пяти лет, а она росла у родни, пока ее не засватал Ермолай Иванович, который считался выгодным женихом.

— Ему было тридцать годов, а мне — пятнадцать, он мне был как дядька — надвое старше, — сказала Софья.

— И что же, тиранил он тебя? — поддел подругу Федор-Хафиз.

— Уж лучше бы тиранил, — отвечала Софья с горечью.

В темноте Федор-Хафиз не увидел, но почувствовал, что она покраснела.

— Айда Барсика посмотреть? — предложил он, чтобы сменить эту скользкую тему.

Они побежали на башню смотреть новое крупнокалиберное орудие, которое имело собственное имя — Барс, по рисунку на стволе, как многие большие пушки того времени.

На орудийной площадке мерцала свеча в слюдяной лампе. Огромная пушка, украшенная рисунками и кудрявыми надписями, казалась каким-то дремлющим драконом, и шалунья Софья стала «будить» пушку, ухая в ее гулкий зев.

— Подыми меня на пушку, Федя, — попросила она Федора-Хафиза.

Подхватив легонькую девушку за бока, Федор-Хафиз подбросил ее на лафет, так что ее коленочки оголились и «нечаянно» оказались под самым его носом. И тут уж земля пошла вверх тормашками вместе со всеми ее башнями, пушками, ханами, царями и войнами. Они полетели в самое небо, в самый сверкающий рай. И тут, на пушке, с Федором-Хафизом впервые произошло то, о чем он так много мечтал уже лет с двенадцати. А с Софьей произошло то, что она раньше делала телом, но впервые сделала душой.

Остаток ночи они провели, сидя на террасе башни и слушая соловья. Небо зеленело рассветом, становилось зябко, Софья крепко прижалась к юноше, по-кошачьи пригревшись под его накинутым на плечи кафтаном.

— Спой, голубчик, — попросила, ласкаясь, Софья, но песня застряла в горле Федора-Хафиза.

Из-за леса на дороге показалась темная вереница людей на лошадях.

— Соня, бей в колокол, наши идут, — сказал Федор-Хафиз отчего-то шепотом, как будто всадники из леса могли услышать его за версту.

Он запалил от жаровни с углями фитиль своей пищали и бабахнул в воздух так, что соловьи обиженно замолчали. А затем с верхнего этажа полошный колокол затрезвонил так громко, что заложило уши.

Всадники, которые на рассвете выехали из-за леса на епифанскую дорогу, были не татары. Это был сводный отряд епифанских казаков и стрельцов, отправленный для обороны Москвы и возвращавшийся к месту службы.

Потери епифанского отряда были довольно большие — почти каждый четвертый. Причиной потерь, за редким исключением, были не стрелы и сабли, а дым и огонь. Среди пропавших без вести, наверное, были и дезертиры. Но то, что рассказали участники похода, было страшнее любых потерь. Города Москвы больше не существовало.

Каждый рассказывал о произошедшем по-своему, в зависимости от той доли событий, в которой он принимал участие, от того, что наблюдал сам или слышал от других. Как водится, каждый рассказчик несколько приукрашивал свою собственную роль и преувеличивал свои впечатления. Но если отбросить литературность одних рассказов, бессвязность других и выдумки третьих, то в целом складывалась грандиозная апокалипсическая картина, какой русские люди не видели со времен Тохтамыша. И в общих чертах она выглядела так.

Вместо того чтобы идти на Москву удобным путем через Серпухов, где на всех переправах окопались русские батареи, крымская орда вышла на Москву со стороны Калуги, оказавшись в тылу русских. Весь великолепный план русского командования оказался перевернут вверх тормашками, укрепленные позиции были брошены, крепости оставлены почти без гарнизонов, и все силы направлены под стены Москвы.

Что бы там ни говорили прогрессивные потомки, но у царя Ивана, наверное, была очень хорошая армия под руководством способных генералов-воевод. Потому что этот сложный маневр был выполнен, и епифанские воины в составе украинного корпуса «по полком», то есть в боевом порядке, поспели к Москве рано утром 23 мая, на полдня раньше, чем туда примчались тучи татарских всадников.

Епифанцы вместе с другими «польскими казаками» забаррикадировались на одной из московских улиц, выходящих на широкий луг. Они заканчивали свои укрепления на следующий день, когда из-за реки уже трещали выстрелы, бухали пушки и генеральное сражение разгоралось, так что о ходе боя они могли лишь догадываться.

Во всяком случае до появления татарского авангарда русский большой воевода князь Бельский уже успел расставить полки по улицам московских предместий и разбить перед городом «гуляй-город» — огромный табор из возов и дубовых щитов, из-за которых русские стрелки и артиллеристы падали по татарским всадникам и делали вылазки.

Битва разгоралась не торопясь, как огромный пожар, в который татарские и русские полководцы подкидывали все новые и новые сотни воинов взамен рассеянных, пострелянных и порубленных. Поначалу самые резвые из русских и татарских удалцов только «травились» — осыпали друг друга стрелами, сшибались на саблях и копьях, налетали, отлетали и кружили по полю без особого урона друг для друга.

Полки были готовы, шахматные фигуры расставлены на доске, трубы затрубили, стены гуляй-города раздвинулись, словно занавес военного театра, и сам князь Бельский в сверкающей золотом броне, под развернутыми знаменами двинул свою кованую рать отборных дворян «делать дело».

Силы сторон, вероятно, были примерно равны. Волны всадников попеременно накатывались на гуляй-город и откатывались от него под залпами пищалей. Такая «травля» могла продолжаться и целый день, и несколько дней, до полного изнеможения одной из сторон. Татары наседали и врываются в лабиринты из возов внутри гуляй-города, где их стаскивали с лошадей и забивали, как дружные муравьи забивают упавших в муравейник воинственных шмелей. «Ручной бой» шел между возов. Татары одолевали, но, даже если бы им удалось перенести бой на московские улицы, его исход был еще далеко не ясен.

Уличный бой не был стихией татарских всадников, русские, как известно, особенно крепки в обороне, а впереди еще были каменные громады Кремля, вообще не доступные легкой коннице.

Однако судьба уже отворачивалась от русских. Двух воевод украинских городов, приданных Большому полку, убили в рукопашной схватке. Самого командующего князя Бельского, который бился шестопером в общей свалке среди возов, как рядовой воин, всего изранили и едва успели бегом занести в город на плаще.

Опричный полк, стоявший за рекой Неглинной, не выдержал ярости спешенных татар, которые полезли на рогатки без выстрелов, с одними саблями и ножами, и обратился в бегство. Татары начали поджигать дома захваченного посада, но и это еще был не конец — ведь впереди были каменные башни Кремля с его тяжелой артиллерией. Как вдруг свет померк, и разразилась буря.

— Мы-то, дураки, обрадовались, — рассказывал в кабаке за кружкой меда рыжий казак с обожженным лицом по имени Кудеяр. — Думали, ливень пойдет и затушит огни, а и татарскую ярость остудит. А это, видно, Господь им попустил по грехам нашим. Так взметнуло на нас огонь, что в три часа города не стало!

— Геенна огненная! — подсказал эрудированный Лёвушка Лихарев, но вместо ответа Кудеяр только направил на него тяжелый, нехороший взгляд.

Пылающие крыши, сорванные с домов ураганным ветром, носило по небу, как огненные острова. Желто-фиолетовые столбы дыма поднимались то с одной окраины города, то с другой, а то и из самого центра. Ни один самый квалифицированный отряд диверсантов не смог бы устроить такой мощный пожар в такое короткое время.

Люди толпой бежали по улицам от огненного вала, но навстречу им бежала такая же толпа безумевших людей. Начиналась давка, верхние погибали от жара, а нижние — от удушья и тяжести. Кому-то удавалось отсидеться за каменными стенами, но и это не всегда помогало. Самого князя Бельского спрятали в его каменных палатах, куда не достигало пламя, но он умер от удушья. Один немецкий опричник заперся на железный засов в каменном подвале и не открывал свою кованую дверь, несмотря ни на какие уговоры и

вопли. А через несколько часов, когда пламя начало утихать, открыл дверь и увидел за нею одни человекообразные головешки.

Из центра, в каменном городе, взвился до самого неба яростный огненный столп, а затем раскатился утробный грохот, и вся земля содрогнулась до основания: это взорвались запасы «зелья» — пороха в царском арсенале.

— К нам наезжали татары травиться, и шел лучный бой, да стало всем не до бою, — рассказывал Кудеяр, дергаясь обожженным лицом. — Все перестали стрелять, смешались и бродили толпой — и татаровя, и христиане. Татары побежали по улицам грабить, да там и сгорели, как черти в аду. А я отсиделся в болоте: голову печет, а зад весь в пиявицах. Сiju, молюсь пресвятой Богородице и всем святым. Ну и веселие: хоть наливай в горшок да ставь меня на стол вместо шей!

— А про моих товарищей, что попленили ваши в засеке, не слыхивал? — тихо спросил Федор-Хафиз.

— Как не слыхивать: все сгорели, сидючи в тюрьме, — отвечал казак, впрочем, без тени злорадства.

Похоже, и сам хан Девлет-Гирей был уже не рад тому божьему гневу, который через него обрушился на неверных. Ведь у него на глазах сгорала и погибала вся его главная добыча. Он отвел полки в Коломенское, подальше от нестерпимого жара и смрада, а сыновей с их отрядами расставил по окрестным селам.

— Что же, все жители московские погорели? — охнула Софья, прикрывая рот ладошкой.

— Тысячи, — отвечал очевидец.

— А от Москвы что осталось? — угрюмо справился Лихарев, который, в отличие от большинства присутствующих, подолгу жил в столице и хорошо знал ее великолепие.

— Угольное поле, — сказал Кудеяр с каким-то даже смаком, как люди циничного склада объявляют трагические вести.

Стали обсуждать жертвы, и предположения пошли одно фантастичнее другого. Число погибших и плененных называли от нескольких тысяч до десятков тысяч, до сотен тысяч и даже почти до миллиона — количества жителей, которого не набралось бы не только по Москве, но и по всем русским городам.

— Теперь ему путь чист. Куды же он идет, на Владимир? — спросил Лихарев, имея в виду «крымского царя».

— Обратно пошел распускать войну, — отвечал Кудеяр. — Через рязанские земли и Доном — на Крым.

Казаки примолкли. Им не требовалось уточнять, что на этом маршруте находилась Епифань.

Действительно, после разгрома русского войска и уничтожения русской столицы крымский хан, словно сам не мог поверить такой невероятной удаче, и, вместо того чтобы, подобно Батыю, безнаказанно довершить погром Руси, вдруг повернул вспять. Возможно, он понимал, что ресурсы «московского» (как называл он русского царя) еще далеко не исчерпаны, в отличие от сил Крыма, почти достигших предела. Возможно, он полагал, что на севере царь набирает свежие полки и поджидает шведских союзников. И, наконец, возможно, что задача-максимум этой весенне-летней кампании была выполнена и перевыполнена, и хан не собирался гневить Аллаха неблагодарностью.

Как бы то ни было, после отдыха у дымящихся руин Москвы крымский хан повел свою орду не в глубь Руси, а обратно — через «рязанские украины» и вниз по Дону. На обратном пути он беспрепятственно и обстоятельно занимался главным промыслом крымской экономики — грабежом. Добыча крымского хана превосходила все предыдущие рекорды, его легкие полки еле тащились из-за бесчисленных повозок с добром, целых морей блеющего и мычащего скота и целых толп связанных людей.

Отягощенные победителями не ввязывались в сражения и не осаждали крепости, если они сами не падали им под ноги. Однако Епифань находилась на небольшом отдалении от их маршрута, и они вряд ли могли обойти ее стороной.

Ожидание татар, которое началось с первых дней весны, настолько всех истомило, что епифанцы были едва ли не рады появлению врагов, и уж, во всяком случае, большинство из них не испытывало ни паники, ни отчаяния. Всем уже было невтерпех, чтобы это скорее началось и хоть чем-нибудь закончилось, как страшная, но неизбежная операция.

Через день после возвращения казаков из-под Москвы караульные увидели на горизонте желтую тучу пыли, из-за которой показался лес. Этот лес напал, пока не превратился в живой ковер из скачущих всадников. Орда заполнила речную пойму за Доном, и от нее отделились две проворные букашки, быстро превратившиеся во всадников. Два нарядных татарина остановились перед проездой башней крепости, словно два любознательных путешественника перед очередной достопримечательностью.

Раздвинув стрельцов с ружьями, изготовленными для стрельбы, Федор Лихарев сам вышел на балкон башни встречать гостей. Он молча рассматривал всадников, скрестив руки на груди, и они молча рассматривали его, как бывает перед схваткой бойцов, которые сначала сражаются одними глазами, вкладывая в них все свое презрение и заставляя противника отвести взгляд. Казалось, что проигравшим в этой игре окажется тот, кто первый произнесет слово.

Татарин на белой лошади, одетый в чалму и шелковый халат по турецкой моде, заговорил первый.

— Ты воевода?

— Яз голова, — отвечал Лихарев.

Татарин похлопыванием и ласковыми уговорами успокоил лошадь, которая вертелась, рыла землю копытом и хотела еще поскакать.

— Пусти в город, — крикнул он, когда лошадь успокоилась.

Лихарев в ответ только усмехнулся.

— Ты скоро не будешь смеяться! — крикнул, потрясая плетью, главный татарин.

А другой, менее нарядный татарин в простом халате и остроконечной шапке добавил:

— Я тебя на веревке отведу к хану.

— Вот я перед тобой, веди, — отвечал Лихарев, разводя руки.

Татары все не уезжали, как будто хотели хотя бы поругаться, если уж приехали, но Лихарев терпел и молчал, чтобы зря не истратить свою ненависть, которая пригодится для более важного дела.

— Детей своих пожалей, — сказал татарин.

Вместо ответа Лихарев взял из руки стрельца ружье, навел его на татарина, но вместо того, чтобы спустить курок, щелкнул пальцами и сделал громкий хлопок — «шпок», как от вылетевшей из горлышка пробки.

Несмотря на весь свой кураж, всадники все-таки немного отшатнулись, развернули коней и медленно, выдерживая фасон, поехали прочь.

Не добившись желаемого результата, на который, впрочем, никто и не рассчитывал, два парламентаря стали объезжать крепость на рискованном расстоянии от стен. Из Епифани не раздавалось ни единого выстрела, ни единого звука, словно город вымер.

После того как они ускакали, русские опустили на колени для общей молитвы, а затем бегом стали занимать позиции — каждый у своей амбразуры, у своего «вокна» и плетня. И как раз вовремя.

Сражение началось с разминки или разведки боем, которую принято называть хороводом. Собравшись на лугу перед крепостью, татарские всадники пускались вскачь вдоль стены таким образом, чтобы вражеские бойницы

находились с левой стороны. Проскакав на опасном расстоянии от стены, сколько позволяла местность, они успевали на скаку выпустить по три-пять стрел в зависимости от сноровки и развернуться для следующего захода. Град стрел, таким образом, сыпался на крепость почти непрерывно и поражал любую цель, мелькнувшую из-за укрытия.

Федору-Хафизу была хорошо знакома эта забава, в которой он принимал участие множество раз. Но ему приходилось стрелять по неподвижным мишеням или по бегущим зверям — и никогда он не находился с той стороны, в которую летят жужжащие стрелы.

Когда стрелы засвистели над стенами, словно озорники, которые подражают птицам, ему стало так страшно, что зубы непроизвольно щелкнули, и он едва не прикусил язык. То, что смерть издавала такие ребяческие звуки, было еще хуже, чем если бы она рычала, как лев, или грохотала, как гром. Когда же одна из стрел смачно впилась в бревно на расстоянии пальца от его глаза, его просто парализовало от страха, и он сел под своим «вокном», стиснув лук в руках и упершись спиной в бревна стены.

Его клятва Аллаху, что он больше никогда в жизни не проявит трусости, не действовала. Он физически не мог подняться и выглянуть из бойницы.

Лихарев между тем, пригнувшись, обегал защитников крепости, ободряя робких и сдерживая неосторожных, как тренер настраивает свою команду во время важного матча.

— Из ручниц не палить, разве сядут с коней и полезут под стены, — говорил Лихарев. — Зелье беречь, зря не палить. Места меняй, не давай им пристреляться.

— Куда, дурак, в окно лезешь! — дернул он за воротник вниз молодого казака, который тут же получил практический урок в виде стрелы, уязвившей его плечо.

— Стреляй, татарин, не сиди! — прикрикнул Лихарев на Федора-Хафиза. — У нас вон робята травятся, а ты робеешь!

Действительно, у соседней бойницы, весь сморщившись от страха, сидел Левушка Лихарев. Дождавшись затора между залпами, которые случались и в этом потоке стрел, Левушка вдруг весь выпучивался от ярости, вскакивал и пускал стрелу прежде, чем в ответ успевал прилететь целый выводок жужжащих ос.

— Кто робеет? Яз не робею, — отвечал Федор-Хафиз, через силу поднялся, прицелился и пустил стрелу в лошадь.

Над ним тут же свистнула ответная стрела.

Дальше он воевал не хуже других, выжидая паузу, быстро вскакивая и пуская стрелы в скачущих всадников, только он стрелял не по людям, а по лошадям.

Такой «лучный бой» продолжался около четверти часа, хотя казался вечностью. Страх как-то сдулся, как воздух из проколотого шара, и наставала усталость от нервного напряжения. Теперь хотелось, чтобы бой поскорее кончился, и приходилось только удивляться, как долго татары могут воевать на полном скаку, если русские уставали, сидя в укрытии.

Вдруг война стала поинтереснее. Из башни, пригнувшись, выбежал человек, вид которого заставил сладко дрогнуть сердце Федора-Хафиза. Это была Софья с корзиной в руке и каким-то сооружением под мышкой.

Изобретательная казачка, присев на корточки за стеной, выставила над головой чучело на палке, которое тут же превратилось в ежа, сплошь утыканного стрелами. Она собрала стрелы в корзину, вырвав их из чучела, подбежала к следующей бойнице и повторила свою военную хитрость.

Трюк Софьи не только служил для пополнения боеприпасов, но и поднимал дух защитников. При виде храброй девушки по стене пошли прибаутки, возгласы одобрения, призывы к осторожности, словом, приятное оживление. Софья приближалась к Федору-Хафизу, который в общем-то и был причиной ее гражданского подвига.

Юный батыр в сверкающей броне при виде возлюбленной решил продемонстрировать свою доблесть, поднялся из укрытия и тут же получил второй важный урок на сегодняшний день: чрезмерная смелость может быть хуже трусости. Увидев немецкие доспехи Федора-Хафиза, татарские всадники, натурально, решили, что перед ними — главный русский начальник, и обрушили на него, так сказать, тучу стрел. Одна стрела тут же угнездилась в толстом плече стеганого доспеха, другая, взвизгнув, отрикошетила от стали нагрудника. А третья — насквозь пробила «бумажную шапку» — высокий стеганный шлем воина.

Федор-Хафиз машинально присел, не успев сделать выстрел, и тут оживление на стене перешло в потеху. Действительно, вид человека со стрелой, торчащей из шапки, как стрелка флюгера, был нестерпимо комичен.

— Глянь, как татарина пронизало! — кричал один.

— Ровно петушок кровельный! — кричал другой.

— Да нет, он ветер показывает! — догадался третий.

— Дураки! — огрызнулась Софья, снимая с возлюбленного колпак и доставая из него стрелу, хотя и сама с трудом удерживалась от смеха.

Весь дрожа от ярости, Федор-Хафиз отстранил девушку рукой, встал к бойнице и тщательно, как на учениях, прицелился в одного из всадников, учитывая направление ветра и упреждение скачущего коня. Затем он пустил стрелу и тут же спрятался за стену, не разглядев попадания. По радостным возгласам защитников он догадался, что убил человека.

«Лучный бой», стоивший множества перераненных и нескольких убитых с обеих сторон, очевидно, подходил к концу. Татары скакали не так резво и стреляли не так метко, как вначале. Русские высовывались все реже.

Тем временем казачий голова приказал зарядить ядром большую пушку, чтобы продемонстрировать противнику превосходство технического прогресса перед глупой удалью. «Барсик» шарахнул так, что вся крепость, кажется, подпрыгнула. Описав дугу, огромный чугунный шар приземлился на лугу среди скопления всадников, подняв тучу земли и пыли.

Русские пушкарки стали прыгать от радости и кричать, подбрасывая в воздух шапки. Очевидно, выстрел Барса получился удачным, потому что обмен любезностями на этом прекратился, и со стороны татарского стана показалась группа парламентаров. Один всадник держал в руке черное знамя пророка. Другой бил в литавры — пару половинок медных котлов, повешенных поперек лошадиной спины.

Третий, самый нарядный, ехал посередине на белом коне, подняв над головой платок, чтобы в него не стреляли. Это был бывший казак епифанского гарнизона Истома Шацкий, которого теперь звали Мустафой.

В то время, когда Федора-Хафиза Ордынского принимали на русскую службу, Истома Шацкий принимал ислам. Надо заметить, что для этого его не пытали, не жгли огнем и даже не страшали. Он сам принял это важное решение при виде того, какую важную и выгодную должность занимал при ханском дворе его покровитель Рувим-ага.

— Учись грамоте, — поучал Рувим, заставляя подчиненного выписывать на песке и читать русские, арабские и латинские буквы. — Добрые переводчики — дороже золота при любом дворе. Выучишь два языка — хорошо. Выучишь три — цены тебе не будет. А научишься писать разными языками посольские грамоты — все дороги для тебя откроются. Будешь везирем, мудрецом, ханским советником, как я. Все у тебя будет: соболя, золото, кони, подложницы — без числа.

— А сам сколько языков разумеешь? — спрашивал Истома с благоговением.

Изъясняться по-татарски он кое-как научился, но читать и писать каким-либо языком, включая родной, казалось ему каким-то таинством, доступным лишь гениям.

— Русский, — начал Рувим-ага не без самодовольства, загибая усыпанные перстнями пальцы, — татарский — само собой, арабский письменный, греческий — письменно и устно, латынский — письменно, фряжским, немецким, польским говорю изрядно. Персидским — средственно. Да вот еще, чуть не забыл, — жидовский. Выходит — десять.

— Мне бы хоть русское письмо одолеть! — воскликнул Истома в отчаянии.

— Первый язык трудно, другие — легче. Память у тебя добрая, только заниматься надо каждый день, как из лука стрелять.

Однако, по мнению Рувима, все это не имело смысла, пока Истома оставался христианином. В Крыму обитало множество людей разных племен и вероисповеданий: греки, караимы, армяне, фряги (итальянцы бывших генуэзских колоний), готы и, разумеется, русские всех разновидностей, которых толпами пригоняли сюда из года в год. Если они не были рабами, то их никто особенно не утеснял, и каждый мог исповедовать какую угодно религию.

Но стать вельможей мог только мусульманин.

— Примешь Мехметову веру, а дальше я тебя протолкну, — сулил Рувим. — Я принял — и ничего, сквозь землю не провалился.

Видя, что его протезе сомневается, Рувим применял типичные атеистические аргументы:

— Каждый почитает своего бога лучшим других и просит у него помощи. Каждый молится перед битвой, чтобы Господь поразил его врагов. Кого же Ему слушать: русского, татарина, немца или литвина?

— Жида? — догадался Истома.

— Если бы он слушал нас, то не рассеял бы по всему миру, как бродячих овец, — отвечал Рувим с горечью. — А великий Чингис почитал всех богов и угождал каждому — не поможет один, так выручит другой. И ты таки знаешь, что из этого вышло. Лучше тот бог, который выгоднее.

Впрочем, практичного Истома менее всего волновали этические аспекты вероотступничества. Ему, как любому русскому человеку, представлялось, что для перехода в эту изуверскую религию от него потребуют какого-то немислимого окаянства: прохождения через огонь, человеческих жертвоприношений, публичного надругательства над христианскими святынями и, возможно, каких-то ритуалов, вредных для здоровья.

— Ничего страшного, — уверял его Рувим. — Это так же страшно, как купить на базаре бублик. Надо только заучить одно заклинание, называемое «шахада», и произнести его трижды при свидетелях. Я тебя научу.

— И никакой росписи? Кровью али как?

— Какая роспись, когда у Аллаха все давно расписано в его книге. Надо только сбрить все волосы на голове и на теле.

— И бородку?

— Бородку как раз можно оставить.

Все эти требования, включая полную искренность при произнесении мусульманского символа веры, казались сущими пустяками. Но Истома согласился бы выполнить и гораздо более тяжелые требования, и отрубить себе палец, и выпить кровь христианского младенца, и, пожалуй, даже сесть задом в костер, лишь бы избежать одного ритуала, о котором стеснялся спросить.

— Уд резать будут? — справился он с тревогой.

— Видишь ли, Истома... — поглаживая бородку, Рувим начертил тростью на песке тот самый предмет, о котором его спрашивал ученик. — Аллах не требует от человека более того, что он может вынести. Но каждый должен решить, что он готов вынести ради Аллаха.

— Тебя-то резали?

— Меня обрезали на седьмой день от рождения, как вашего Спасителя Иешуа. А если бы меня шинковали при каждом переходе на новую службу, так у меня был бы неважный вид.

— Жиду уд резать не надо? — уточнил Истома.

— Когда он уже обрезан? — отвечал Рувим вопросом на вопрос.

— Объяви меня жидом, — потребовал Истома, высыпая на песок перед учителем свои сбережения из мешочка.

— Теперь я вспоминаю, что твоя мать была пленная жидовка из Литвы, а твой отец был казак, так что ты такой же чистокровный еврей, как Моисей или Соломон, — отвечал Рувим, пересчитывая гонорар.

— А ну как стянут с меня порты при свидетелях?

— Не стянут. Богу это невыгодно.

Обряд принятия ислама прошел без осложнений, никто и не думал устраивать медкомиссию и проверять свидетельство такого уважаемого человека, как личный переводчик великого хана Рувим-ага. Истома трижды, без запинки, с выражением, произнес заученную формулу шахады, выслушал наставления муллы и был наречен Мустафой.

В свою первую кампанию против русских он отправлялся под новым именем, в новой, почти офицерской должности. И все это с ним произошло после того, как сбился третий, наихудший из вариантов его побега: он сдался в плен к татарам.

За все время похода на Москву Мустафе-Истоме ни разу не пришлось держать в руках оружие. Он был приставлен ко двору полководца Дивей-мурзы, то есть к его штабу, где его главной обязанностью было допрашивать пленных языков да иногда, скорее из любознательности, ассистировать при пытках.

Иногда под видом татарина, «ни бельмеса» не понимающего по-русски, он вертелся между русскими жогами (проводниками), прислушиваясь к их разговорам — не задумывают ли они чего дурного. Между боями он выезжал к русским полкам в качестве парламентаря, и это было, пожалуй, самой опасной из его обязанностей, поскольку с парламентарями тогда не церемонились.

После пожара Москвы на обратном пути начиналась самая увлекательная и относительно безопасная часть кампании, ради которой в общем-то и «распускалась» вся эта война. Армия разделялась на множество отрядов, или «загонов», со сборным лагерем в центре и приступала к методическому грабежу уездов, которые были не в состоянии оказать серьезного сопротивления.

С вечера селение окружали постами, перекрывающими все входы и выходы, а на рассвете, с распущенными знаменами, занимали улицы. Пункт приема ценностей и рабов устраивали на площади, перед храмом, и здесь уже Мустафа-Истома становился главной персоной, которую не мог уговорить, обмануть или разжалобить ни один самый хитрый русский.

Мустафа-Истома сам был русский и знал все русские уловки.

Личный обоз Мустафы-Истомы в ставке командующего распирало от награбленного добра. Жизнь шла по плану и даже превосходила самые смелые его планы, когда татарское войско вступило в земли бывшего Великого княжества Рязанского, на окраине которых находилась и Епифань.

Перед тем как «распускать войну» в рязанских уездах, в ставке Дивей-мурзы состоялся военный совет, и мнения на нем разделились. Одни предлагали попутно взять, разорить и сжечь Епифань — большой город с множеством добра, провианта и «ясыря» (то есть пленников). Другие возражали, что город слишком хорошо укреплен, его осада потребует долгого времени, а возможно — и жертв. Притом и брать там особенно нечего, поскольку крепость стоит на отшибе, и вокруг нее нет многолюдного уезда с мирным населением, которое и является главной добычей.

Велели позвать толмача Мустафу, который раньше служил в этом городе. Мустафа-Истома доложил, что до начала московского похода крепость действительно была одной из сильнейших на Польских уездах. Перед тем как он ушел из Епифани, не все ее стены были довершены, но городское войско превышало семь сотен воинских людей при десятке орудий разных типов.

Однако, как известно, большая часть этих людей и наряда была отправлена под Москву, где и сгорела. Теперь город защищает горсть худоконных

казаков с луками, рогатинами и ручными пищальми. Они не могут рассчитывать на помощь соседних городов, не говоря уже о Москве. Им остается только молиться.

— Как может сопротивляться один из членов человека, когда голова его отсечена? — почтительно заметил Мустафа-Истома, не поднимая глаз на грозного полководца.

Дивей милостиво кивнул. Ему нравились красноречивые люди. Затем он обратился к своим бекам:

— Мы не можем оставлять у себя за спиной такую сильную крепость. В следующем году, с помощью Аллаха, мы снова пойдем на Русь и снова будем об нее спотыкаться. Во имя Аллаха, надо сделать так, чтобы на месте Епифани следующим летом было ровное поле, на котором пасутся кони. Для этого достаточно небольшой ложной осады и щедрых обещаний. Иду на Епифань.

Так началась эта небольшая украинная Илиада. И, как во времена Гомера, истинной причиной нападения на дубовую русскую Трою была не политика или экономика, а прекрасная женщина.

В начале похода Мустафа-Истома отговаривал Дивей-мурзу от удобного маршрута на Серпухов, чтобы избежать пыток, сохранить свою жизнь и здоровье. Он также надеялся, что за это предательство его наградят, а может, и возьмут на татарскую службу — более выгодную, по его мнению, чем тяжелая служба в остроге.

Это были рациональные причины его измены. Но главной, образной ее причиной было то, что татары непременно поведут его через Епифань — именно на то место, где он должен висеть в петле у ворот. Мустафа-Истома, видевший в роли висельников других дезертиров, слишком живо представлял себе эту картину. Поэтому он не поддержал ложную версию своих товарищей о том, что путь через тульские уkraine на Серпухов якобы «чист», и его сведения принесли татарам успех.

Теперь он, напротив, звал татар на Епифань. Это давало ему отличный шанс провернуть сделку с выкупом Ермолки, найти следы Хафиза, обрывающиеся именно в этих местах, взять реванш над начальниками, которые унижали его на службе, и, конечно, пограбить. Но главная, романтическая причина затеянной им Илиады заключалась в образе покорной Софьи, которую он приведет в свой шатер, чтобы делать с ней все, что вздумается.

Мустафа-Истома возвращался в Епифань в буквальном смысле на белом коне. За время его отсутствия крепость обросла оградой, и по тем буграм, где он таскал в тачке землю для вала, теперь бежала дубовая гребенка высокой стены. Мустафа-Истома, хорошо знающий конструкцию этого сооружения, изнутри засыпанного землей вперемешку с камнями, а сверху обложенного дерном, живо представил себе, сколько времени и усилий понадобится на то, чтобы все это хотя бы поджечь, — не говоря уже о том, чтобы срыть и разметать по бревнам, и у него мелькнула абсурдная мысль: «Хоть бы эти дураки не сдались».

Вместо того чтобы ломать то, что делалось с таким трудом, ему хотелось быстрее вернуться в Крым и приступить к формированию собственного гарема.

Из ворот навстречу ему выехал старый знакомый — казачий голова Федор Лихарев с двумя казаками. Мустафа-Истома с удовольствием отметил про себя, что конь под Лихаревым был самый обычный — коренастый лохматый «бахмат», да и «пансырь» попроще, чем у него.

Степенный Лихарев при виде своего бывшего подчиненного не проявил ни малейшего удивления или негодования. Он делал свое дело, а этот человек — свое. У него только непроизвольно вырвалось:

- Мы думали — ты убитый от татар.
- Не убитый.
- Жаль.

Развернув свиток, Мустафа-Истома приступил к чтению ультиматума, начинающегося с титулов его повелителя:

— Божию милостью Великие Орды и Великого юрта Кипчатцкие степи, Крымского государства многих нещетных татар, многих несметных нагай, татцкие и тefкецкии межгорских черкас, я, Девлет-Гиреево Ханово Величество...

Лихарев остановил чтение нетерпеливым взмахом руки:

— Говори русским языком, мне недосуг.

Поджав губы от обиды, Мустафа-Истома стал свертывать своей меморандум, на составление и согласование которого ушло столько времени и сил.

— Хан вас милует, — сказал он с неохотой, как бы не разделяя чрезмерного гуманизма своего повелителя.

— Спаси бог, скатертью дорога, — отвечал с поклоном Лихарев, обладающий своеобразным чувством юмора, особенно разительным у людей суровых.

— «Московский» бежал в Ростов и прячется в монастыре, — продолжал Мустафа-Истома, называя царя на татарский уничижительный лад. — Войско его рассеяно. Он признал себя данником великого хана и поедет в Крым за ярлыком, а за то дает нам Казань с Астраханью и ломает все свои украинные города.

Лихарев хотел было что-нибудь съязвить по поводу поломки не взятой крепости, но промолчал. По тому, что ему было известно, все сказанное было недалеко от истины.

— Теперь не будет Московского царства, а будет, как при Батые, Русский улус. Царь ваш сам накажет вас, если вы будете нам противиться. А посему — забирайте свое добро и животы, берите жен и детей да ступайте подобру прочь, за Оку.

— Мы открываем ворота, выходим безопасно в поле, а вы нас режете? — догадался Лихарев.

— Богом клянусь, что нет, — покосившись на свою свиту, Мустафа-Истома перекрестился. — Хан уведет своих людей за одно днище пути, на Куликово поле, и там будет стоять по тех мест, пока вы не дойдете до Тулы. Его перекопское величество позволяет вам взять ваши оружия и знамена — они нам не надобны, кроме наряду и зелья. Нам надобен сам острог, и мы его сожжем, как договорено с «московским».

— Надо совет держать, — отвечал Лихарев задумчиво.

— Держи, я жду до седьмого часа, — Мустафа-Истома указал плетью на солнце, которое приближалось к полудню, то есть к шести часам дня по старому исчислению.

Хитрость татарского военачальника была не такой уж новой и хитрой, она не раз применялась для взятия крепостей, когда демонстративно татары отводили в сторону главные силы и наблюдали из засады за тем, когда откроются ворота, после чего штурмовой отряд врывается в крепость и удерживал ее до подхода своих, а затем начиналась поголовная резня. Русским, сотни лет сражающимся с одним противником, конечно, давно были известны его уловки, русские сами взяли их на вооружение и использовали не хуже врагов, и все же одна и та же хитрость одних и тех же исполнителей иногда отчего-то действовала, и кто-то порой попадался, как старый опытный борец попадает на простой прием ловкого новичка.

— Погодь, Федор Степанович, — спохватился Мустафа-Истома, машинально величая бывшего начальника по отчеству. — У меня еще грамота для Соньки Ермолаевой, сотника жены. Сонька в городе?

— Сонька-то в городе, а что за грамота? — уточнил Лихарев, не спеша принять свиток из руки парламентаря.

— Верующее письмо Ермолки-сотника. Мой господин Рувим-ага сим письмом продает раба своего Ермолку его жене Софье или меняет — как сговоримся.

— Добро, — оживился Лихарев, обрадованный возможностью выручить друга, и убрал письмо за пазуху. — Будет ответ и про Ермолку.

Лихарев «со товарищи» усакал обратно в город, золотая пыль от их лошадей медленно оседала, а для татарских парламентаров, ожидающих ответа на расстоянии хорошего выстрела из лука от русских, началось, наверное, самое неприятное, что может быть в таких условиях, — неопределенность.

Благоприятный ответ означал взятие города, награду от хана, казнь русских воинов, дележ добычи и все вытекающие из этого приятные последствия. Но отрицательный ответ означал то, что русские им не поверили, они решились драться насмерть и, раз уже им нечего терять, начать с убийства послов, как это обычно и делалось.

Несмотря на летнее пекло, всадники не слезали с коней и истекали потом, обмахиваясь шапками и лопухами. При этом под их войлочными колпаками обнаружили маленькие железные шапочки-мисюрки. А под расстегнутым «золотным» халатом Мустафы-Истомы сверкнула персидская кольчуга.

— У меня тоже кольчуга, — похвастался знаменосец, отворачивая полу своего халата.

— А у меня нет. Если захотят нас убить, то убьют быстро, — заметил литавщик с какой-то скукой, словно речь шла о заурядном событии, которое случалось с ним уже не раз.

— Если увижу, что они едут нас убивать, то поеду прямо к ним и запорошу глаза песком, — Мустафа-Истома показал мешочек с песком, привязанный шнурком к его запястью и спрятанный в рукав. — А вы скачите изо всех сил назад.

— Как же ты поймешь, что они едут убивать, а не договариваться? — удивился знаменосец.

— Увижу, это заметно по глазам, — отвечал Мустафа-Истома.

Более часа, пока Мустафа-Истома изнывал от жары и нехороших предчувствий перед воротами Епифани, Лихарев держал совет со своими «начальными людьми». И если бы татарский парламентар услышал, что говорят между собой его бывшие товарищи, ему бы это не понравилось.

Никто даже теоретически не предполагал, что хан действительно собирается отпустить их с миром и ограничиться разрушением крепости. Вопрос был только в том, как обратить хитрость татар против них самих и, если не получается спастись, нанести им наибольший вред. Для начала Лихарев выслушал мнения своих сотников и пятидесятников, то есть офицеров, в число которых был допущен и грамотный переводчик Федор-Хафиз, который пользовался в русском войске примерно такими же особыми правами, как его коллега Мустафа — в татарском.

Кудеяр полагал, что хан отделит часть своих сил и ночью пошлет их в обход на тульскую дорогу. Утром он начнет демонстративный отход и отойдет достаточно далеко, чтобы русские «безопасно» покинул крепость.

— Мы с обозы и животы будем идти медленно. На тульской дороге он нас остановит засадным полком, а пока мы будем биться за дорогу, вернется хан и ударит сзади всей силой.

Эта гипотеза была самой очевидной, но это не значит, что она была невероятной. Однако Кудеяр сделал из нее такой неожиданный вывод, который бы озадачил самого Наполеона.

— Мы при дороге станем гуляй-городом и будем биться вогненным боем, а когда сзади подойдет хан с войски, ударим по нему из крепости нарядом, а из гуляй-города — пищальми. Так и огорошим с двух сторон.

— Ты не выпил ли? — справился Лихарев, приближая чуткий нос к устам лихого казака.

— Нет еще, — отвечал Кудеяр с недоумением.

— Так выпей, а то бредишь.

Более рассудительный военачальник по имени (или прозвищу) Злоба, припоминая подобные операции из недавней практики, предполагал, что

татары с ночи спрячут штурмовой отряд в одной из ложин, окружающих Епифань. Они ударят еще прежде, чем наши обозы покинут крепость, и в суматохе займут башни.

— Город будет их, а хан подоспеет на помощь вборзе.

По мнению этого стратега, наши разведчики могли бы выследить штурмовой отряд татар, когда он лезет в овраг, а ночью сделать «выласку» и всех там перебить.

— Потом дадим хану знак, что путь чист, откроем ворота обманно, а за воротами — «Барсик».

— Складно. А почему ты знаешь, что татаровя сядут нас ждать в овраг?

— Гадаю.

— Гадатель! Мы из ворот, а они в ворота.

— Поймал казак татарина, а тот его за бороду схватил, — поддел Кудеяр.

Выслушав эти и другие не менее гениальные соображения, Лихарев, однако, пришел к совсем не гениальному решению: послать переговорщиков с их заманчивыми предложениями куда подальше, помолиться Богородице и сидеть в осаде столько, сколько вытерпим.

— Припасов, зелья и свинца у нас довольно. Будем терпеть осадное сидение по тем мест, пока государь соберет рать на севере да придет на выручку.

Второй пункт повестки дня показался бы Мустафе-Истому особенно любопытным, поскольку речь шла лично о нем.

— Истомка — бегун. Его надо иметь да на кол сажать, — высказался Кудеяр.

— Пригоже, — согласился Лихарев. — Да как его к колу-то подтащить.

Благоразумный пятидесятник Злоба предложил, не приближаясь на опасное расстояние, прикончить посланников доброй воли залпом из ружей.

— Не дадут прицелиться, ускачут, — возразил Лихарев. — Я бы подъехал вот эдак, тишком, одной рукой грамотку протянул, а другой — ножик в пузо.

— На нем кафтан толстый, ровно как на кольчугу, — заметил наблюдательный Кудеяр.

— Ну, так по горлу, — уступил Лихарев. — Только мне зазорно людей саморучно резати, я лутчий человек.

— Татарчонка пошли, ему любо русского прирезать, — предложил Кудеяр, на которого произвел приятное впечатление меткий выстрел татарского казака с крепости.

— Поедешь Истомку резати? — спросил Лихарев, испытующе глядя в глаза Федора-Хафиза.

— Ножом?

— Ножом, а чем еще?

— Поеду.

— С ним еще двое.

— Всех и зарежу.

— Ишь охоробрился!

Вдруг этот военный совет, проходивший в стиле *a la tartar*, под навесом на коврике, был прерван появлением гражданского лица. Это гражданское лицо была Софья, которая успела изучить послание от мужа и даже составить на него письменный ответ при содействии попа. Только при виде кумы Лихарев вспомнил, что ему важно не столько посадить на кол Истомку Шацкого, сколько спасти из полона «товарищев».

Просмотрев письмо, Лихарев остался доволен его содержанием. Он замотал шнурком и запечатал свиток своим перстнем так, чтобы с его распечатыванием пришлось повозиться, и передал Федору-Хафизу.

— Отдашь ему грамотку, а на словах передашь...

Лихарев задумался над точной формулировкой ответа.

А между тем татарский литаврщик вылил в рот последнюю каплю горячей воды из перевернутой фляги.

— Я пойду на реку за водой? Пить хочется, — спросил он Мустафу-Истому, но не успел получить ответа, потому что с русской стороны раздался сиплый рев рога и отделился всадник. Всадник скакал щеголеватой танцующей рысью, на нем были какие-то необычные доспехи, испускающие ослепительное сияние.

— Что за архангел? — удивился Мустафа-Истома.

При виде единственного переговорщика он испытал некоторое облегчение: вряд ли для расправы над ними послали бы одного воина, если только действительно это не какой-нибудь ангел смерти.

Федор-Хафиз сразу узнал своего обидчика, которого не решился застрелить на болоте в апреле, и чуть не подскочил в седле от изумления. Мустафа-Истома не признал татарского воина в новом обличье, он только угадал, что этот молодой красивый парень связан с какими-то неприятными впечатлениями, но не мог вспомнить — с какими именно. Одно было несомненно и даже некоторым образом комично с точки зрения Мустафы-Истомы: русскую сторону на переговорах представлял татарин, а татарскую — русский.

— Ты русским языком говоришь? — спросил Федор Мустафу.

— А ты татарским? — отвечал Мустафа вопросом на вопрос.

И хотя этим людям полагалось друг друга ненавидеть, они рассмеялись.

«Не убьет», — подумал Мустафа-Истома и сказал:

— Я тебя не знаю? Ровно как видал где-то.

— Первый раз тебя вижу, — отвечал Федор-Хафиз. — Вот тебе ответ от Ермолаевой Софьи.

Федор-Хафиз наклонился к сапогу, а Мустафа-Истома выпростал левую ногу из стремени, чтобы пнуть его по руке, если он достанет засапожный нож. Однако вместо ножа Федор-Хафиз достал из-за сапога сплюсненную грамотку.

Мустафа взял из рук Федора запечатанный свиток, но не стал его развязывать, а убрал в седельную сумку.

— Нашла она деньги на окуп? А нет, так по-другому сговоримся, — заметил Мустафа-Истома, разглядывая этого красавчика с подозрением.

Так бывает, когда вспоминаешь какое-то нужное слово, и оно буквально зудит у тебя на языке целый день, но не вспоминается, а потом всплывает само собой, когда не нужно.

— С ней и сговаривайся, — отвечал Федор-Хафиз неприязненно.

— Сговорюсь. Ну, а что от Федор Степаныча? Отдаете город?

На этой стадии переговоров Федор-Хафиз лукаво улыбнулся.

— От Федора Степановича велено на словах...

И он произнес популярнейшее русское оскорбление из трех слов, которым, по мнению некоторых мыслителей, русский народ обязан татарам вместе с деспотизмом и бездорожьем.

Мустафа-Истома вздрогнул, как от пощечины, но вместо того, чтобы ответить грубостью на грубость, злобно усмехнулся, развернул коня и поехал прочь. Когда человек более часа ожидает, что ему как минимум отрежут голову, а его вместо этого всего лишь посылают на три буквы, это не кажется ему такой уж большой неприятностью.

Удалившись от русских позиций на расстояние, исключающее нападение, Мустафа-Истома придержал коня, достал из сумки послание Софьи и вскрыл его ножом. Письмо, нацарапанное крупными детскими буквами, гласило: «Приходи к лазу на Дону договоритесь безоружно. Как луна взайдет. Ермалаева Софья».

В то время когда Федор-Хафиз вел переговоры с Мустафой-Истомой, Софья обсуждала с Лихаревым выкуп своего мужа. По мнению опытного казачьего головы, человек такого ранга, как Ермолка, должен был стоять от семидесяти пяти до ста рублей. На Костю же хватило бы и пятидесяти.

Если бы Софья не сидела на коврике, то грохнулась бы на пол. Она, конечно, настроилась на что-то непомерное: ну, тридцать, ну, пятьдесят, но сто рублей!

— Я таких денег в руках не держивала, да и не видывала, — пробормотала она, бледнея.

— Да знаю я, кума.

Федор Степанович стал объяснять ей схему выкупа русских пленников из Крыма, которая, несмотря на свою невероятную сложность, длительность и дороговизну, все же иногда действовала. В этой схеме были варианты, которые, казалось бы, давали некоторую надежду на успех, но все они разваливались на глазах из-за тех чрезвычайных обстоятельств, в которых они находились. Сердце Софьи прыгало в груди от надежды к отчаянию, и она бы, пожалуй, не решилась признаться себе самой, чего она теперь хочет больше: чтобы Ермолка вернулся из плена или чтобы он, живой и здоровый, оставался в Крыму.

— Ты слышишь мене ай нет? — Лихарев щелкнул пальцами перед носом Софьи, замечая, что ее глаза, глядя куда-то сквозь него, утрачивают осмысленное выражение.

— Аюшки? — встрепелась Софья, возвращаясь откуда-то на землю.

— У государя в приказе есть полоняничные деньги, на окуп служилых людей из плена. Но за ними надо ехать в Москву, а Москва сгорела.

— Не судьба? — догадалась Софья как-то уж чересчур быстро.

Лихарев уставился на нее в изумлении и подумал неопределенно, о женском поле в целом: «Ну, бабы».

— Есть еще полезный человек: Иван Федорович князь Мстиславский. Ермолка твой — князь Ивана человек, так пусть бы он дал денег на окуп холопа своего, хоть в долг из жалованья.

— Пусть! — оживилась Софья, которой было не совсем удобно из-за того, что она слишком легко восприняла пожар Москвы и гибель царской казны.

— Князь Иван Федорович и помог бы, да он в опале из-за московского пожара. Его самого бы кто окупил, — взгрустнул Лихарев, который видел от бывшего начальника больше хорошего, чем плохого, и переживал за него.

— А не то — взяти заемную кабалу. Или поручную запись от всей его сотни, что каждый казак дает за него по рублю. Или... — размышлял Лихарев.

Решать этот вопрос надо было как можно быстрее, пока казаков не увезли в Стамбул, а оттуда — куда-нибудь еще подальше, до самой Африки, откуда их уже не вызволят никакие деньги и связи. Вскочив с коврика, Лихарев заметался по поляне, пытаясь, как некоторые неусидчивые люди, активизировать работу мозга быстрым движением тела.

— Пусть уж меня забирают в полон вместо Ермолки, я себя отдаю, — уныло предложила Софья, у которой голова шла кругом от такой задачи, непомерной и для самого ловкого, практичного ума.

— Ты столько не стоишь, — бросил Лихарев, впрочем, не вкладывая в свое мнение ничего обидного.

Тем временем казаки вытащили засов из крепостных ворот, и на двор лихо въехал Федор-Хафиз, весь сияя в прямом и переносном смысле после удачно выполненной миссии.

При виде Федора-Хафиза Софья вся заерзала, заобиралась, засветилась, и очерствелый вояка Лихарев понял наконец то, о чем бы догадалась на его месте любая четырнадцатилетняя девочка. Он понял, что у кумы роман со слугой.

«У него отец мурза. Вот кто стоит Ермолки и больше», — осенило его.

Таким образом, меняя Федьку на Ермолку, Лихарев возвращал друга из рабства, избавлял его от опасного соперника да еще осчастливливал приличную татарскую семью.

Федор-Хафиз подъехал к Софье с вывертом, едва не отдавив ей ноги копытами коня и в буквальном смысле слова пуская пыль в глаза. Софья соскочила с коврика в притворном испуге.

— Проводил гостей, Федя? — ласково справился Лихарев, останавливая коня за уздцы — это был его собственный лучший конь, которого он одолжил переводчику для представительности.

— Послал, куда велено, только пятки засверкали, — доложил Федор-Хафиз, гимнастически спрыгивая на землю.

Юноша весь сиял от самодовольства, а старый казак, гораздо лучше представляющий себе последствия этого мелкого хулиганства, подумал, что им, пожалуй, следовало бы сейчас рвать на себе волосы и посыпать головы пеплом.

— Добрый казак, хвалю. А теперь — собирайся, сдавай мне свои оружия и весь свой прибор.

— Посылка будет? — встрепенулся Федор-Хафиз, вообразивший, что из-за его невероятной ловкости ему поручена какая-то уж совсем важная и тайная операция.

— Будет. Поедешь к батюшке в татары.

Как в большинстве крепостей, в Елифани был тайный ход, который вел от глухой башни, называемой Тайничкой, к замаскированному спуску у Дона. Этот тайный ход, предназначенный для доставки воды и вылазок, не был тайной для Мустафы-Истомы, который сам принимал участие в его сооружении, а следовательно, о нем знало и татарское командование. Однако его военное значение было не так велико, как можно предполагать.

Воспользоваться подземным ходом для диверсии можно было бы лишь в том случае, если бы его не охраняли или открыли изнутри, но для этого требовался предатель, которого среди русских не было. Лезть под землей на штурм было бы так же странно, как самому забраться в могилу. Один молодец с топором мог встать у западни (то есть у люка) и остановить хоть тысячу нападающих.

А главное, в первый же день осады в подземный ход была заложена мина из нескольких бочонков пороха, соединенных с поверхностью длинным фитилем, и об этом нетрудно было догадаться умному Дивей-мурзе.

Таким образом, татары пока ограничились тем, что завалили выход из подземного хода валуном и поставили перед ним стражника. Сам же татарский стан находился на другой стороне реки, довольно далеко от этой укромной площадки с лесенкой, напоминающей купальню.

Как и для многих наших переметнувшихся соотечественников, для Мустафы-Истомы важно было произвести на бывших компатриотов, оставшихся на прежнем месте, неизгладимое впечатление, доказывающее его несомненное умственное превосходство.

Готовясь к этой романтической встрече, перебежчик приволок на поляну дорогой ковер, большую корзину сластей, фруктов и вин из боярских и монастырских погребов, а также заветный подарок, который должен был окончательно повергнуть Софью к его ногам. Он жег костер и нанизывал на вертел нарезанные кусочки отборной баранины, а часовой по имени Айдарка, который еще недавно был надсмотрщиком Истомы и хлестал его плетью за каждое лишнее слово, трещал кустами, собирая хворост в прибрежных зарослях.

— Давай еще людей звать. Русские хитрые — резать могут, — предложил Айдарка, бросая на поляну охапку хвороста и отряхивая халат.

— Не надо людей. Я им так нужен, что они мне ножки целовать будут, — отвечал Мустафа-Истома, раздувая угли и щурясь от слезоточивого дыма.

— Меня целовать не будут, меня жалко, — резонно возразил Айдарка.

В это время из-под земли послышалась какая-то возня, словно покойник ожил во гробе и скребется, пытаясь выбраться на поверхность. Это не было неожиданностью, но тем не менее производило жуткое впечатление ночью, в полнолуние, среди густых прибрежных зарослей, бросающих от костра раскоряченные пляшущие тени.

Кто-то из-под земли попытался поднять приваленный камнем люк, но не смог и постучал конспиративным стуком, очевидно означающим, что пришли свои.

— Если убьют, ты будешь виноватый, — заметил Айдарка, наваливаясь на камень плечом.

Мустафа-Истома помог товарищу, и валун откатился в сторону. Отойдя на несколько шагов от люка, Айдарка достал из ножен саблю, а Мустафа-Истома поднял с земли топорок, которым рубил дрова.

Массивный люк стал со скрежетом приподниматься и грохнулся на землю. Снизу пробился тусклый свет, а затем высунулась рука со свечой. Это выглядело так ужасно, что Мустафа-Истома почувствовал, как волосы у него под шапкой шевелятся.

Из-под земли выросла голова мужчины, напоминающая череп из-за глубоких теней от свечи. Голова осмотрелась по сторонам, что-то пробормотала по-татарски и вдруг громко чихнула. От неожиданности Мустафа-Истома чуть не подпрыгнул. Призвав на помощь Аллаха, Айдарка взял рукоятку сабли двумя руками, чтобы снести эту адскую голову наверняка, как капусту с грядки, и стал подкрадываться по-кошачьи, на подогнутых ногах.

Вдруг пламя костра полыхнуло, разгораясь, и осветило поляну ярким светом.

— Саям, Айдарка, — сказала голова знакомым голосом.

— Саям, уважаемый, — отвечал Айдарка с приятным удивлением, опуская саблю.

Человек выкарабкался из-под земли, распрямился во весь рост и оказался переводчиком Хафизом, который в начале похода пропал без вести в засеках.

— Урус-джан, ты живой? Я думал — ты неживой! — воскликнул Айдарка, убирая саблю в ножны и обнимая боевого товарища.

— Видишь, из могилы вылез, — пошутил Федор-Хафиз.

— Ай, молодец!

Мустафа-Истома помрачнел при виде этого типа, который преследовал его повсюду, словно наваждение. Он подал руку поднимающейся из-под земли Софье и поскорее привалил крышку подземного хода глыбой, пока оттуда не полез кто-нибудь похуже.

Начало этого пикника было довольно напряженным. Все вроде были свои и не имели повода причинять друг другу вред, но все-таки здесь причудливо перемешались две вражеские армии, две враждебные расы. Кто знает, что было на уме у русифицированного татарина, униженного русским на болоте, или у тюркизированного русского, которого татарин оскорбил самым обидным ругательством русского языка. Не замышляла ли одна из сторон (или обе сразу) неожиданного нападения? Ведь, в конце концов, режут всегда неожиданно, а не в тот момент, когда подготавлишься.

К счастью, непьющих в этой компании не оказалось. Вопреки расхожему мнению о мусульманах, в своих кочевьях Айдарка успел пристраститься к молочной водке кумышке. Избалованный горожанин Федор-Хафиз имел доступ к любым винам на рынках Кафы, и если не пристрастился, то перепробовал многое. Про казака Мустафу-Истому и говорить было нечего, а Софья в этом деле не уступала никому из перечисленных мужиков.

Переговорщики расселись на ковре. Что и говорить, угощение Мустафы-Истомы впечатляло после строгой осадной диеты. От чаши терпкого монастырского вина все раскраснелись, заговорили наперебой и забыли о неприятном. Мустафа-Истома хвалился своими успехами на новой службе и спутствующими благами, многозначительно поглядывая при этом на Софью. Софья, что называется, красиво молчала, опустив глаза, но время от времени сверкая взглядом на Федора-Хафиза, или ворковала грудным смехом. Айдарка расспрашивал Федора-Хафиза о том, как живет на Руси служилым татарам, какое жалованье дает им царь и не лишают ли его религиозной свободы, заставляя молиться Христу.

Федор-Хафиз затруднялся ответить насчет жалованья, хотя, очевидно, оно и было: какие-то дачи, льготы, чети — шайтан их разберет. Что же касается свободы совести, то она, безусловно, была. Никто его в церковь не гнал и не мешал молиться Аллаху столько, сколько угодно, если это не мешало службе.

Замаяв эту тему, Федор-Хафиз стал расспрашивать Айдарку про общих знакомых и в подробностях узнал об ужасной судьбе своих товарищей по отряду, которые сидели в московской подземной тюрьме, ожидая скорого освобождения, и задохнулись как один при пожаре из-за того, что русские сторожа разбежались и забыли снять замок с решетки.

После этого печального известия установилась продолжительная тишина, во время которой, по одним поверьям, пролетает тихий ангел, а по другим — рождается нехороший человек. Как бы то ни было, все вспомнили, что они здесь собрались не для развлечения, а для дела.

— Говори про Ермолку, — потребовала Софья.

— Ермолка живой, — отвечал Мустафа-Истома, переворачивая чашу вверх дном во избежание соблазна. — Вот, Айдарка его в плен имал да Рувиму продавал. А я продаю тебе за сто десять рублей.

— Добре много, — хладнокровно отвечала Софья, внутренне уже готовая к чему-то запредельному.

— Не хочешь — не бери. Рувим его дороже продаст на турецкую каторгу.

Отправляясь на переговоры, Мустафа-Истома планировал забрать у Софьи все деньги, какие она принесет (даже и не полный выкуп), а саму женщину увести с собой, при необходимости — силой, с помощью Айдарки, который, как известно, был большим специалистом по угону людей. Появление Федора-Хафиза спутало его карты. Мало того что справиться с молодым мужчиной было сложнее, чем с женщиной, он еще оказался приятелем Айдарки, так что теперь было вполне вероятно, что два татарина нападут не друг на друга, а на чужака.

Проходимец менял тактику.

Выяснив, что всем миром друзья Ермолки не наберут и половины выкупа, а казенного кредита придется добиваться месяцами, добрый Мустафа-Истома предложил реальный выход. Софья отправляется с ним в татары и остается там аманаткой (заложницей) на самых почетных условиях. Ермолка, составив для Рувима «верющую грамоту», едет тем временем на Русь и собирает необходимые средства из казенного жалованья и царского пособия.

— Царь ужо вернется в Москву, и приказы откроются, — уверял Мустафа-Истома с искренне распахнутыми голубыми глазами негодяя. — А тутю как раз начнется обмен пленных в Путивле али еще каком месте. Я привожу тебя на Русь, деньги забираю, а мужу вертаю.

— А надобна я мужу такая... траченная? — усмехнулась Софья.

— А не надобна — оставайся в Крыму. В жены тебе беру, будешь моей катунью.

— Пятой ай шестой?

— Главной.

Федор-Хафиз, выражающий нетерпение во время этой дискуссии, решил наконец принять в ней участие.

— Я еду в Крым за Софьи место, — заявил он.

Мустафа-Истома, мысленно уже вкушающий сладкие плоды своего хитроумия, остолбенел от такого грубого вторжения в его грезы. Это было равносильно тому, чтобы, проникнув в заветный будуар возлюбленной, раздевшись и распалившись, обнаружить в алькове незнакомого мужчину при полном костюме и сапогах.

— Да кто ты такой, что везде лезешь! — возопил Мустафа-Истома, у которого остатки дипломатического такта уже растворились в вине.

— Я Хафиз бин Ибрагим, сын татарского мурзы Ибрагима бин Дауда Темирташ-бея. Я стою десять Ермолок и сто таких, как ты, — отвечал Федор-Хафиз, поднимаясь с ковра и скрещая руки на груди.

— Правда-правда, Ибрагим-бей — большой человек в Крыму, а Хафиз-ага больше будет, — подтвердил Айдарка почтительно.

Казалось, что вся натура Мустафы-Истомы, как разогнавшаяся машина, была остановлена на полном ходу и издала оглушительный скрежет. Бесконечных десять секунд прошло, прежде чем разум этого сообразительного человека остановил свой разбег и переключился на противоположное направление. До Мустафы-Истомы дошло, что, в сущности, ему опять повезло, и опять — еще больше, чем он предполагал.

Изобразив лицом, еще кривым от ярости, приятное изумление, Мустафа-Истома поклонился Федору-Хафизу и, приложив руку к сердцу, произнес:

— Добро пожаловать, Хафиз-ага, твой отец послал меня за тобой.

Софье так же мало нравилось то, что Федора-Хафиза забирают вместо нее, как Федору не нравилось, что Софью забирают вместо мужа. Однако после сенсационного признания возникало впечатление, что проблема полностью решена ко всеобщему удовольствию и можно переходить к неофициальной части переговоров. При этом получалось, что деньги как будто уже никого не интересуют, да и судьба пленного Ермолки — тоже.

— Ты теперь с нами едешь или добро свое еще забереешь от русских? — справился Айдарка, единственный человек из присутствующих, который радовался без всякой задней мысли.

— Какое добро? Не нажил еще, — отвечал Федор-Хафиз, испытующе поглядывая на Софью, напряженную, как разъяренная рысь.

— Сегодня не поедет, я завтра его соберу! — выкрикнула Софья в каком-то отчаянии и наполнила свою чашу вином до самых краев.

— Завтра сам приеду! — подтвердил Федор-Хафиз.

Айдарка принес из шалаша каплеобразную татарскую домбру, и гулянка пошла не на жизнь, а на смерть.

Когда человек пытается снять вином напряжение, то хмель, как нарочно, его не берет, ему не становится ни веселее, ни легче, а только дурнее. Когда же причина напряжения исчезает, то вино подкрадывается, как разбойник из-за угла, и сшибает с ног сразу.

В начале пира бражникам казалось, что вина даже слишком много, Федор-Хафиз не без опаски поглядывал на бесформенный, как бы одушевленный бурдюк, напоминающий то бегемота, то дремлющего кота, то вулкан, но почти не убывающий, несмотря на все их усилия. Но этот бездонный бурдюк как-то незаметно подошел к концу, так что Айдарке пришлось верхом форсировать Дон, доскакать до лагеря и привезти еще один такой же из запасов Мустафы-Истомы.

Домбра пошла по рукам, и скоро выяснилось, что ни Мустафе-Истоме с его похабными частушками, ни Айдарке с его однообразными степными рапсодиями не сравниться с голосистым бардом Федором-Хафизом, одинаково ублажавшим как русскую, так и тюркоязычную аудиторию, как воинственных мужчин, так и чувствительную женщину.

Вынужденные сотрапезники пускались в дикую половецкую пляску, падали на ковер в изнеможении, снова пили, пели и плясали.

Обстановка между тем накалялась. Смирившись с присутствием ненавистного татарина и притворно признавая его превосходство, Мустафа-Истома не мог не замечать также и его роль счастливого соперника по отношению к Софье. Хмель раздувал его ревность и зависть, которые уже не могли испугать никакие блага, полученные через этого баловня судьбы.

Каждое слово, каждое действие Федора-Хафиза Мустафа-Истомы сопровождал каким-нибудь ироническим комментарием, его прибаутки становились все более злобными и менее смешными.

Наблюдая за игрой татарского рапсода, Мустафа-Истома показывал на его правую руку и говорил:

— Вот этой рукой ты добре выводил.

И тут же добавлял про левую:

— А этой — выёживаешься.

Когда в пляске Федор-Хафиз изображал полет орла, Мустафа-Истома замечал Софью:

— Вылитый петух на навозной куче.

Когда татарин пантомимой показывал скачущего всадника, его соперник бросал:

— Козлик по грядке мечется.

Самое обидное, что никто и не думал смеяться над шутками Мустафы-Истомы. Но это не значит, что они проходили незамеченными. После того как Мустафа-Истома сравнил пение Федора-Хафиза с завыванием кастрированного кота, русско-татарский юноша, вспыхнув, сказал:

— Еще раз так скажешь, я тебе все зубы выбью.

Татарско-русский соперник, который, возможно, был и плохим, но точно — не трусливым человеком, злобно бросил:

— А попробуй.

Вино распирало. Когда Федор-Хафиз в очередной раз отложил в сторону инструмент и удалился в кусты, Мустафа-Истома догнал его и, пристроившись рядом, спросил:

— Ты с Сонькой был?

— Не твое дело, — отвечал Федор-Хафиз, который, в отличие от своего визави, был джентльменом, если это понятие применимо к татарину.

— А хочешь — моей будет? На что спорим?

— На твою башку.

— Добре.

Вернувшись к костру, Мустафа-Истома достал из сумки какой-то сверток и, склонившись над Софьей, ласково произнес:

— Софьюшка, а поедешь со мной?

— Это куды? — подозрительно справилась Софья, отодвигаясь от этого наглого человека, который давно был ей неприятен.

— Ко мне в Крым. А поедешь — вот тебе от мене свадебный подарок.

Мустафа-Истома приложил к шее отпрянувшей женщины золотое ожерелье, все обвешанное бриллиантовыми и яхонтовыми висюльками, которые, впрочем, могли оказаться и обычными цветными стекляшками, сверкающими в пламени костра.

— С мертвой снял? — справилась Софья, рассматривая это громоздкое чудо ювелирного искусства.

— Когда снимал — еще шевелилась, — отвечал Мустафа-Истома с подлой усмешкой.

Не говоря ни слова, Софья наотмашь швырнула это сокровище в костер. А в следующее мгновение и сам даритель полетел вверх ногами от сильного удара в челюсть, нанесенного Федором-Хафизом.

Скомканный ковер с дорогими яствами, перемешанными свинской кучей, валялся на склоне берега. Федор-Хафиз и Мустафа-Истома стояли друг против друга с обнаженными саблями, Софья жалась поодаль у дерева, а Айдарка с натянутым луком секундировал этот поединок.

— До крови или до смерти? — справился Айдарка.

— До крови, — отвечал Федор-Хафиз.

— До смерти, — злобно усмехнулся Мустафа-Истома.

— Добро — яхши, — сказал Айдарка. — Ногами не бить, подножку не ставить, песок в глаза не кидать. Лежачего не бить. Кто нарушит — я сам стрельну луком. Айда!

Мустафа-Истома начал бой русским нахрапом, напирая и кромсая воздух с такой яростью, что Федор-Хафиз невольно попятился. Искры снопами летели от клинков. Татарский фехтовальщик отступал, а русский загонял его в угол, но каждый раз, когда казалось, что сейчас из Федора-Хафиза сделают капусту, он отпрыгивал от линии атаки и оказывался за спиной противника.

Понемногу Мустафа-Истома выдыхался, а Федор-Хафиз, напротив, приходил в себя от растерянности и приглядывался к зазору, в который можно было сунуть короткий, быстрый выпад. Бойцы, отдыхая, стали ходить друг против друга кругами, как два кота, которые выгибают спины и оттопыривают хвосты, увеличивая свои размеры вздыбленной шерстью и издавая адские вопли, но не больно-то бросаясь в атаку.

— Что батюшке передать, когда башку твою срублю? — справился Мустафа-Истома, заговаривая противнику зубы перед решающим броском.

— Пусть на кол тебя посадит, — отвечал Федор-Хафиз, выжидая, когда русский занесет руку и откроется на встречном движении.

Айдарка, присев на корточки, с интересом следил за этой любопытной комбинацией, но ни ему, ни Софье не суждено было узнать, чем бы могло закончиться это извечное противоборство грубой силы и искусства.

Потому что налетел смерч, и всю эту сцену прихлопнуло сверху, словно великан, размахнувшись, изо всех сил грохнул по центру поляны каменной кувалдой.

На месте костра дымилась глубокая яма от пудового ядра, и из крепости донесся раскат выстрелившего орудия, которого не услышал никто из участников этой встречи.

В первую ночь осады защитники Епифани были готовы к приступу. Казаки и стрельцы с заряженными ружьями стояли у бойниц, пушкари с зажженными фитилями дежурили у орудий, гарнизон в полном вооружении стоял на площади.

Лучшее орудие Епифани, так называемый «Барс», было заряжено огромным каменным ядром и направлено на вражеский лагерь, переливающийся за рекой бесчисленными кострами, как угли разбросанного костра.

В отличие от русского стана, татарское стойбище не отличалось бдительностью. Напротив, для психического давления там развели вдвое больше костров, чем нужно, и ветер доносил из-за Дона бой барабанов, бряцание бубнов, звон струн, одним словом, звуки самой беззаботной гулянки.

Надо ли говорить, что ликование врага вызывало тяжелую злобу русских пушкарей, голодных и измученных бессонницей.

— Как думаешь, долетят до них наши ядра? — спросил товарища поддатень — помощник артиллериста из нестроевых епифанцев.

— Из затинной пищали до реки добьет, а из большого наряда и за реку перелетит, — отвечал старший пушкарь, заранее пристрелявший луга перед крепостью.

— Не подкинуть ли татарину гостинец? Больно развеселился, — предложил воинственный поддатень.

— Остынь. Зелье побережем для приступа, — отвечал пушкарь как бы через силу.

После восхода луны один из огоньков нахально перелез реку и зажегся совсем близко от крепости, в пойме Дона, где находилась нейтральная территория. Отсюда уже совершенно отчетливо можно было разобрать звон струн, пение и даже женский смех.

— Больно мы их жалеем. А они уже и бабу привели, — не унимался поддатень, которому очень хотелось посмотреть, как действует это знаменитое орудие.

— Я бы и пальнул, да не велено, — оправдывался старый артиллерист.

— Глянь, пляшут! — воскликнул поддатень в возмущении, граничащем с изумлением.

— Где?

Высунувшись как можно дальше из бойницы, старший пушкарь стал вглядываться вдаль своими зоркими глазами и действительно разглядел какое-то мельтешение человеческих фигур перед пламенем костра: это Федор-Хафиз сражался с Мустафой-Истоймой.

Казалось бы, если люди поют, то почему бы им и не сплясать, и если артиллеристы вытерпели первое, то почему бы им не смириться и со вторым? Но именно эта капля переполнила море ярости, накопленное в душе старого воина.

Не говоря ни слова, пушкарь подошел к лафету “Барсика”, поколдовал над прицелом и велел расчету посторониться. Затем он поднес фитиль на длинном шесте с крючком к запалу и пустил ядро точно в цель, как хороший баскетболист посылает мяч в корзину.

Выстрел главного орудия был принят за начало вражеского приступа. Все затинные и ручные пищали крепости, все пушки и тюфяки открыли беспорядочный ураганный огонь по прибрежным зарослям и теням, которые казались ползущими врагами. Обнаружив, что сражение уже завязалось само собой, Лихарев, истомленный ожиданием не меньше других защитников крепости, взял руководство на себя.

Канонада принимала правильный характер. Орудия били залпами, и ядра полетели в сторону татарского стана. Оттуда Епифань казалась вулканом, непрерывно сверкающим молниями, грохочущим и окутанным клубами дыма.

Канонада не наносила противнику большого вреда, если не считать нескольких разбитых повозок и снесенных шатров. Но застигнутые врасплох татары приняли ее за артиллерийскую подготовку перед вылазкой, заметались по лагерю, осыпая стрелами воображаемого противника и попадая друг в друга.

Началась паника и бегство, которое с трудом было превращено Дивей-мурзой в правильный отход, и на рассвете на месте тьмочисленной орды русские обнаружили лишь воронки от снарядов да остывающие кострища.

Отходя на юг, Дивей-мурза оставил в пригороде Елифани команду поджигателей, но на этот раз Лихарев перестал осторожничать и лично на вороном коне наскочил на татар как раз в тот момент, когда они поджигали его собственный двор — лучший в слободе.

Лихарев лично срубил двух татар, не успевших вскочить в седла, остальным удалось ускакать, а двор, почти не пострадавший от пожара, успели погасить. В руках казаков остался трофей — набитая русским добром повозка на двух огромных, в человеческий рост, колесах. Вместе с повозкой, к радости епифанских детей, в крепость привели диковинную скотину — высокого, выше конского роста, желтого зверя, напоминающего горбатого лося и называемого вельбуд.

Так довольно удачно для епифанцев закончилась татарская война 1571 года, и началась подготовка к татарской войне 1572 года.

Окончание следует

Андрей Коровин

Мир не закончен, но зачат

Ане Матасовой

звнящий лёд на Ладоге — шуга
как в колокол стучится в берега
идёт на слом ледовая работа
прицельный лазер солнца колет лёд
и лёд звенит бунтует и поёт
так поздно жить
так таять неохота

звнящий лёд по Ладоге идёт
свингует ветер лес вокруг гудёт
и человек теряется в тумане
и тонут льдины словно острова
и среди льдин теряются слова
зажатые в игольчатом капкане

звнящий лёд на Ладоге а мы
идём-гудём сквозь вековые тьмы
как лёд весенний тоже звонко таем
кричим кому-то плачем и зовём
а после песни горькие поём
а после вовсе в небо улетаем

проверочное слово стрекоза
смотри в меня не опускай глаза
не опускай стремительного взгляда
ночные окна светятся внутри
ты в них как в сон случайный посмотри
там из слюны прорезалось торнадо

Андрей Коровин — поэт, прозаик, организатор культурных проектов. Родился в Тульской области. Окончил юридический институт МВД РФ, Высшие литературные курсы при Литературном институте им. А.М. Горького. Издано 13 поэтических книг в России и Польше. Стихи опубликованы в российских и иностранных поэтических антологиях. Кавалер золотой медали «За преданность Дому Максимилиана Волошина». Организатор международного культурного проекта «Волошинский сентябрь». Основатель и руководитель литературного салона в музее-театре «Булгаковский Дом» (Москва). Живёт в Московской области.

у стрекозы сферический охват
а в остальном ты прав и виноват
но помнишь окна плотно запотели
от тесноты несовершенных слов
от немоты склонившихся голов
от жарких рук сомкнувшейся постели

переведи на русский с языка
какая в окнах двигалась река
как фонари бессовестно горели
какие пряди падали со лба
когда несла свой караул судьба
и тени расходиться не хотели

рысистые земные облака
поют нам песни мреющего мая
на горизонте солнце поплавка
едва клюёт глаза не поднимая
как мини-замки стройные сморчки
готичностью весенний лес смущают
и юных сосен стройные смычки
на плавких струнах воздуха играют

какие листья распускает клён
на стаю птиц похожа кавалькада
взлетишь случайно ею вознесён
и столько глаз откроется для взгляда

что б ни случилось — выживут одуванчики
высунут свои мордочки из земли
мелкие солнышки радостные болванчики
будут глазеть на белые корабли

на облака текущие беззаконные
на молодые спелые облака
словно по небу скачут мальчишки конные
или девчонки отлёживают бока

вниз поглядят и видят что там расколото
солнце на тысячи маленьких жёлтых солнц
жарко цветёт в земле молодое золото
с ветром проточным в парусный унисон

у родника в монастыре Сурб-Хач

здесь ящерицы ходят натошак
родник проверить и воды напиться
и я смотрю в их маленькие лица
мерцающие в зарослях плюща

пугливы любопытные глаза
в зелёной чаще летнего настоя
их напугать мне ничего не стоит
журчит вода меняя голоса

многоголосье малых родников
симфония для глаз и насекомых
нас столько в мире бродит незнакомых
людей стрекоз жуков и облаков

запотевшее лето

в запотевшем ведре запотевшую воду несу
небо катится с горки сидит стрекоза на носу
на пруду в камыше притаился с удилищем пацан
утки тины наелись и их разморила ленца

запотевшею кружкой черпну в запотевшем ведре
тень с прохладцей в прихожей жарница стоит на дворе
этот дом строил дед он немало построил домов
слишком рано ушёл он в один из нездешних миров

запотевшие лица родных на июльской жаре
огород поливают и капли воды в серебре
словно в капельках пота крыжовник малина ирга
запотевшее лето как полны твои берега

пока кузнечики скворчат
в вечернем травяном настое
мир не закончен но зачат
полигамически настроен

синкопы дней кометы лет
сгорают в равнодушном небе
и не находится ответ
зачем мы миру на потребу

но невозможно отрицать
что с тайной света угасая
дано кузнечикам сгорать
весь мир игрой своей спасая

пик лета пройден тянет на грозу
пугает стадо молодых косуль
жующих жмых зелёного налива
густеют тучи гаснут облака
и поднебесья древняя река
плотину неба рвёт неторопливо

да будет свет как доктор прописал
чтоб посмотреть судьбе своей в глаза
в её ромашки лютики и маки
покуда тот — ещё не этот свет
пока мы здесь на лучшей из планет
повсюду ищем водяные знаки

под свистопляску молний и ветрил
июль вакханку модную кадрил
и распускал то волосы то руки
и так смущались в небе облака
что поливали ливнем дурака
ещё не веря будущей разлуке

дождь шёл издалека
таща раскаты грома
под крышей ивняка
шатались стены дома

и лампочка дрожа
от кротости мигала
и тучи мятежа
ползли как два фингала

поджаривая степь
на голой сковородке
отстукивали степ
две молнии коротких

и как бы между дел
вниз шлёпнулись две точки
и вот он сам влетел
в смирительной сорочке

как будто по бокам
два бугая держало
дождь лился как река
которой всё мешало

он рвался свирепел
ища свою добычу
но кто-то вдруг запел
тихонечко мурлыча
и грозная река
могучая машина
вернулась в берега
небесного пошива

и радугою стрел
ненастье обернулось
и воздух протрезвел
и радуга погнулась

и женщины из нор вытягивают шеи
на ниточках глаза осенние висят
и женщины пещер и женщины расщелин
и женщины вообще мне пальчиком грозят

я вижу их глаза следящие повсюду
на листьях на ветвях на солнечной струне
не скрыться никуда я всюду видим буду
глаз солнца глаз луны и главный глаз — во мне

я пойман я прижат пусты мои карманы
кругом одни глаза и я меж них распят
спасёшься ли теперь улыбкой и обманом
пока они без чувств на смятом ложе спят

человек не уехал из Питера
потому что уехать не смог
в эти свитки немого наития
в эти руны российских дорог

в эти зимние скользкие длинные
дни которые от головы
в эти улочки неба старинные
в переулки системной Москвы

человек не уехал из Питера
где свободы колышется гул
человек не уехал из Питера
человек сам себя обманул

в петербургских трущобах отмеченный
подпирающий небо плечом
человек проходил незамеченный
Гумилёв Мандельштам Ювачёв

когда от голода лютует
зловещий зуммер ноября
когда опавший лес бунтует
немыми шапками скорбя

когда свингует серый ветер
так что вокруг темным-темно
когда на вымерзшей планете
нет больше света и кино

когда на вымытые шеи
наденут парки парики
зима уляжется в траншеи
всем нашим бедам вопреки

что там на улице — снег да снег
падает вечером — утром тает
что там на совести — как у всех
слов человеческих не хватает

если и правда придёт зима
злая холодная как могила
мы заберёмся в свои дома
чтобы до лета дожить уныло

где-то грохочет другая жизнь
жизнь или смерть или всё другое
ты там пожалуйста продержись
Бога без дела не беспокоя

вот и дожили до кротости сердешные
это что у нас там было говорю
были горести и радости утешные
были зимы строго по календарю

а теперь зимой то осень начинается
то внезапная случается весна
видно с нами больше в небе не считаются
ум за разум зацепился ото сна

это старость или горечь или шалости
снег до крыши окаянный достаёт
даже ноги замерзают от усталости
пока утром прокопаешь к небу ход

по сугробам по печалям как по лесенке
заберешься на край света в небеса
раньше жизнь была проворна словно песенка
а теперь глухая лесополоса

меж тем звезда белоголова
и небо брызжет кипятком
как будто дойная корова
идёт плеская молоком

на небесах где отраженье
всего что здесь произойдёт
кипит бессмертное сраженье
планет их спутников и звёзд

мы во вселенной одиноки
среди развенчанных богов
мычим пустое караоке
необязательных стихов

мне домой до конечной
по прямой два часа
кто там ждёт со мной встречи
глядя прямо в глаза

эти звёзды что светят
после смерти во тьму
мне за это ответят
я их вызов приму

я по снегу шагаю
я шагаю по льду
я с картины Шагала
прямо в небо сойду

меж друзей и любимых
что горят в небесах
время движется мимо
на небесных часах

когда слова мои закончатся
почти закончились уже
придёт усатая уборщица
сметёт их в мусор как драже

слова посыпятся покатыся
из книг блокнотов дневников
и в щели тайные закатятся
как зёрна будущих стихов

и прорастут сквозь невезение
всплывут как талая вода
слова как вера во спасение
не умирают никогда

какие звёзды нынче сыпались
и всё за шиворот за ворот
а мы смотрели и не рыпались
молчал от восхищенья город

как будто всёверху отклеилось
и звёзды первыми опали
а небеса кругом косплеились
а мы всё видели не спали

и Млечный путь пришёл в движение
носились звёзды светляками
а мы ловили их в кружении
и брали голыми руками

Декабрь в Ташкенте

...и листья платанов замёрзшие листья платанов
декабрь в Ташкенте и лица былых великанов
и конная статуя скачет Амира Темура
на север где Запад с Востоком плетут шуры-муры

пойдёшь через книжный квартал где Булгаков и Бродский
потянет зимою осенней зимою московской
здесь русская речь как хурма будет вязкой и сладкой
здесь даже империя кажется валкой и шаткой

последний арык заплетает зелёные воды
шаг влево шаг вправо и где оно имя свободы
лишь старый чапан согревает замёрзшую душу
ты слушай лишь время
лишь время текучее слушай

в золочёной кружке Бога
ломко светится звезда
мчится снежная дорога
разгоняя поезда

ночь блестит луны осколком
хрупкий ветер колет лёд
нас под Богом ходит столько
сам Господь не разберёт

кто мы где мы и откуда
в этих снежных берегах
жизнь двоится как простуда
от любви в пяти шагах

Бог встряхнет над миром кружку
и рассыплется звезда
и тогда уж мы друг дружку
не отыщем никогда

Анна Русских

Одно счастье моё

Рассказ

Так сердце, жертва заблуждений,
Среди порочных упоений
Хранит один святой залог,
Одно божественное чувство...

Пушкин

Вечером 7 января такси комфорт-класса везло Дубровых на концерт в Филармонию. Билеты, любовно закутанные в канцелярский файл, дожидались в сумочке Аллы с начала декабря: вжикнет она молнией — в «Пятёрочке» или в киоске за сигаретами, — а в душе поднимется и отхлынет до времени удовольствие, мигнёт золотым огоньком спланированный праздник. В машине жарко, дышится тяжело. Накануне Дубровы гуляли с друзьями, домой ввалились за полночь.

Место встречи всегда одно — тёплая беседка в городском лесопарке: грубые лавки и столы, на стёклах в тонких реечных рамах деревенские занавески — осеннее что-то, багряные листья, оранжевый фон. На крашеном дощатом полу невысыхающие снежные следы, дверь туда-сюда, с улицы дымом от мангала и крепким морозом — женщины набрасывали шарфы. Потом согрелись: внесли дымящийся казан с шурпой — «м-м-м, горяченького поесть». Настойка была своя, на чернике, вино, кто-то взял соус песто, тоже свой, к нему ржаной багет с чесноком. Танцы, конечно, грубоватые шутки, немного флирта с одобрения вторых половин; хорошо посидели. В конце затянули «Выйду ночью в поле с конё-о-ом...» — тридцать лет уже её поют, и не надоело. Что-то есть в этой песне, такая она протяжная — «о-о-а-а-у-у-у» — ну, а что ещё петь-то, не розового же фламинго. На память осталась фотография — впятером на лавке плечом к плечу, рты разинуты, на лицах тоска. Дуброва в этой пятёрке, а как же! И танцевала она, и настойку попробовала — изменила проверенному игристому, быстро и гулко захмелела, — но всё время помнила про билеты, дома торопилась уснуть перед завтрашним большим вечером.

Вскинулась в половине седьмого. Жадно глотала воду с лимоном, надавила в ложку студенистой пасты «Энтеросгеля» — заранее сморщилась от омерзения. Снова легла — доспать, прийти в чувство. К вечеру расходилась. «Может, за руль?» — поддел Дубров. Могла бы и за руль, но зачем? Вечер за

Анна Русских (1978) — родилась в Алма-Ате. В 2000 г. окончила факультет русского языка и литературы Уральского государственного педагогического университета. Работала учителем в школах Екатеринбурга. В 2016 г. училась в школе литературного мастерства «Хороший текст». Дебютировала в альманахе школы с рассказом «Небо цвета маминой шали». На портале «Хороший текст» публиковались эссе и рецензии.

Публикация осуществляется в рамках проекта «Мастерские» Ассоциации союзов писателей и издателей России (АСПИР).

столиками, обещано вино. Голова ещё гудит, но впереди уже маячат угрюмые будни, а сегодня ещё праздник, так пусть будет такси.

Собиралась без обычного нервяка — наряд заранее одобрила у знающей подруги. Соло отдала жакету: высокие плечи, узкая талия и тысяча зеркальных серебряных осколков тесными рядами. Драгоценный панцирь, сокровище, богемный шик! Помнила, как купила его. Увидела в витрине секунда рядом с домашним супермаркетом и ослепла, схватила, не раздумывая, в помрачении, не иначе. Не знала, куда теперь в нём, неважно, такие сами ведут за собой. Вниз узкие брюки и лодочки на каблуке. Подруга, кажется, смутилась цветом подошвы. Дуброва догадалась, красная — вызов, сексуальный подтекст. А вот и красная! Перед выходом засуетилась: поменять серёжки на бриллиантовые и такой же кулон в самую ложбинку на шею; к машине уже бежали. Дубров приоткрыл запотевшее окно, дышал. Алла тревожно поглядывала на экран водительского смартфона, следила, как сокращается зелёная змейка оставшегося пути. Время в такси было неверным, забегало на несколько часов вперёд.

Филармония не сияла, как могла бы в праздник, только кое-где по фасаду была подкрашена цветными эстрадными огнями, совсем не идущими ей. С дороги она не смотрелась. Чтобы разглядеть ее, нужно встать вон там, у обувного, тогда Филармония открывалась. Одета в строгое каменно-серое платье, мужские плечи подчеркнуты линиями колонн, а середина женственная, вся из мягких округлостей арочных окон. Модерн, если кто понимает. Ансамбля, правда, никакого. Справа особнячок подпирает, неказистый, как школьник рядом с классной дамой, слева — дом жилой, а там наверняка зевают и, почесываясь, вынимают из холодильника новогодних долгожителей, холодец или заливное. Нет простора величию, воздуха нету, сплошное уплотнение.

Это Аллино тайное место. Год назад она поступила в любительский хор при Филармонии и теперь бывает здесь два раза в неделю. Оставляет машину на соседней улице и идёт навстречу — под горку, под горку. В папке ноты и карандашик для пометок, в пакете сменка, «потому что артистов много, и, если все с грязными ногами в репетиционную, придётся пылью дышать». А вокруг народу... Все рядом идут и ничего такого про Аллу не знают, и на модерн им наплевать.

Дубровы выбрались из такси. Муж, не глядя, перемахнул через высокий снежный накат, отделявший проезжую часть от тротуара, Алла замешкалась. Подумаешь, сугроб, в другой раз легко порхнула бы следом, но не сейчас: собиралась публика, неспешно, под руку, стекались ко входу пары, и в воздухе, казалось, уже витает возвышенный дух. Ей стало обидно за себя, которая вчера весь вечер в сапогах и флисе, хотелось чего-то — протягивать тонкую руку, ловить учтивость во взгляде, — и она стояла, сжимая в руке витую верёвочку бумажного пакета, в котором лежал победный наряд. Дубров очнулся, охнул, но прелесть момента была смята. Успела, кстати, прикинуть первое селфи. Над парадным входом свечечкой мерцал балкон: еловые ветки, шары — красиво. Ах, как хотелось ей кинуть в дружеский чат первую фотографию, метнуть как блестящий факт своей истории — нате! видали? «Нет, ерунда выйдет, слишком высоко красота, слишком густо идёт зритель», — решила про себя, беря мужа под руку.

На входе пришлось задержаться у рамок металлоискателей. Как и когда театры скрестились с вокзалами, кому взбрело в голову душить хрупкий, нежный росток праздности пограничным досмотром, только зритель охлопывал карманы — брэнчали ключи, выпархивали под ноги билеты. Взгляды спотыкались и падали, не достигнув пышной, кондитерской красоты вестибюля. А там, в нише медового цвета, томились сахарные фигуры дочерей Зевса и Мнемозины, потолок над ними, перехваченный кессонами, походил на венскую вафлю, и мраморная лестница звала ступать торжественно, не касаясь тающей роскоши сливочных перил.

Алла по-своему улыбнулась охраннику, тут же обнаружила в толпе знакомые лица, а там уже заметили и, было понятно, узнали. Смущённо здоровались, обменивались поздравлениями, осматривали друг друга — те, казалось, с удивлением. Особенно одна: сама высокая, с гордой осанкой, в устаревшей причёске, а взгляд такой, будто хочет Алле что-то сказать, но сдерживается. Жалеет, что ли?

— Кто такие? — интересовался Дубров, пока Алла, стоя на одной ноге, меняла сапоги на ледяные туфли.

— Врачи из Эпи-центра, вон та, — Алла кивнула на высокую, — с ба-тоном на голове, Мельникова. Между прочим, от операции нас спасла. Мы тогда с Лёначкой в больницу попали с приступом, помнишь?

Дубров Мельникову не помнил, ему хотелось в туалет.

Алла тоже зашла — взглянуть на себя в полный рост, решить, как лучше с жакетом, застегнуть или оставить свободным, а там опять эта Мельникова, примешалась в отражение. Она мыла руки после уборной: буднично плескалась вода, гудела сушилка.

— Молодец, Аллочка, так нарядилась! А я всё жду, когда похудею...

Дуброва чертыхнулась: какая ненужная встреча! Мельникова — врач их с Дубровым сына, и от неё веет больничным сквозняком и бедой. Алла чувствовала себя обманутой, как Золушка, которую разоблачили прямо на балу. Она поспешно благодарила, оправдывалась, мол, надо иногда, и, уходя, сказала злое: «надо не ждать». Вот она, Алла, не ждёт, не ждала! Когда Ленечка заболел, бросила всё, устроилась в садик нянечкой — только бы рядом: подхватить, уложить, спрятать от всех. Коррекционный садик? домашний режим? — никогда! мой сын будет, как все! Не хуже ваших... вашего... Вытянула, отвоевала — два года ремиссии; и в школу устроила, ну и пусть с опозданием, не ваше дело. Когда всё устроилось, выдохнула и на радостях поступила в хор — для души. Поэтому сейчас к досаде, что на её праздник явились незваные гости и хвалят то, что им вовсе не предназначалось, при-мешивалось мстительное чувство превосходства от обладания этим местом.

Мельникова не знает, что за сценой, прямо за спиной у органа, есть узкий коридор с пыльными техническими комнатами. Там стоит чья-то кружка с высохшим чайным пакетиком и пепельница, полная окурков, — совсем домашние, намекающие на обжитость человеком храмового пространства. Стены здесь голые, не напоказ, они сложены из столетнего, облизанного временем кирпича и бесконечно высоки, теряются в купольном мраке. Сколько ни всматривайся в темноту, висящую над паутиной закулисных коммуникаций, сколько ни карабкайся взглядом по массивным стальным балкам, не разглядишь потолка, нет его, сразу космос. Стоишь перед концертом, слушая, как роится и постепенно затихает зал, а внутри такое детское чувство, будто собрался впервые нарушить запрет, — и страшно, и сладко. Точно так стояла здесь Дуброва накануне Нового года, читала на стеллажах надписи к стопкам оркестровых партитур — флейта пикколо, челеста flauto, английский рожок, — от одних названий кружилась голова; и была счастлива, счастлива! Никому это не объяснить, да никто и не спрашивает.

Так пусть смотрят: и Мельникова, и кто там ещё с ней, и все остальные. Потом напишут в отзывах: «Волшебная акустика, чудесная музыка, вежливый персонал, есть буфет» Что бы понимали! Здесь воздух и свет.. надежда! А дома горит ночник, сын уже принял вечерние порошки и скоро заснёт недетским химическим сном. У Лёначки эпилепсия, ему нельзя телевизор и компьютер, а музыку можно. Но Лёначка музыку не любит, начинает волноваться и закрывать уши, а потом кричит и бьет себя по лицу. Иногда Алла включает что-нибудь и наблюдает, как он замирает, прислушивается, как хочет понять, из чего это сделано. Но потом что-то ломается в нём, уходит волна, её забивает другая — и рябь, и шипение, и длинный монотонный сигнал «пи-и-ииии». Эпилепсия задела речевой центр, Лёначка не говорит, как будто у проигрывателя сломалась игла, и пластинка с самой лучшей, са-

мой восхитительной мелодией его голоса лежит немая. Страдают внимание и память. Вчера они писали букву «т», сложную, с тремя параллельными линиями в наклон и изогнутой шляпкой, а сегодня он забыл её название и не может найти среди других. Порой они плачут вместе: она молча, он — в голос, чтобы слышал отец. Тогда Дубров говорит жене: «Оставь его в покое».

И она оставляет — два раза в неделю, когда уходит на хор. На служебном входе Филармонии — охранник и вертушка с пропуском. Всё, скрылась, исчезла, не достать. Разомкнута будничная цепь: по прогнозу магнитные бури, Лёначка вялый, его мутит — «приляг, сыночек» — сон неглубокий, болезненный, дрожат приоткрытые веки. Вместо следующего, такого же звена вдруг игрушка: колокольчик, свистулька — динь-динь, чвирк-чвирк. Алла входит в зал для репетиций, прикрывает за собой двери — одну, через маленький тамбур вторую. Окна здесь кукольные, под самым — не дотянуться — потолком, и непонятно, что там за ними, день или ночь, и есть ли кто живой. Из этого утробного места жизнь кажется далёкой, ненастоящей. Что, если она вовсе не начиналась и ничего не случилось? — тогда можно отказаться от тяжёлой, отрезвляющей памяти. Дуброва дышит по системе Стрельниковой, шумно, через ноздри, выталкивая воздух, как сморкается, поёт детскую безделушку «Братец Яков», а в перерыве пьёт кофе из автомата и болтает с соседками, словно Лёначка никогда не рождался и не запрещал ей жить.

Братец Яков, братец Яков,
Спишь ли ты? Спишь ли ты?
Колокол ударил, колокол ударил:
Дин-дон-дон, дин-дон-дон.

Бедный, бедный Яков, юный, беспечный, бездетный; по ком же ты звонишь, колокол?

Пока её нет, Дубров с сыном ложатся рядом на диван и смотрят телевизор: сначала новости, потом спорт. Лёначка любит биатлон, когда его показывают, он подходит к экрану близко-близко и хлопает в ладоши. Алла не понимает, как это может быть, что голос комментатора и дудки болельщиков лучше музыки, и никто не понимает, не может ей объяснить. Они грызут семечки. Отец чистит и складывает себе в ладошку жёлтые ядрышки, а Лёначка сосредоточенно собирает пальчики — это называется «пинцетный хват», очень полезно для мелкой моторики, — берёт по одной и кушает, одну себе, вторую отцу. Алла не хочет про это знать — ни про телевизор, ни про семечки, только, вернувшись, тщательно вычищает диван и Лёначкины зубы.

Когда-то Алла мечтала стать певицей. Нет, не так; будущее представлялось ей не в виде профессии, а как состояние. Мало ли, профессия... Спросит кто-нибудь: ты певица? — Певица! — А чем занимаешься? — Мороженую рыбу с лотка продаю, вон там, возле автобусной остановки. Алла хотела петь. Просто должна быть сцена, на ней Алла, внизу зрители. Голос ей достался от мамы. Алла любила слушать, как та напевает: «бе-е-лой ака-а-ции гроздь душисты». Моет, к примеру, посуду, вода шумит, а сама забылась, блуждает где-то среди акаций под руку с хорошим человеком. Тембр у неё грудной, с живым трепетом, как волна по реке. Алла смотрит матери в спину, стесняется, что застала её на свидании, и боится, что сейчас она обернётся и всё сразу вспомнит. Она и оборачивалась, улыбалась смущённо, обрывала недопетую любовь. Ах, как жалко...

С певицами тогда было не очень. Телевизор чёрно-белый, показывают скучное: «Международная панорама», «В мире животных» с танцующими страусами, музыка скрипучая, как гвоздём по стеклу, ноги у страусов жилистые. А вот был у Аллы проигрыватель, волшебный чемоданчик с двумя зубастыми защелками по бокам, это другое дело. Широко зевнув, открывал он свои технические внутренности — основание под пластинку и тонкие проре-

зи динамика, спрятанного в крышке, — чтобы в ту же секунду, как коснётся диска игла, плеснуть в комнату живого звука, поймать в музыкальные сети Аллино сердце. «Давным-давно на белом свете жили глупые короли, трубадуры бродили по дорогам и устраивали представления, которые народ очень любил». И Алла, как была в носочках и платице, бежала по пыльной дороге вслед за легкомысленно клетчатой повозкой, за всей этой развеселой вольной братией — «пождидите, я тоже... мы своё призванье... смех и радость...».

А в детском саду была Надежда Викторовна. Алла аж подпрыгивала от нетерпения, пока ждала своей очереди войти в музыкальный зал. Надежда Викторовна играет на пианино — руки сами по себе, а лицо к детям, улыбается, головой кивает, подбадривает как будто. Песни у неё тоже хорошие — про маму, пограничников и голубые санки. Всё это вместе в Аллиной голове, не отделить одно от другого: и мирное небо над головой — это пограничники постарались, ходят, бесшумные, где-то там, сразу за близкой границей её детского мира, никогда не спят, — и бяки-буки-разбойники, как выносит их земля, куда только смотрят пограничники, и мама. Вчера мама позвала соседку, чтобы расшить дочери юбку спелыми рябинами, потому что у Аллы главная роль. Она пойдет по кругу с корзинкой, а там у неё свекла, морковь и капуста из папье-маше — осенние дары, а сама Алла — осень.

В первом классе поступила в хоровую школу. Вышагнула из теплицы детского сада, из её молочного духа прямо в строгие классы академической музыки. Необъятным айсбергом всплыла в домашние стены «Элегия» — звякнули блюдца в серванте, охнул и посторонился, уступая нагретое место, диван. Под жутковатой тяжестью инструмента хрустнула и развалилась легкомысленная повозка трубадура. Музыкальный чемоданчик был выслан. Куда? За давностью лет не вспомнить. Может быть, в темницу кладовки, где отдыхали мамины ночные подушки, или в коридорный шкаф, где лежал, свернувшись удавом, шланг для стирки паласа и теснились пустые закусочные банки.

Алла посерьезнела. После школы устремлялась к парадным, высланным красными дорожками коридорам Дворца культуры, где проходили уроки музыки. Пение, раньше такое обычное, оказалось наукой. Звук, узнала Алла, рождается не во рту и даже не в груди, а в животе, взбирается по позвоночной лестнице под купол, образованный мягким небом, и льётся сквозь темечко в космос — живой, наполненный воздухом и светом. Она поверила сразу, как в сказку, вызывала в себе нужные ощущения, подключалась к космическим каналам.

Петь училась заново. Хормейстер ведёт указкой по алгоритму на доске — «у-у» тянут ученики, затем на схеме цветов — хористы плавно вдыхают его аромат, дальше стаккато — указкой отрывисто по точкам, и наконец протяжный «у-у-ух» в унисон. Хормейстер показывает, как отбивать такты: раскрытой ладонью — сильную долю, колечком из двух пальцев — слабую. Алла старается, рука плавная, движение от плеча. Такты складываются в музыкальную фразу: мелодия взбирается на пригорки и катится вниз, вздыхает в паузах, дробится брызгами шестнадцатых и замирает в заводах целых. Алла постигает нотную грамоту, учится читать музыку с листа. Ей нравится петь хором. Когда один голос сливается с другим, третьим и двадцатым, получается такая сила, такое звенящее облако радости, как будто... А что «как будто», Алла не знает, нет у неё слов, чтобы описать счастье. Может быть, на качелях когда? Были такие в пионерском лагере, лодочкой. Встаёшь вдвоём по разные стороны и вверх, вверх! Кругом лето и сосны душистыми свечками, а вечером у неё номер в клубе с одним мальчиком, Алла-то поёт, а он так, реквизит.

У безымянной сцены в её мечтах появилось имя — Филармония, здесь проходили отчётные хоровые концерты. Алла спешила: мимо высоких парадных дверей — в неприметную боковую, по чёрной лестнице наверх, в класс для распевания. Щербатая, вытертая до белых древесных волокон сцена впускала её в исполинские двери, крытые тяжёлым железом. Алла всходила на

шаткие, постанывающие станки, вытягивалась макушкой в невидимое небо, победно оглядывала зал. Животы, как насосы, качали сильный звук, упругим мячиком вылетал он из наученных ртов. Знаменитый коллектив, Гран-при международных конкурсов! В зале аншлаги, только Аллиной мамы нет. Не ходит она в Филармонию, стесняется простенького платья, полноты своей, а ну как кресла тесные — стыд один выйдет. Алла выпевает своё счастье в посторонние глаза, напрасно потеет под атласной концертной блузкой.

И в чудной песне той
Слышна и радость, и тайная печаль...
И эти звуки, как на крыльях,
Уносит ветер вдаль.

Может быть, и уносит, и доносит даже, и сидит мама, грустная, в кухне, положив больную ногу на табурет, и курит, и думает, что это ветер так разыгрался, того гляди подоконник сорвёт.

Однажды, правда, пришла. Алла только глянула в зал, сразу её увидела, маленькую совсем, родную, в сером вельвете в рубчик. Мама стояла на самой галёрке, держась руками за кресло, будто боялась упасть. Алла заволновалась. Стала думать не о партитуре, а о том, что мать смотрит на неё, а все остальные знают, что она наконец пришла, и вглядываются, изучают, и уже кто-то показывает пальцем, думая нехорошее за поджатыми губами. Алле почудилось, что уже и зал со всем своим хрусталем и паркетом, тяжёлыми порттьерами и бархатом кресел, этими атрибутами изящной беззаботной жизни, имеет свой взгляд на неё, словно вслед за матерью вошли сюда ненужные подробности их жизни: непутевый отец, тяжёлое безденежье и сиротский дух, пропитавший дом после бабушкиной смерти.

«Скрипнула дверь, задрожала рука, вышла я в улицы сонные», — запела Алла. Нехорошая это была музыка, вся из полутонов, из истерических всплесков, следующих за мёртвыми паузами, похожая на стон тяжелобольного человека. Смотрела как-то поверх всего: мамы, зрителей, вскользь и мимо нервных рук дирижёра — туда, где кончались люди и был воображаемый воздух от нечеловеческого размера, никогда не открываемых окон. Плыли перед глазами горячие софиты, сливались в одно раскаленное солнце, а она упрямо пела, пока черная волна не ударила в виски и не наступила ночь. В паузе вывели её — дышать нашатырем, тайно наслаждаться испугом на милом лице. Остаток концерта сидела в зале на зрительском месте, не почётном среди хористов, предназначенном только больным и бывшим. А в голове тукала тёмная досада: ах, мама, одно дело жаждать любви, а другое — справляться с нею, подаренной так внезапно. Не нужно было топтать больные ноги, мешать своё несбывшееся счастье к моему цветущему — белой акации гроздьё душистые невозвратимы, как юность твоё...

Алла не заметила, как музыка отделилась от остальной жизни, выстроила над головой спасительный купол. За ним размывались границы, падал железный занавес, рушилась страна. В школе отменили форму и пионерский галстук. Привычный уклад трещал по швам: когда-то распахнутые окна забирались решетками, двери укреплялись сталью, игрушечных пуделей и пекинесов в прихожих сменили ротвейлеры и питбули. Город обрастал «комками»: подвалы, подворотни, нежилые двери, поросшие серой пылью, захватывались под магазинчики. Торговали всюду и чем попало. Работы не было, пособия не платили. Алла простаивала с матерью мучительные очереди к окошку сберкасс, чтобы скрипучая машина отпечатавала в сберкнижке убийственные нули.

Но посреди этого хаоса, посреди страха и ужаса новой жизни неизменными были вечерние репетиции хора. Филармония стояла на прежнем месте как последний оплот, как каменный останец, переживший тектонический сдвиг времён. Музыка не предавала, она была сделана человеком, но задумана бо-

гом — Алла чувствовала это, хоть о боге с ней никто не говорил. Дворец культуры отменили, вместо него был школьный актовый зал. Весной в нем открывали окна, и тогда на головы прохожих оглушительно и эффектно выплескивалась «Аллилуйя» Гайдна. Хоровое пение было воплощением гармонии — вот такой её задумал бог, такой представлялась она Алле, когда та вливалась свой голос в общее звучание и поднималась над землёй, забыв, что люди не летают.

Настоящей солисткой так и не стала — иногда только доверяли запевку перед хором. Однажды, правда, выдвинули на конкурс вокалистов. Алла разучивала «Бахчисарайский фонтан». Хормейстер строго спрашивала, понимает ли Алла, о чём поёт. О любви, о чём же ещё? Все песни были о любви, но сказать об этом Алла робела. Взяла в библиотеке Пушкина. Умучилась только — ни образа, ни словечка в душу не запало, увязла, как муха в сладком стихотворном сиропе. Не нравилась ей эта песня. Непосильны были альтовому тембру соль и фа второй октавы. Голос, зажатый в тиски академического пения, истощался, фонтан иссякал и хрипел. Никто не знал почему.

Ничего тогда у неё не вышло, победа досталась Хоральской. Была такая в хоре, знаменитая солистка, лауреатка. Пела она «Сирень» Рахманинова. Ах, какая это была музыка, вся-превся про Аллу! Если бы она могла остановить мгновение, то выбрала бы именно это — бестелесное, невесомое, чистое. «Бедное счастье...» Надо же так придумать. Цветёт раз в год и никак не дожждётся, когда же его отыщут. А мелодия? Пока про сирень — повторяется, кружит на трёх нотах, а когда про счастье — взлетает на самый верх и замирает, как влюбленное сердце. Из длиннот складывается строчка «одно... моё... счастье...». Сколько раз Алла, воображая себя Хоральской, пела «Сирень» сама с собой. Замрет в комнате посреди скучного дня, а перед мысленным взором полнехонький зал и в центре мама. Как любила себя Алла в эти моменты, как до последней клеточки понимала, зачем ей дана жизнь и каким бывает счастье.

Музыка давно перестала быть игрой, намекала о профессии, и выбор был почти сделан, как вдруг летом, накануне выпускного класса, Алла передумала. Что-то показалось ей тогда про себя, что-то новое поманило, пообещало лёгкость и успех. Мама вздохнула: «На что ты жить будешь?» Алла приняла к сведению и выпала из обаяния музыки. Сама себе не хотела признаться, что с неудачей на конкурсе похоронила мечту о вокальном отделении, что до мечты не хватает таланта. Оставалось дирижерское: учить пению других, а самой стоять спиной к залу — нет уж, баста.

Из хора ушла нехорошо, с обидой, после выволочки за отступничество. Просто однажды сдала концертный костюм — молча, без прощаний и прощения, и закрыла эту дверь. Страдала страшно, долго видела ядовитые сны, в которых её секли и стыдили. В Филармонию не ходила. Иногда пела в компании песню про коня — громко, намекая о прошлом. Никто, впрочем, намёков не понимал.

Двадцать раз обернулась земля вокруг солнца — не стало мамы, заглошшую «Элегию» разрубили в щепки и бросили умирать под дождём, родился и заболел Лёнечка, — когда Алле приснился новый, чудесный сон, в котором Филармония возвращается. Объявление о наборе в хор выпрыгнуло из Интернета в тот редкий момент, когда судьба кажется подвластной, укротимой. Выпрыгнуло, как шальной человек в тёмном переулке, и оглушило возможностью иной, когда-то намечтанной жизни. Дуброва мгновенно заполнила анкету и нажала кнопку «отправить», как в пропасть шагнула.

Ерунду говорят, что нельзя в одну реку войти дважды, — Алла же смогла. В каких там сферах шелкнуло и переключилось, кто знает? Только Филармония возникла снова, да как! — на связке ключей драгоценный пропуск.

Скольких уже повидала Дуброва, о-о-о, мировые имена! Пройдёт такое мимо по коридору: в глазах отчуждение — всё туда, на сцену, а всё равно

приятно, вроде как коллеги. И комнатка, отведённая богу, вот она, — на дверях бумажка с именем скотчем приклеена, свеженькая, только что отпечатанная. По-простому всё, люди скромные, только билеты дорогие. Алла редко такие берет, ходит на своих; тоже, знаете, уровень. Сегодня, к примеру, музыка венского бала, отец и сын Штраусы, кто-то ещё: ум-па-па-ум — па-па-трям-трям-пум. Юбка летит, ножка мелькнет — легкость, учтивость.

Кресла из зала вывели, вместо них россыпью столики, стулья в парадных чехлах, щедрой рукой — гулять, так гулять — вино и конфеты. «Сейчас для нашего гостя из солнечного Узбекистана будет исполнена ритмически-захватывающая мелодия». Хорошо-то как, господа, нарядно: медальоны, виньетки, вазоны, позолота, хрусталь, перламутр. Алла села удобно, по центру стола: и бокал под рукой, и Дубров — посвящать в тонкости, обмениваться взглядами.

— А пива здесь не наливают? Почему?

— Потому что пиво — плебейский напиток, — Алла смеётся, угадав настроение мужа.

Артисты выходят на сцену свободно, фотографируются.

«Последний новогодний концерт, — шепчет Алла Дуброву, — они же падут без выходных со второй половины декабря».

Она разглядывает наряды оркестрантов. Вот скрипачка: голые плечи, пересечённые тонкими бретелями, крупные украшения на запястье и пальце — чаша цветка с мерцающей в глубине каплей, — такое же ожерелье и серьги. Позволительная для сцены избыточность.

— Им не надоело? — Дубров кивает на смычковое нытьё со сцены.

— Пробуют инструмент, чтобы строил.

— Что, не знают, как он звучит?

Знают, конечно. И Алла знает. Духовые — музыка полка, струнные — музыка дворца, а вместе карнавал, где изящная скрипка под руку с закрученной в колбасу валторной. Взмах веера, и смешались в воздухе запахи духов и табака.

Ведущая сегодня со зрителями, заговорица. Мерцает подол длинного платья, розовое полное плечо укрыто сетью палантина; сулит за отгаданный в викторине вопрос шампанское. Алла прислушивается, ловит себя на лёгком ощущении мысли, свободной от быта. А загадки отгадывает Мельникова. Кто бы мог подумать! Алла удивлённо оборачивается на расцветшую от успеха ненарядную Мельникову.

Оркестр заворачивает «Бандитский галоп». Ну, какой же он бандитский, боже мой, всё игра какая-то — мажор, мажор. Дуброва закрывает глаза, что-то мерещится ей... Публика, она сама, отраженная во множестве глаз, жёсткие воротнички мужских рубашек, дамские декольте, беззаботный смех, разносят шампанское. Вена? Каналы, гондолы, запах тины... Нет, то Венеция, а Вена что? Короли, дворцы, штрудель? Дворцы подходят, давайте дворец! А сама? Смутно, неопределенно, накурили тут, что ли? Ясно только, что большой приём, большие гости. Билеты на новогодний концерт Венского филармонического разыгрывают в лотерею за год до события. За год, в лотерею! Как машину или квартиру. Всего три концерта, один из них транслируют в эфир, а смотрят миллионы. Как велика тоска человека по празднику! А что этот концерт? Польки, вальсы, марши, кадрили — история флирта. Соблазнение и завоевание, мужское и женское. Музыка выразительна, как перо умелого писателя. Лейтмотив, исполненный скрипкой, это свежесть юной барышни — быстрые глаза, румянец; он же, повторенный виолончелью, с оттяжкой, — мать девушки: зоркий взгляд, одышка, усталость немалодых ног. И кавалер где-то тут — азарт, погоня, быть может, пари; на кадрили танцующие меняются партнерами. Зритель, отягощенный годами, браками, предынфарктными состояниями, играет в молодость и, повинувшись палочке дирижёра, отхлопывает ритм.

Мон папа, не ве па,
ке же дансе, ке же дансе,
мон папа, не ве па,
ке же дансе ля полька́.

И мон папа, и мон мама — все тут, вон, сидят прямо перед Дубровыми с двумя дочерьми. Одна из них напротив Аллы: гладкая головка, капелька застёжки на скромном, в мелкий горошек, платье, тонкий ремешок сумочки через плечо. Сидит неподвижно: не пьёт вина, не дотрагивается до волос и лица, не провожает взглядом ведущую. Её статуарность завораживает Аллу. Строгость, с которой держится незнакомка, нравится Дубровой. Так могут нравиться хозяйке дома сдержанность и хорошие манеры чужих детей. «Классическая патриархальная семья, — удовлетворенно заключает Алла. — Какое приятное, подходящее случаю соседство».

В антракте незнакомка поднялась и какое-то время стояла прямо перед Аллой, не замечая, глядя поверх её головы. Это была Хоральская. Дуброва обалдела от внезапного, какого-то киношного узнавания. В этот короткий миг, пока Хоральская оглядывала зал, ещё можно было улизнуть, избежать встречи, но Дуброва сидела на месте, пойманная, как бабочка, на иглу уязвлённого чувства. Какого черта! Двадцать лет прошло. Они не дружили — Хоральская всегда была небожителем. Ходили слухи, что она уехала учиться музыке за границу, и отлично, конец истории, у каждого своя жизнь. Зачем же теперь являться?

Дуброва сама шагнула навстречу, приготовив самую лучезарную улыбку.

— Аля?! Аля Валина? Ты здесь! Красивая! — Хоральская доверительно забрала Аллину руку в свою. — Надо же! А я приехала к своим: сестра вот, мама, недолго... Что ты? С нашими видишься? Катя, это Аля, мы вместе пели здесь, ты же была...

Хоральская и сестру взяла за руку, и они стояли, три посторонние женщины, внезапно озарённые общей памятью.

Хоральская порывисто подхватила бокал, ловко поддела пару конфет из коробки, протянула на ладони.

— Выпьём? За встречу!

Квакнуло стекло дешёвых бокалов.

— Поверить не могу... я три года не была дома. Сначала Валерия маленькая, это моя младшая, потом пандемия. Филармония наша, родная! Ты как?

У Хоральской нездешние манеры — спокойные, без оглядки, будто никто никогда не одергивал, не гасил в ней вспышки счастья. Она смотрела прямо, без смущения, улыбалась, открывая ровные влажные зубы, и жизнь её просвечивала сквозь эту улыбку, как через свежеемытое окно.

— Муж мой, итальянец, поклонник, — опять улыбается, — украл меня, это он так выражается, а у меня контракт в Берлинской опере. Год жили на два дома. Потом Валерия... Дом у него такой, знаешь... он архитектор.

Хоральская уже хотела искать в телефоне, но сестра бесцеремонно потянула за руку.

— Рада была, привет всем! — Хоральская ещё раз улыбнулась, внимательно глядя Дубровой в глаза, будто хотела разглядеть там не успевшую открыться жизнь.

— Кто такая? — вяло поинтересовался Дубров.

— Так, никто... Ты не знаешь! Пойдём фотографироваться?

Походили по залу, вышли в холл к елкам. И потом Алла видела, что причёска старит её, а на одной фотографии перламутровый конус, украшавший стену, зачем-то пристроился на голову, как клоунский колпак.

Во втором отделении, когда у спины перед глазами появилась фамилия, из тумана фантазий проступила и зашумела чужая разноязыкая, пёстрая жизнь. По-цыгански втолпилась итальянская семья архитектора. Сам он, с кудрявой головой, грудью и ногами, представился Алле молодым Черномо-

ром, укравшим бедную Хоральскую в свой дом на берегу моря. Заплакала нежная, выросшая под южным солнцем Валерия. Хоральская пела на грающем немецком со сцены Берлинской оперы, а накрахмаленные бюргеры склонялись друг к другу, чтобы сказать, как хороша эта русская с непронимосимой фамилией.

Алла рассеянно смотрела на сцену, и первая скрипка больше не казалась ей милой в своих дешёвых избыточных украшениях.

— В афише имя не этой солистки, — со знанием дела сказала мужу. — Поёт по нотам, видишь, глаз не сводит? Заменяли солистку!

Не было в ней выученной лёгкости, игры, которая так нравится зрителю.

На «Сильве» вдруг расплакалась. «Помнишь ли ты наши мечты? как счастье нам улыбалось?» Однажды, Алле было лет десять, вернулась из Филармонии с цветами. Самый первый её концерт на этой сцене. Никого, конечно, не было, а она спускалась из хоровой массовки в ансамбле — песенка какая-то про лягушат, детская, — и заслужила букет. А дома мать с вечной тревогой на лице и пьяный отец — заспорил с ней о чём-то постороннем. Алла упрямо не верила, ненавидела его, тогда он взял нож и порезал себе руку. Наутро ничего не помнил.

«Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, и прекрасно!» Алла поморгала, аккуратно, чтобы не размазать тушь, промокнула глаза. Напоследок отгадала вопрос викторины, что-то про марширующих коней, но руку не подняла — кому-то достались её бенгальские огни. Шампанского, конечно, на всех не напасешься.

В гардероб не торопились. На улице, пока ждали такси, закурили. Часы в машине снова, как и дорогой сюда, показывали на два часа больше. «Какое странное, невозможное совпадение», — думала Алла. Парень, водитель в лихо заломленной на затылок шапке, точно другой — лопоухий, она бы запомнила, а время всё так же несётся вперёд, словно здесь, в её настоящем, нет места ни венским вальсам, ни легкому дыханию праздника.

Из приёмника заиграла «Седая ночь». Дубров оживился, по-детски вывернулся со штурманского места назад, к жене. «Наша!» — улыбнулся. Водитель молча докрутил громкость.

«И снова седая ночь, и только ей доверяю я, — сиротски жаловался голос, — знаешь, седая ночь, ты все мои тайны».

Крупными хлопьями повалил снег. Плакало лобовое стекло. Сквозь него прощально горел праздничный город. На главной площади успела рассмотреть ледяную фигуру лисы, уже соблазнившей колобка сесть на носок да пропеть ещё разок. Домой вошли тихие. Шёпотом, чтобы не разбудить Лёничку, проводили бабушку. Алла подошла к спящему сыну. Он вздохнул во сне, и было похоже, что сказал «мама».

Феликс Чечик

Капелька огня

Ничего уже, возможно,
из себя не представляя,
облако плывёт творожно:
и ни обло, и ни лаяй.

Облако не стало тучей
и уже не станет страхом, —
станет встречей неминучей
Одиссея с Телемахом.

Так плывёт — без всяких лощей,
без ветрил и без компаса, —
и на землю не прольётся,
напугав людей напрасно.

Облако — плыви, как детство,
надо всем и надо всеми,
чтоб вернулись наконец-то
к Пенелопам Одиссеи.

Чтоб ветра не голосили,
чтобы колосились злаки:
от Итаки до России,
от России до Итаки.

Когда представится такая
возможность, а она представится,
возьмём две водки, три «токая»,
чтобы как следует преставиться.

Феликс Чечик — родился в Пинске (Беларусь). Окончил Литературный институт им. А.М. Горького. Лауреат «Русской премии» (2011) и международной премии им. И.Ф. Анненского (2020).

Но перед этим, перед этим,
зла не держа, не зная боли,
за всё, что сделали, ответим
и, что не сделали, тем более.

Покамест льдинкой не растаяли —
мы будем взвешены, конечно:
скорее Каины, чем Авели,
рыдающие безутешно.

И уничтоженно-спасённые,
не став для будущего миной,
летим — отныне невесомые —
совсем как аисты над Пиной.

Видит возвратившийся из рейса
сон о неисправных тормозах,
или мальчик сварки насмотрелся
до кровавых зайчиков в глазах.

Эти позапрошлого детали, —
выше гор и полноводней рек,
пустоту собою залатали,
понаделав в небесах прорех.

И у выхода тире у входа —
счастья перезревший самосуд...
Два пакета пожелтевших фото
грузчики на мусорку снесут.

В ритме вальса,
налетавшись от души,
растворялся
мотылёк в ночной тиши.

Тихо-тихо, —
от начала до конца.
Мотылиха
прихорашивается.

Крылья-плечи
отутюжены не зря.
Место встречи
у ночного фонаря.

Скисло тесто?
Бесконечно — вновь и вновь:
смерти вместо —
однодневная любовь.

Время катится-мчится,
отключив тормоза,
невзирая на лица
и не глядя в глаза.

Раньше медленно, в гору,
кое-как, не спеша,
и просила дать фору
у мгновений душа.

И пощады просила,
умоляя — быстрее,
а незнания сила
была топливом ей.

— Ну, давай же, давай же, —
сколько можно уже:
по бетонке и даже
на крутом вираже!

И назад не смотрела
или по сторонам,
оставаясь без тела,
уподобившись снам.

Ничего не случится:
хоть пурга, хоть гроза!
Невзирая на лица
и не глядя в глаза.

В поле — скатерть-дорожка
и огней полоса,
а по ней «неотложка»
прямо на небеса.

Вопросом на ответ,
мотающим на ус:
кладбищенских конфет
неповторимый вкус.

Не плакать, не просить
в кладбищенской тиши,
а просто подсластить
отсутствие души.

Вставанием — из астрала
вернувшегося — почти!
Того, что в зубах застряло, —
хватило на год почти.

Явился и запылится...
Но звёздную пыль стряхнул,
увидев родные лица,
услышав безмолвия гул.

Он тише воды осенней
и ниже воды на треть,
уставший от воскресений,
любовью поправший смерть.

Рутинка его попраля,
обыденность погребла...
Вернувшийся из астрала
на время не держит зла.

Он держит бездымный порох
и сердце своё сухим,
живя на земных просторах
и не подчиняясь им.

И, видя большое в малом,
как астры в ночном саду,
он станет самым астралом
у вечности на виду.

С.З.

Переполняется сердце виной
и безнадёгой душа, —
это как в теннис играть со стеной,
смёхами стену круша.

Это — сначала смешно, а потом
неврастенический плач:
в пух превратился железобетон,
в прах превращается мяч.

Это дешёвых сравнений кошмар,
дурка метафор ночных;
это страна и Победы, и нар,
вдруг примирившая их.

Это — страна? Это — я, это — ты, —
мы, а не кто-то другой...
Наш пятисетовик до темноты
выбелен вьюгой-вьюгой.

Так и живём, будто корку жуём,
мякиш отдав старику,
вооружившись сапожным ножом,
как повелось на веку.

Как птичка-невеличка, —
лети через моря!
Мгновенно, словно спичка,
сгорела жизнь моя.

Не напевала — пела,
летела изо всех
сквозь оболочку тела
каких-то тридцать сек.

Она не отсырела:
и капелькой огня
кого-нибудь согрела,
но только не меня.

Чистота эксперимента
мне всего важнее. Да.
Нет ни Лета и ни Брента, —
Припять-Пина навсегда.

Чисто-чисто, тихо-тихо
там, а видится, как тут,
где лосёнок и лосиха
зоревую воду пьют.

Тихо-тихо, чисто-чисто
тут, а видится, как там,
чтоб однажды возвратиться
в Нюрнберг или в Потсдам.

И когда вернёмся снова,
не вернувшись никогда,
как покойников елово,
примет пинская вода.

В.Г.

Каштаны смотрят в Пину,
ночной листвой шурша.
Вторую половину
читаю не спеша.

А в переулках Пинска
безлюдно и темно.
И половина списка
уже на дне давно.

Не думаю о бреде, —
уже не тут, а там,
где столько лет на рейде
буксир «О. Мандельштам».

Разрушенная Троя.
Уродливость Елен.
И белый сон Дальстроя,
не вставшего с колен.

Музыку одолжил у дождя,
хрупкость у сентября,
бедным рифмовником изводя
лишь самого себя.

И не чей-то, и сам не свой, —
резанный без ножа,
стал в октябре жёлтой листвой
на раз-два-три кружа.

Кирилл Комаров

С квартиры на квартиру

Повесть

Человек все в состоянии понять —
и как трепещет эфир, и что на солнце
происходит; а как другой человек может
иначе сморкаться, чем он сам сморкается,
этого он понять не в состоянии.

И.С. Тургенев

Глава первая

*Нужны или не нужны юристы? Съемная квартира. Сосед: рэпер и она-
нист. Вертелов. Наше общее. Почему я это рассказываю.*

Если верить статистике, в том году, когда я приехал в Москву, вузы выпустили еще 149 999 юристов вроде меня. Гладеньких, блестящих, с кодексами в руках. Ровно таких же, как и год, и два, и пять назад. Таких, которые думают, что уже завтра в дорогих костюмах начнут рубить сокрушительными обоюдоострыми речами судебный воздух. После университета вообще находишься в пароксизме собственной значимости. Еще звучат из ушей аудитории слова декана: «...нужен-нужен-нужен... не бесполезен — не бесполезен». Но уже маячит в утренней дымке призрак работодателя с жирным вытянутым средним пальцем. И никто не поднимает тебя, словно зная, над головой и не несет в уютный офис, где все — семья, которая ждет тебя к ужину из провинциального вуза.

На работе я начал с того, что заполнял безграничные таблицы с законопроектами и получал десятки подписей и печатей. Наизусть я помнил только 925-ю статью Гражданского кодекса и страстно мечтал, чтобы у меня украли хоть что-нибудь в мотеле или бане. О, тогда свершилось бы правосудие! Как я воспарил бы тогда... Держался бы холодно, чуть отстраненно и вежливо.

— Сами оставили вещи, сами и несите ответственность, — сказал бы охранник, — а администрация не понесет.

— А 925-я статья?

Конечно, охранник знал ее тоже. Я побеждал...

Кирилл Комаров (1982) — родился в Москве. Учился на переводчика и педагога, работал на десятке работ различной степени скучности. В 2018 году бросил все работы, чтобы всецело предаться писательству. За это время написано две повести, два романа, один из которых издан, полдюжины пьес и штук пятнадцать—двадцать рассказов. Две пьесы попали в категорию «Особо отмеченные» фестиваля драматургии «Любимовка» в 2021 и в 2022 годах. В журнале «Урал» печатается впервые.

На каком уныло-медленном режиме работает стиральная машина нашей жизни! Белье в ней вращается тоскливо, иные трусы не дотягивают до поло-скания: линяют или растворяются. Неужели нас запикивали в барабан, толь-ко чтобы мы получали подписи и печати, а в выходные — стояли у мангала с картонкой, сделанной из дна обувной коробки? Стояли, размышляя о том, куда теперь девать осенние ботинки: коробка-то уничтожена. Из каких яиц вылупляются люди, которых это устраивает?

Около таких невеселых мыслей я держался года два. Поскольку друзей я оставил в прежних городах, в Москве мне пришлось примкнуть к новым. В основном это были соседи по съемным квартирам, которых мне посчаст-ливилось сменить пять штук. Я даже немного скучал по хозяевам квартир маленьких городов. За скромные деньги они помимо квартир предлагали со-леные огурцы, себя. Москвичи же уговаривали закончить ремонт или запла-тить за всю жизнь вперед. До огурцов ли тут... Но все же и они сделали для меня кое-что приятное и нужное.

Благодаря этой квартирной гонке, которая увлекала меня все дальше от места работы, я и познакомился с Вертеловым. Он как раз искал нового со-седа, потому что нынешний то ли сошел с ума, то ли только готовился, но в любом случае собирался уезжать. С ним произошла странная история, в которой Вертелов не находил ничего странного. Этот сосед был рэпером, и как и все они, — плохим. Все не замутненное работой время он ходил по квартире с диктофоном и начитывал в него тексты комического уровня слож-ности. Или, понижая голос до шепота, рассказывал Вертелову, как и где об-ладал женщинами, а Вертелов потом натыкался в ванной на мастурбатор «Бомонд», совершенно не понимая, в каком состоянии тот сейчас находится: до или после. Сосед редко включал воду, и поймать его было трудно. Как-то он сказал Вертелову:

— Я на этой неделе поймел троих. И еще не мылся.

А иногда ему являлись литературные откровения. Тогда он мог зайти к Вертелову в комнату (чего Вертелов очень не любил) и сказать:

— Ну, смотри, вот Багира, да... Ну это же «вагина» зашифрована. Две буквы разницы. Только зачем?..

— «Каа» — три буквы, — ответил Вертелов, — вот и думай.

— Ага, — догадался сосед.

Одним вечером он сочинил текст. Там было:

Я утратил любовь, и по сердцу — кровь,
Это меня судьба тестирует вновь.
Наша пушистая лав пролетела стремглав,
Я закроюсь в ванной, чтобы понять, кто прав...

А через неделю он пошел на выставку, где демонстрировали новый VR-шлем. И вернулся другим.

— Я надел этот шлем, — говорил он, — попросил включить шоу, рэп-шоу. И вот стою в толпе, всё так натурально, могу рукой потрогать фанатов, сходить выпить пива, купить косячок в туалете. Но потом вышел MC Бомонд и начал читать. И понимаешь, слово в слово мой текст. Слово в слово.

— Что будешь делать? — спросил Вертелов.

— Не знаю. Брошу я это. Даже VR-шлем мне подсказывает, не надо. Зна-ки — они везде. Помнишь, как с Багирой.

На следующий день он сообщил, что съезжает. Хозяйка квартиры сказа-ла, что ни о какой половине оплаты не стоит и заводить разговор, поэтому Вертелов несколько судорожно искал второго. Меня же как раз выгнали под предлогом того, что сын хозяйки решил бросить пить и надумал скрываться от дружков в «моей» квартире. Мы уже раза три-четыре виделись с Верте-ловым на общих вечеринках, поэтому оба были не против. В первую апрель-скую субботу я переместился к нему.

Он был на два года старше меня, тощий и высокий. Работая иллюстратором на несколько издательств, он целыми днями сидел в комнате, а вечерами выходил неохотно, питаясь, чем подвернется. По утрам, которые у него могли затягиваться до сумерек, чаще всего бывал мрачен. Колочим, шершавым, мрачным, нелюдимым — наделите его любой из этих характеристик, и она подойдет. Чтобы точнее понять его и не уходить далеко от Багиры и прочих сказок, вспомним Малыша и представим, что он никогда так и не встретил Карлсона. Ставни были закрыты, или квартирный хозяин домика на крыше заломил цену, и Карлсон переехал в Мальме. И Малыш вырос, не зная его: равнодушный к сдобе, безразличный к крышам. Не человек и не приключение. Примерно такой был Вертелов. Только еще с сигаретой.

В его комнате я никогда не видел убранной постели или чего-нибудь задернутого, приглаженного, стоящего на своем месте. Встав, он сразу садился за монитор и начинал водить пером по планшету. Потом пил воду, завтракал часов в двенадцать. Он вообще пил много воды: она глушила похмелье и не давала задерживаться всякому.

Он никуда не приходил вовремя. Как-то вечером мы сговорились с ним встретиться в «Ольхе и ясене», которые тогда еще и не думали покидать свой подвал, выпить пива: он пришел на час позже. А когда я спросил его, чего вдруг, он сказал, что даже ставил будильник на семь вечера, чтобы быть к восьми. И показал мне будильник, на котором значилось: 19:52.

В том же баре тем же вечером он рассказал мне историю, которая совсем подтолкнула меня к нему. Он нечасто говорил о себе, но тут мы попробовали новый имперский стаут, и эпизоды из наших биографий так и потекли. Лет семь назад он купил дорогую бас-гитару, на которую копил два года. Пришел с ней к приятелю, выпил и оставил ее у него, чтобы не нести ее в этом состоянии по улице. А через три дня разругался с ним до полного промерзания дружеской почвы. И так никогда и не позвонил ему больше. Горячий пунш из неудачи, высокомерия, малодушия и имперского стаута обжег мне горло. Я сам не раз попадал в схожие житейские водовороты. Был случай, когда многоопытная одноклассница уже разделась и встала как следует, а я... Хотя к Вертелову это никак не относится.

Потом мы попробовали еще новый балтийский портер и несколько раз вызывали такси. Проснулись одетые, Вертелов напился воды и сел за планшет, но тут же разделся и лег до обеда.

Девушки к нам не ходили. Мы сразу условились об этом. Вертелов когда-то имел тягучие бракоимитирующие отношения, после которых, как он сам объяснял, «поступил в дочкилище и остановился на том». А я справлял половую нужду на вечеринках и в дешевых гостиницах, не приходя в такие ночи домой.

Нам повезло в этом возрасте иметь подобие собственной квартиры и жить так, как мы хотели. Мне всегда казалось, что хуже испытания, чем родиться и все время провести в одном городе, на одной улице, под боком у родителей, нет. Многие мои однокурсники после университета спешили назад: в тутаеты, саяногорски и рослави. Я думал о них, как они живут в одной большой деревянной квартире, ползают за продуктами, вчетвером принимают душ, чтобы сэкономить воду, рожают друг от друга трехруких полицейских и касиров. И носят телогрейки с надписью «Где родился, там и сгодился» в каплях лукового пота по всей спине.

За год совместного проживания у нас с Вертеловым сложился небольшой ритуал общения. В будни мы встречались редко, я приходил злой, неся отражение подписей и печатей в усталых глазах; Вертелов допоздна сидел с иллюстрациями. В выходные же мы иногда выбирались в центр, ходили в бары. В основном, конечно, в «Ольху и ясень»: нам нравилась его подвальность и прохлада. Мы оба сошлись на том, что, будь у нас такой бар пять-семь лет назад, ни один из нас не завершил бы университета.

Дальше я расскажу, как мы проводили субботы.
Сейчас приятно это вспомнить, неизвестно, повторится ли оно, а если и повторится, — с нами ли?!

Глава вторая

На что мы жаловались. Современные стихи. Зачем мы сильно солили яичницу. Бар «Ольха и ясень». Пьяные проекты и такие же развлечения. Конец прекрасной эпохи и память о ней.

Оба мы любили сырую осень. Чтобы не холодно и листики: бордовые с желтым. Важным было именно это сочетание, потому что просто сыро или просто листики — все равно что пригласить путану, чтобы перекинуться с ней в «акулину».

В субботу мы вставляли часов в двенадцать: в пятницу обычно гремела вечеринка или мы вдвоем сидели на кухне, обсуждая похожесть прошедших пяти дней на предыдущие. Ни я, ни Вертелов не страдали от разнообразия на неделе и по пятницам обменивались потоками нытья, напоминая обвешенных в магазине старух. Я жаловался на коллег, которым нравилось всё: бизнес-ланчи, канавы с ТВ-юмором, в которых они лежали вечерами и нахваливали по утрам, новые парки, интернет-расследования и дюжины способов оттереть кровь с белой футболки. А Вертелов приносил ноутбук и показывал какую-нибудь книжку, которую сейчас иллюстрировал. Ему крайне редко доставались настоящие книги вроде «Знака четырех» или «Острова доктора Моро»: их он не приносил. В основном это были «Слушай свой пенис» и современные поэтические сборники. Как-то он после бутылки рома принес и показал четырехсотстраничный документ со стихами, написанный то ли Эх-письмом, то ли Ж-письмом, я не запомнил. Он прочитал:

И бабочка...
Летит присесть туда,
Где не в навозе лес.
Где не в навозе, и не в кресле, и не в семени прокисшем, и не в рюмке
С отбитым краешком
Небес.

А косатка (не путайте с касаткой и коробкой)
Лежит, пронзенная копьём мужских генезов,
Как ректум.
Сквозь пипетку вскормленный — зачем?
Дыхание мы положили
На аналой,
А он не нем...

Он остановился и спросил:
— Какую обложку я должен нарисовать? Какую?
— А много там авторов? — спросил я.
— Человек сорок. Говно всегда трется друг с другом и нахваливает себя.

Если мы сидели вдвоем, то в субботу утром чувствовали себя неплохо. Я жарил яичницу, Вертелов варил крепкий кофе, который я мог пить только пополам с молоком. Мы принимали каждый по душе, собирались, подсчитывали деньги до зарплаты, надевали непромокаемые куртки и выходили на улицу. У Вертелова был старомодный непромокаемый плащ. Он во многом сторонился всего нового: обычные черные джинсы, черные полуботинки, бежевый плащ, белая грубая рубашка: что-то, что носили до него и будут носить, когда на Мар-

се обнаружится враждебная цивилизация и трахнет все человечество. Конечно, он не искал вещи в секунд-хендах: просто шел в магазин и брал привычное. Даже сигареты он курил обычные, с желтым фильтром.

Чаще всего мы шли в «Ольху и ясень». Мы жили недалеко, и приятно было пройтись пешком в предвкушении холодного пива. Я думаю, мы нарочно пересаливали яичницу или ели ее с соленой колбасой, чтобы первый субботний глоток пива казался желаннее. Дорога занимала минут сорок пять, через реку, мимо Кремля и других символов власти. Часа в четыре мы уже сидели в баре.

«Ольха и ясень» был совсем небольшим: комнатка внизу, комнатка наверху. Когда помещение переполнялось, все брали стаканы и выходили на улицу, ставили их на выступы стен или прямо на асфальт. Согласен, это была новая традиция, но пристрастились мы к ней с удовольствием.

В четыре, пока бар пустовал, мы любили сидеть внизу: там стояло всего три стульчика у стойки на стене. Мы брали какое-нибудь новое пиво и сидели, обсуждая его. Перед глазами переставали мелькать иллюстрации и печати акционерных обществ всех мастей. Только солод, хмель и вода. И дрожжи, конечно, иначе не забродит.

Владельцы сами стояли за барной стойкой, и мы, слыша, как они обсуждают, что неплохо бы иметь помещенье побольше, надеялись, что у них ничего не получится.

После трех-четырех стаканов мы заказывали еду прямо в бар. К этому времени он наполнялся, и уже проскальзывал пьяный первоцвет. К восьми очередь в единственный туалет перекидывалась на лестницу. Мы ходили по одному, чтобы не упустить наш угол. Как правило, в очереди встречались знакомые. Нас с Вертеловым облюбовал один длинноволосый парень, который приходил без компании, брал самое крепкое пиво и уже через час приставал ко всем с безумными проектами. В одну субботу я встал за ним в очереди, он обернулся, узнал меня и стал рассказывать.

— Придумал унитаз для богатей, — сказал он, — они же всегда хотят попробовать что-то такое, чего еще никто не пробовал. Обскакать своих друзей. Так вот, представляешь, богач идет в туалет, вот как мы с тобой, садится и, чтобы не скучать, берет пульт и нажимает на кнопку. И ему там снизу кто-нибудь отсасывает. Кто? Это уж он сам выбирает на пульте. Хочешь, старик, хочешь, школьница. Ты кого хочешь?

Я вернулся к Вертелову, он отстоял свою очередь и тоже вернулся.

— Встретил лохматого, — сказал он, — ну, Илью.

— И что он?

— Предлагал мне найти организовать порнорadiостанцию. Говорит, сейчас все помешаны на ностальгических чувствах. Мы организуем радиостанцию, которая будет вещать буквально два часа после полуночи, создадим искусственный ажиотаж. То, на что можно ловить слушателей. В студии сидит диджей с проникновенным голосом, смотрит старинный порнофильм, из тех, что с сюжетом. И пересказывает в прямом эфире, что происходит. Говорит, сначала ничего, а потом на рекламе заработаем. Он посчитал, за первый месяц — полтора миллиона. Поделим и разбежимся, пока не повязали.

— Семьсот пятьдесят тысяч, — сказал я, смеясь, — я бы полгода не работал. За...ли эти бумажки. А ты бы что купил?

— Сарай в Португалии, у океана, с интернетом. Порисовал, окупнулся, порисовал, окупнулся.

Рядом с нами стоял пьяный, который слышал наш разговор.

— Только в России, — сказал он и махнул рукой со стаканом. Пиво пролилось на пол. — Только в России.

Он продолжал стоять и смотреть.

— Тут всё... всё... — и он постучал свободной рукой по груди.

— Или в Суздале, — сказал Вертелов, — на берегу океана. Домик со своей церквушкой.

Пьяный улыбнулся и ушел наверх. К счастью, такие в «Ольху и ясень» заворачивали нечасто: они бродили окрест.

Потом включалась музыка. Кто-то обязательно снимал штаны или подъезжал на велосипеде уже без них. Рождались и рассыпались рок-группы, люди договаривались завтра же сесть на поезд в Будапешт, звали в леса, которых нет на карте, сверкали тайнами, способными пошатнуть финансовые и общечеловеческие основы, засыпали пьяным сном прямо на улице.

Немного позже, когда уже стояла зима, бар «Ольха и ясень» все-таки переехал. Поначалу это не сильно сказалось. Вечеринки проходили так же дико и беспамятно. Летели, звеня, стаканы, на ковре у стены выступали пьяные неизвестные музыканты. Но потом о баре написали. Раз, другой. Он появился в одном из омерзительных списков наподобие «Десяти х...в, которые вы должны попробовать». И туда потекли: подростки и приезжие, офисные работники во фланелевых костюмах и атлеты в спортивных штанах, девушки с шиншиллами и папы с детьми. Наш косматый бизнесмен пропал, туалетов стало три, бармены расплодились. И мы нашли бар ближе к дому. Он был заведомо говно и разочаровать нас не смог бы, как ни старался. Да и дорога до него занимала семь минут. Мы часто сидели там по субботам и вспоминали, каким раем казался путь до «Ольхи и ясеня».

Глава третья

Граф из Казани и тетка из-за границы. Как у меня чуть не появился новый костюм. Поездом по стране. Вертелов пьет вино и надеется.

Действительно — пришла зима, а вместе с ней ко мне в комнату пришел Вертелов. Как обычно, на нем была только верхняя часть одежды. Я удивился, потому что мы почти никогда не заходили друг к другу, встречаясь только на кухонной мебели. Тем более — пятница еще даже не показалась. Он зашел с бутылкой белого вина и сел.

— Другого ничего нет, — кивнул он на бутылку.

— А что случилось? — спросил я.

— Не знаю, как сказать.

— Тебе деньги нужны?

— Нет. Ты можешь сначала выпить?

Он налил мне половину пивного стакана, подвернувшегося под руку. Я отпил.

— Что такое?

— Я могу переночевать у тебя в комнате?

— Да что случилось?

Он нехотя заговорил.

— В общем... в субботу зайвится моя тетка. Она пробудет один день, а на следующий — уедет в Казань.

— И это все?

— Нет.

— И?

— Она с кошкой.

— Так, и?

— И все.

Я засмеялся.

— А что такого?

— Ну, мы же договорились не водить никого.

— Это же твоя тетка.

— Ну, все равно, я бы на твоём месте разманделся.

Ему явно полегчало, он отпил вина из бутылки.
— А что за тетка? — спросил я. — Почему ты раньше не рассказывал.
— Да как-то не приходилось. И потом, я ее видел последний раз пятнадцать лет назад.
— Сколько ей лет?
— Под семьдесят.
Я еле заметно скривился, но он поймал меня.
— А ты думал, придет двадцатилетняя Вертелова, которую ты сможешь...
Он звонко шлепнул ладонью по боковине бутылки. Я неопределенно качнул головой.
— Нет, под семьдесят, — повторил он.
— Куда нам надо будет ее вести? В Третьяковку? Или в мавзолей?
— Ну. Она сорок лет живет за границей. В Мюнхене, в Лондоне. Насмотрелась. Ходила на первые концерты The Exploited.
— Будем включать ей?
— Зачем?
— Ну, чтобы как дома.
Теперь засмеялся Вертелов.
— Не обязательно.
— А зачем она едет?
— О, это интересно. У нее тут нашелся молодой любовник. Какой-то граф из Казани.
— Граф из Казани? Рустем Дракулаев?
— Это она так называет — граф. Я вообще ничего не знаю и не хочу. Ладно еще — одноклассника встретить, там два вопроса. А родственника...
Мы допили вино.

Пятничная вечеринка отменилась: в субботу мы вставали в шесть утра. Софья Васильевна выглядела как дворянская дочь, вскормленная Сидом Вишезом. Она была в каракулевой пилотке, леопардовой короткой шубке, черной юбке и высоких сапогах. Чемодан за ее спиной смотрелся бесстрастно, как охранник. В руке она держала переноску с толстой персидской кошкой.

— Ой, мальчики, как вы ужасно смотрите, — сказала она. — Я куплю вам костюмы и приличные туфли.

И она сунула Вертелову несколько розоватых бумажек.

— Это из «Монополии»? — спросил он.

— Это фунты.

Когда мы грузили ее в такси, Вертелов шепнул мне:

— У нее куча денег. И всего связанного. Потерпи.

Он сел с ней, а я — к водителю.

Тетка была резвая. Насчет костюмов она не шутила.

— Сейчас забросим мой саквояжик и пойдем пить кофе. Есть у вас, где пить кофе? А потом пойдем покупать вам костюмы и обувь. Есть у вас, где покупать? Потом будем обедать, выпьем вина, я пятнадцать лет тебя не видела. А завтра посадите меня на поезд. Я не ездила на поездах по России пятьдесят лет. Хочу опять окупнуться. Я выкупила спальное купе. А хочешь — поехали со мной? Познакомлю тебя с Рустемом.

Я сделал вид, что зеваю, чтобы ретушировать проявления смеха. Вертелов ехал мрачноватый.

— Нет, спасибо, — сказал он, — зачем я буду мешать?

День никак не мог кончиться. Мы позавтракали, купили Вертелову костюм, которых он никогда не надевал (я сумел отказаться), долго обедали, купили несколько бутылок вина домой, пили чай с восьмизатяжным тортом, а Софья Васильевна все говорили и говорила. Про маму Вертелова, про его

отца, про своего бывшего мужа, про его новую семью. Конечно, ее не устроила комната, куда мы ее определили. Она спросила, нельзя ли сейчас купить ей новую кровать или в самом крайнем случае — диван. Шторы не шли к обоям. Ковра не было. А я думал, почему такие родственники всегда достаются тем, кто их не выносит. Почему вообще все болтливое, беспокойное, энергичное и катастрофическое обрушивается на тех, кто хочет просто рисовать за монитором. Я решил, что это любовь к казанскому графу сделала Софью Васильевну такой, но Вертелов опроверг. Мы лежали в моей комнате, как после пьяной дворовой пи...лки.

— Я думаю, она на концерте The Exploited большую часть разговаривала, — сказал он, — кто их родственники, поел ли басист. Ты не помнишь, во сколько завтра ее выкупленный поезд?

— Около шести, без пятнадцати, кажется.

— Б..., это значит как минимум завтрак и обед.

В поезд Софья Васильевна купила себе букет роз, перевязанный желтой лентой, бутылку шампанского, дорогого шоколада. На перроне, уже прощаясь под снегом, она спросила:

— Мальчики, а вы не?..

— Нет.

— А вас бы это не испортило. До свидания. Надеюсь, мы скоро увидимся.

— Давай возьмем такси, — сказал Вертелов, когда мы пошли к вокзалу. — Она мне столько денег напихала. И еще костюм завтра сдам, ботинки. Там тысяч на пятьдесят. Я думаю, месяц заказы не буду брать.

Дома мы нашли вчерашнее вино и кошачий лоток. Вертелов стал сразу пить прямо из бутылки, как застрявший в горах, спасенный сенбернаром. Я не мог так налегать: завтра сквозил ненавистный понедельник. А Вертелов выпил две бутылки, выкурил сигару — подарок тетки — и сказал:

— А я надеюсь, что мы теперь хер увидимся.

Но он ошибался, и мы встретились с Софьей Васильевной довольно скоро.

Глава четвертая

Как испортить печенье и людей? Вертелов берет отпуск. Загадочные вещи, которые он сообщает мне чуть не каждый вечер. Что осталось от тетких денег. Я закрываю разные двери.

Странный выпал нам месяц: непонятно, каким цветом выделять его в календаре. С одной стороны, у Вертелова вдруг появилось сто с лишним тысяч, и он действительно взял что-то вроде отпуска. Но блеснула сероватым металлическим светом и другая сторона...

У меня на работе у коллеги лет тридцати отпал от семьи муж. Она знала, каким путем он ушел, но вернуть его из той женщины не получилось. Та женщина была моложе, новее, и ее половые плоскогубцы впивались крепче: ей было нужнее. Моя коллега ходила с не своими глазами, и другие женщины на работе выделяли ей повышенное сочувствие.

Но в одно утро на нашей общей кухне, где обедали те, кто приносил луковые и рыбные блюда с собой, появилась тарелка с печеньем. Обычное домашнее печенье из масла, сахара и муки, присыпанное пудрой. У нас часто так делали, когда хотели лишний раз подчеркнуть, что мы — семья. Или когда яблоки начинали гнить на балконе.

Печенье съели. Кто-то с кофе у кофемашины, кто-то на рабочем месте. Я съел два. На следующее утро была свежая партия. А на третий день болезненный понос выкосил почти весь офис. Пришли только те, кто не мог не прийти: бледные, нечесанные. Никто не мог есть, в лучшем случае пили крепкий чай, который мгновенно покидал организм. Приступы нападали так

искусно и зло, что никто даже не решался назвать их диареей. Было очевидно, что это что-то неподдельное, русское, от сердца. Конечно, печенье, как говорят в офисах, сразу взяли на карандашик. И отнесли на экспертизу. Но, кроме превосходного масла, деревенского творога и муки с сахаром, ничего в нем не отыскивали. А тем временем Зуев из отдела кадров говорил мне, что не знает собственных руки, когда моет их: так они истощали.

Печенье прибывало, но директор приказал уборщице тайком выбрасывать его. Через три недели брошенная коллега уволилась и принесла на прощание кремный торт, который испекла сама. Его сожгли за зданием, у помойки. Пламя потрескивало, и всем казалось, что оно источает яд. К этому времени все уже порозовели, вернули вес, и кто-то предположил, что брошенка орала что-то испепеляюще-уничтожительное в тесто печенья, пока готовила, отчего оно приобретало слабительные свойства. Все засмеялись и, счастливые, пошли обратно в офис. Зуев из отдела кадров пошел искать новую уборщицу, потому что прежняя скоростно скончалась.

А Вертелов завершил всю работу, которая у него оставалась, и три с лишним недели неотступно пьянствовал. Его веселье не упряло себя в чугунную клетку заповя, а порхало свирелью над кустом калины. Оно в чем-то сыграло ему на пользу. Например, он начал гораздо чаще появляться на улице: если раньше выпивку покупал я, то теперь ему приходилось действовать самому.

Обычно он выходил вместе со мной, и мы шли в сторону метро, под снегом или нет. У магазина он бормотал спросонья прощальные слова и пропадавал за стеклянной дверью. Покупал бутылку вина, соленый сыр, хлеб, что-нибудь на обед. Днем выходил еще за двумя бутылками. На моих глазах человек расцветал. Вечерами он мне рассказывал что-нибудь.

— У нас появились соседи снизу, — говорил он, — или они всегда были, а мы просто не замечали. Весь день они е...ся и хохочут. Если вдруг им не смешно или не тянет друг к другу, она начинает петь. И это то, чему она не обучена. Как наконец, она поет что-то приличное, и от этого еще больнее. Иногда я совсем уже собираюсь с силами, чтобы одеться, разыскать ее дверь и как-то дать ей понять. Но они как чувствуют — затихают.

— Ты когда-нибудь обращал внимание, какие существуют омерзительные слова, — сказал он на другой день, — просто прикоснуться к ним не хочется. Ну, вот «славный». Я произношу, и меня передергивает всего. Как будто карлик в костюме вареного чеснока подглядывает за переодевающимися детьми. Славный! Тут и слюни, и гниль садовых слив, и сливной бачок. А значит при этом исключительно хорошее. «Он — славный парень». Звучит как снисходительный бодибилдер, который с победным е...м ходит по спортзалу, посматривая на хилаков, поднимающих на четырехста кило меньше него, а вечером помогает насильникам придержать его же собственную жену в подворотне.

— Сегодня задумался, — начал он в очередную пятницу, — об одном выражении: «Руки из жопы». Тебе не кажется, что, в принципе, совершенно всё — из жопы, просто в разном направлении и с разной степенью удаленности от жопы. Голова-то тоже из жопы, не надо обольщаться. С нее же начинается весь процесс, который приводит такую милую, славную (!) еду к жопе. Так что — чего уж!

— Подсел на реалити-шоу японское, — рассказал он ближе к концу отпуска, — посмотрел первый сезон. Тридцать выпусков за пять дней одолел. Ты думал, я там в комнате ничем полезным уже не занимаюсь, а я вон что. В один дом заселили четырех японских профессоров лет под восемьдесят. В братья моей тетке годятся. И женскую панк-группу из четырех человек тоже. И вот они там... Девка из группы, барабанщица, больше всех мне... садится

за шторкой на корточках, у нее к ноге привязан шланг. От шторы вниз идет наклонная горка, по ней пытается взобраться профессор, чтобы наказать девушку, как он привык таких наказывать у себя в университете. Понюхать все ее белье на глазах у ее подруг. Но он на резинке, горка скользкая, а барабанщица начинает мочиться. Ну, из шланга. Может, и свое добавляет. Слева от горки стоят ее подруги и орут на японского деда, чтобы сбить его с толку. Что он из страны заходящего солнца и другое обидное. А справа в костюмах — профессора. Подбадривают. И вот так целый месяц, каждый день по полчасу. В последний день они садятся и мирно едят: днем то, что приготовили профессора, рис, там, с окуньками, чай. А на ужин — панк-стряпню. Кошку на гриле со всеми внутренностями и говном. В знак дружбы. Я к чему это... У них такие рейтинги, что все страны купили франшизу. Хочу посмотреть нашу пародию...

Закончилось все даже для меня — обескураживающе быстро. В пятницу я застал Вертелова с бутылкой вина. Он выглядел посвежевшим и усталым одновременно, вроде отпускника на русском юге.

— Придумал статью в Гражданский кодекс, — сказал он, — ты предложи у себя там, может, понравится. «Намеренное доведение до изнеможения невыносимыми рабочими задачами, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

— Ты чего? — спросил я.

— Всё, ушли денежки, — ответил он, — осталось за квартиру заплатить. Вот — последняя, нет, предпоследняя бутылка, вот лаваш. На кухне еще грейпфрут лежит. Больше ничего. Я сегодня уже заказ взял. Состояние, конечно... Как сам себе за шиворот с ветки упал...

Он словно ждал весь день, чтобы сообщить мне это. Тут же он сильно отпил из бутылки и стал клониться на постель и уснул. Я закрыл балконную, а потом и обычную дверь и вышел. Он спал до утра, а потом просто пересел за монитор с постели. Застучали привычные дни.

Глава пятая

Зима и ее ловушки. Чего не любил Вертелов. Старый детский писатель и его причуды. Как вернуть себе детство. Почему Вертелов так быстро все нарисовал, хотя до этого мучился месяц.

В конце января, когда праздники уже испарились, а от зимы остался еще целый февраль, я сидел на кухне. Вошел злой Вертелов с сигаретой и выпил чашку горячего чая.

— Б... — сказал он.

— Объясни, — попросил я.

— Я рисовал радугу, не подходит. Рисовал маленького уе... с сачком. Не подходит. Я сколько буду перерисовывать?

— Все равно не очень.

— Есть детский писатель. У него есть книжка «Детство, которого не было». Мне надо нарисовать обложку. Послезавтра я сам пойду к нему, по просьбе издательства. Ты можешь пойти со мной?

— Зачем?

— Чтобы я его не задушил. Он какое-то там культурное наследие, над ним трясутся. «После-е-е-едний детский писатель, который застал Барто в приличном настроении».

— Послезавтра же суббота.

— Денег все равно нет. А из издательства мне обещали: закрою с этим, заплатят за все сразу.

С писателем созванивался я: Вертелов не выносил звонить. Я тоже не выносил, но мог. А Вертелов боялся самой мысли о сидящем по ту сторо-

ну телефонной прямой незнакомце. Мы договорились на пять, я прикинулся представителем издательства, писатель попросил принести что-нибудь, потому что будет чай.

— А он не мог раньше? — спросил Вертелов.

— Я не знаю, он предложил пять, я согласился.

— А ты не можешь...

Я посмотрел на него. Он все понял и сказал:

— Сиди теперь весь день, не выпей.

— Денег же нет.

— На домашнее пьянство же хватит.

В субботу Вертелов изманделся. Его подняло часов в восемь утра, он оделся и сидел без пальто и без минуты готовый к выходу.

— Ну, сколько? — спрашивал он. — А то я решил не смотреть на часы.

— Одиннадцать сорок семь.

— Е... Мне жарко уже.

На такси было быстрее, но мы поехали на метро, чтобы пораньше выйти.

Писатель был старинный, местами — антикварный. Он не представился в ответ, предполагалось, что мы его знаем. Вертелов в лифте сказал мне, что писатель — Семен Яковлевич.

— Вот сам открываю дверь, — посетовал он. — Раньше хоть секретарь был, Витька, шустрый такой. Там стихи переведет, туда напишет, здесь дверь откроет. Пропал куда-то, давно не видеть. Проходите.

Мы вымыли руки, вытерлись серым вафельным полотенцем и прошли в комнату, где был подан чай. Прямо посередине комнаты стоял унитаз. Видно было, что он тут главный: даже чайный столик ютился в углу. По полу от него шли две трубы к ванной, и вода в бачке шипела и плескалась, как будто писатель прямо перед нашим приходом топил не сложившиеся рассказы.

Мы присмотрелись. Унитаз был только началом. Гардероб стоял вверх ногами. Спальное место скрывал полог туристической палатки. Разноцветная расколотенная гитара нашла себя на стене в виде музыкальной инсталляции. Книги валялись на полу. Фитболы вместо стульев, заварка в банке, чайные чашки кислотных цветов и разных размеров и десятки свечей в роли люстры.

— А я не хотел идти, — шепнул Вертелов. — Наконец-то! Настоящий е...тый.

Вошел Семен Яковлевич с кастрюлей кипятка.

— Прошу садиться, — сказал он.

Мы поставили на стол коробку с эклерами и пакет с конфетами. Писатель разлил заварку и кипяток и начал безостановочно есть сладкое и пить чай. В нашей коробке уместилось семь эклеров: он съел пять. И переключился на конфеты.

— Понимаете, — сказал он, — вышло так, что я почему-то не помню своего детства. Не то что там оно пришлось на войну или еще на какое веселье, нет. Просто не помню. Человек в среднем помнит себя лет с трех, а у меня первым осознанным воспоминанием стало то, как я получаю диплом в институте. Что я делал до этого? Как я жил? Как развлекался? Может, падал с велосипеда? Взрывал строительные патроны? Стрелял по воробьям и жарил их как маленьких цыплят? Ни-че-го не помню. Уже лет в сорок я попытался впервые напрячься и вызвать в голове какие-то образы, слова. Детская курточка. Комолый теленок. Нет. Нет. Бетонные стены, и шумит какая-то невидимая река. И следом я пишу Твардовскому письмо. Вот такие воспоминания.

Он вытер с губ глазурь и продолжал:

— Я, конечно, знал, где я родился, где жил в детстве. И как-то отсутствие воспоминаний меня окончательно насторожило, я оделся и поехал туда. Со-

седи по коммуналке еще жили там же. Узнали меня. Заплакали. Сеня, Сеня, кричат, а я рядом, прямо весь крик в меня уходит. Сеня! Я тоже что-то покричал, а потом спросил. Подскажите, мол, а. Что я делал? С кем дружил. Они напряглись. Так, говорят, Митьку помним. Петьку Косоурова помним. Один пожарный, другой — председатель райкома. Один с детства поджигал, второй — тушил. А вот тебя... про тебя... Вспоминаем, говорят, и река какая-то шумит... Опять река, и у них река... Ну я и расстроился, вернулся в Москву. Сам, думаю, детство устрою. А мне уже лет — внимание — под пятьдесят. Уже десяток книжек написал. Выпустил даже четыре. Спустился как-то поздно ночью к почтовым ящикам и фамилии поменял: свою — на жильца со второго этажа. И жду. Утром мне, то есть тому жильцу, приходит письмо. Просто конверт, без имени-адреса. Там письмо: «Жду завтра в 15:00 в почтовом отделении в Чертаново». И адрес. У меня глаза загорелись: детство, приключения! Еле дождался следующего дня, выкурил две пачки папирос, конфет кило съел с чаем. Сто раз к ящикам почтовым спустился. И жильца того увидел, чье письмо-то было. Идет, лицо рассеянное, видик в общем так себе, еле поздоровался. Как будто многолетнее дело сорвалось. А мне что — я жду. Приехал в Чертаново. А оно в семидесятые, знаете, еще хуже, чем теперь. Нашел ту почту, стою. В три — никого. В три ноль одну никого. В три двадцать — никого. Спрашиваю тетку за стеклом, на меня ничего нету? И называю фамилию того жильца — Михайлов. Как же, говорит, вот посылка. Забегаю за угол почты и давай ботинком ломать бандероль. В Чертаново это до сих пор норма. Раскурочил, смотрю, еще письмо: встретимся на Казанском ипподроме шестого числа в 18:00, я буду в зеленой шляпе с разбитой кефирной бутылкой. Я на вокзал, умоляю очередь. Дайте до Казани, сегодня пятое, а мне шестого ой как надо в Казань. Дают. Несусь домой. Собираюсь: поезд вечером. Выскакиваю из дома, навстречу тот жилец, Михайлов. Еще мрачнее. Не здоровается, курит как дьявол. Приезжаю в Казань, ночь не сплю почти, в карты режусь с попутчиками: выиграл рублей сорок, они аж сошли раньше, хотя поначалу до Казани намеревались. Заезжаю в гостиницу, моюсь, бреюсь, как на праздник. Прибегаю на ипподром, думаю, надо поставить для виду. А лошади-то, лошади... Гнедой Чак-чак, Полумесячный Вихрь, Ротонда Казани, как сейчас помню клички. Двадцать рублей поставил из выигранных ночью. Выиграл восемьдесят. Тут подходит неизвестный тип: плащ, зеленая шляпа и кефир с разбитой бутылки каплет. Он! Вы — Михайлов, спрашивает. А что делать: я уже несколько дней Михайлов. Да, говорю, настоящий Михайлов. Ну, тогда, говорит... Переворачивает бутылку, лезет пальцами в нее, весь изрезался, кровь с кефиром. Внутри пакетик приклеен, отдал мне, а сам растворился среди ставочников. Я к пивному ларьку. Ополоснул пакет пивом, достаю записку: «У обувного на Кузнецком мосту завтра перед закрытием». Лечу самолетом в Москву: на поезд билетов нет. Уже ранним утром дома. Опять Михайлов идет, совсем черный. Я здороваюсь. А он говорит мне: завидую я вам, Семен Яковлевич, вон вы как выглядите, по утрам, я смотрю, бегаετε. Цветете, одним словом. А двумя если, то расцвели уж. Отошел я и думаю, вон оно что... Я ж у него детство краду. Это ж его приключения. Он же должен сейчас пивом пакет ополаскивать и в поезде картежников прищучивать. А сам уже прикидываю, что бы такое на встречу со следующим связным надеть, и...

— Это же прямо ваша книжка, — перебил Вертелов, — которую я иллюстрирую. Только там наши дни. И мальчик двенадцатилетний.

— Ну да, ну да... И приключения посовременнее, — сказал Семен Яковлевич. Он рассказывал еще часа полтора, бросил даже конфеты. Мне стало скучно, он больше говорил с Вертеловым, обращался к нему.

Наконец мы ушли. Вертелов шел взбудораженный.

— Понятно, чего у него унитаз посреди комнаты стоит, — сказал он. Мы поехали на такси: Вертелов хотел скорее сесть за обложку. Он мало спал и к вечеру понедельника уже закончил и позвал меня посмотреть. Разноцветного

мальчика, который держал пишущую машинку, как собаку на поводке, за-
тягивало в черно-серый клокочущий водоворот из календарей, домов, часов,
раскрывшихся портфелей с документами, телефонов, цифр и тому подобных
вещей. Он отправил рисунок в издательство. Там возмутились. Вертелов на-
стоял. Из издательства ушло писателю. В четверг писатель позвонил мне и
попросил Вертелова. Они проговорили с час. Вертелов вернулся улыбаю-
щийся, что бывало редко. Отдал мне телефон.

— Ему понравилось, — сказал он.

— А о чем вы так долго?

— Да все о том же.

В пятницу Вертелову пришли деньги, и он купил много вина и говорил о
других заказах, сравнивая их с этим, писательским. А я вспоминал зеркало с
ушами Микки Мауса в туалете Семена Яковлевича.

Глава шестая

*Когда уходит любовь, возвращается тетка. Как изменилась она и ее
кошка. Англия, Португалия, Россия. Почему Вертелов никого не любит.
Новое предсказание Вертелова.*

Весна показала замерзшие синюшные ноги: еще не привлекательно, но
уже что-то. На схожих ногах к нам вновь приехала тетка Вертелова, Софья
Васильевна.

Как и в тот раз, Вертелов зашел ко мне в комнату.

— Она опять у нас переночует, — сказал он. Я сразу понял, о ком раз-
говор.

— Как быстро, — сказал я.

— Граф бросил ее.

— Как?

— Ничего не знаю. Только это.

Она приехала вечером в четверг. Теперь — поездом. Я никогда не видел,
чтобы человек переменялся так основательно за четыре месяца. На ней было
темно-серое пальто, черные брюки, черный шарф и чернейшее выражение
лица. Кошка в переноске тоже смотрелась не лучше. Время от времени она
принималась мяукать, видно, давно не ела.

— С приездом, — сказал я, — где же ваш чемодан?

— Нет его. Вот — сумка.

Она отдала мне небольшой легкий саквояж. Что там лежало: дюжина
трусов и разбитое сердце? Да и то должно весить больше. Рука Софьи Васи-
льевны была холоднее мартовского воздуха.

Мы взяли такси. Теперь нам пришлось платить самим: тетка даже не
предложила. Позже, дома, мы поняли почему. Всю дорогу в машине, как
туча, висело неловкое молчание. Таксист сунулся к нам с ознакомительной
целью, но мы загасили пламя его общительности. Софья Васильевна сказала,
глядя в окно:

— Молодой человек, нам нечего вам сообщить.

Возле подъезда я оставил Вертелова с теткой, а сам пошел в магазин —
купить кошке хоть что-то. А когда вернулся и наполнил кормом блюдце, она
набросилась на еду, как будто не видела ее с Казани. Вертелов с теткой сиде-
ли на кухне. Она сжимала стакан с чаем.

Вообще, как и всякий влюбленный, тем более брошенный, она выгляде-
ла несколько полудурочно. И ладно ей исполнилось бы двадцать и ее юное
сердечко сп...л бы тридцатилетний байкер, который гонит железного коня по
шоссе разбитых надежд под дождем любви на соседнюю улицу. Спасается от

обстоятельств и просто не может сейчас ей ничего рассказать. Но клянется, что никогда не забудет ее. А она рыдает у себя в комнате, потому что минуту назад отец встал перед дверью и не пустил ее на двор — к нему... Однако Софье Васильевне клонилось под семьдесят.

Вертелов молчал. Я не считал себя вправе спрашивать. Она заговорила сама.

- Дачу, — сказала она, — я куплю дачу.
- Зачем? — спросил Вертелов. — А как же Лиссабон? Лондон?
- Ее глаза налились, как брюхо насосавшегося комара.
- Все теперь его.
- Чье?
- Его...
- Как?
- Он попросил, я отдала.
- Тут не выдержал я.
- Вы отдали дом?
- Два.
- Два дома?
- Два. И деньги.
- Зачем?
- Он попросил.
- А-а...
- Нет, мне не жаль. Мне жаль другого...
- Чего?
- Он ушел...

Вот такими лилипутскими шагами мы выяснили, что казанский граф одурачил ее. Сказал, что у него есть дом под Казанью, квартира в Казани, виноградники в Барселоне, публичный дом в Гааге, недалеко от трибунала. Да, это меньше, чем у нее, но если соединить, обменять, поделить, раскрошить и собрать совком любви, то можно купить ранчо в Аргентине, выносливых скакунов и никогда не работать. В чем-то он обманул ее, в чем-то — нае...л, а в целом — исчез, забрав доверенность на ведение ее дел. Из его квартиры ее выгнали через день. Потом она получила смс от него. И еще месяц жила в Казани в гостинице, куда пускали с животными. Понятно, она отдала ему не все деньги, но теперь она относилась к ним с остервенелой подозрительностью, граничащей с жадностью.

- Что вы будете делать на даче? — спросил я.
- Тлеть.
- А где она будет?
- Хочу поближе к Ясной Поляне. Я любила Льва Николаевича. Может, быть, если я сумею договориться, меня кинут с ним рядом.
- А сейчас?
- Что — сейчас?
- Куда вы поедете? Завтра?
- Туда и поеду.

Никаких винных посиделок в этот раз не случилось. Про костюм она Вертелова не спросила, деньги не швыряла. Наутро мы посадили ее в экспресс, и она уехала. А мы с Вертеловым после моей работы весь вечер говорили о ней и неудачных союзах. Тут я впервые рассмотрел в нем безразличие к ближним, которому и позавидовал, и удивился.

- Сама виновата, — сказал он. — Куда было лезть?
- Она же не знала.
- Да брось. Для таких случаев и придуман телевизор. Неужели в этом возрасте она рассчитывала, что казанский граф увезет ее в Аргентину. Это даже звучит как... шлюха выронила х...
- Тебе не жалко ее?
- Нет.

— Она же твоя...

— Да знаю, знаю. На этом основании она не стала мне ближе. У меня где-то по свету скитается двоюродная сестра, которую я видел раз шесть в жизни. Но мои родители постоянно твердят мне, что нам нужно общаться, потому что это — моя кровь. В смысле, родная. А я думаю, что не это определяет. Зачем насильно ошиваться с какими-то людьми только из-за того, что вы — родня?

Вот именно тут я ему позавидовал. Я постоянно нацеплял на себя все тягости полуродных людей, по полчаса выслушивал философские озарения рыночных торговцев, с которыми мой отец четырнадцать лет назад прокатился в одном купе, не умел говорить «денег нет» безумным старухам на улице, пахнущим, как поклонник зимнего закаливания мочой.

— Да, да, — сказал я, — крутовато, наверное, в семьдесят влюбиться в такого гондона.

Вертелов задумался.

— Он же не виноват, что есть люди вроде нее. Столько разговоров кругом о величии, о фантастических выражах минувшего образования, что странно, когда эти же воспитанные, остро отточенные люди попадают на казанского графа или орут на полуслеплого тунисца в недорогом отеле.

Тут задумался я.

— Она же полюбила его... Я не оправдываю, но...

— Да, это беда... Я тоже когда-то... Это я сейчас так красиво расписываю, а сам падал к настолько бесцветным ногам... Но... Хорошо, что это закончилось. Прошло время. Сейчас даже влюбиться толком трудно. Везде препятствия.

— Какие?

— Это же придется что-то говорить, выяснять. Какое у нее любимое варенье, что она делает по вечерам. А вдруг она любит клубничное. И еще, не дай бог, личность. Терпимая к недостаткам и особенностям других. Защитник чего-нибудь. Чувств червей, например... Хотя — с чего я взял, что это будет она: костюмы теперь сидят одинаково.

Он был сильно пьян.

— Литры усредненного медицинского спирта текут по улице и горят. И в этом синеватом пламени горят люди. Им не больно: они сами подожгли себя. Больно должно быть тем, кто идет рядом, кто выбрался из огня на тротуар. Их сразу тащат обратно: за рукава, за полы пальто. Как можно не гореть, когда все горят. Не во что влюбиться, кроме ужасного запаха горящего спирта. А потом она подходит к тебе и говорит: у меня задержка уже пять недель. А у вас никогда не было свидания.

Он выпил еще и как-то совсем согнулся, забредил в пол. Оказалось, что на нём он и заснул той ночью, прямо на ковре, и проснулся со щекой, как бельгийская вафля. Я нашел его на кухне, он пил коньяк с виноградным соком, лимоном и льдом и уверенно направлялся во вчерашнее состояние. Я вчера выпил немного, потому что сегодня мы собирались подстричься. Вертелов сказал:

— Не, поношу еще.

Хотя со спины он смотрелся совсем по-священнически.

Я уже оделся, когда он окликнул меня из кухни. Я шагнул в коридор и спросил, что.

— Слушай, — сказал он, — она же говорила про дачу. Я чувствую, сейчас эта карусель упадет на нас. Наверняка родственники попросят меня... Она в таком виде сейчас, что у нее просто заберут деньги и уйдут. Я представляю... Придется ездить, заниматься этой херней. И еще неизвестно, что может случиться.

На этот раз он оказался совершенно прав.

Глава седьмая

Нашенская копия. Вирусные котлеты. Инфекция здесь, инфекция там. Надежды, которые не оправдались. Вертелов возвращается злой. Вертелов предлагает рискованное путешествие.

Японское шоу, которое Вертелов смотрел во время отпуска, действительно пересняли во многих странах. Выпуски появлялись почти одновременно и от раза к разу скучнели. Во Франции нельзя было показывать одно, в США другое, весь японский запал угас. Российский вариант, как обычно, оказался громким, но дешевым и пустым. Я говорю о нем исключительно из-за событий, которые он породил.

Чтобы не оскорблять ученую общественность, взяли четверых совершенно бесполезных преподавателей из воронежского колледжа, где они держались даже не на первых ролях. А за женскую панк-группу выдали хамоватых дочерей провинциальных чиновников. Под конец они все передружились, отыскивали в разговоре общих знакомых, и прощальный ужин у них был вполне приличный: никаких жареных кошек или сырой рыбы. Нажарили котлет, сделали килограмма четыре пюре и разошлись. И клубок покатился по комнатам, городам и странам, оставляя за собой бесконечную заразную нить.

Котлеты накрутили из свинины пополам с кониной. Кони были полудикие, как потом выяснилось, из бескультурных районов, которые еще встречаются в России. Они питались чем попало, пили из озер, которыми побрезговали бы байкеры. Впоследствии появилось множество новостей, сообщающих о том, что даже клички у этих коней были вроде: Синегнойный, Стафилококк и подобные. Совсем не как из рассказа детского писателя Семена Яковлевича.

Эти восемь человек разъехались по родным домам. Они обнимались, ели, совокуплялись, принимали репортеров, входили в аудиторию и церковь. Уже через две недели в их городах полыхала эпидемия. Больше всего досталось Курску: оттуда были двое. Город пал.

Болезнь являла собой настолько необузданную смесь, что поначалу врачи говорили о нескольких разных недугах: от гриппа до педикулеза. Вирус имел полдюжины возможностей, если его не пускали в рот, он шел другим путем. Инкубационный период длился всего два дня, после чего начиналось. Чесались и краснели глаза, гремел кашель, бесновалась температура, то поднимаясь на вершину градусника, то сползая в его бездну. Но самый позорный, выпуклый, отъявленный спорт открывался вместе с анальным зудом. Ему нечего было противопоставить. Словно заживающая рана или укус слепня — манило заветное отверстие. И болеющие покорялись: запускали руку в штаны и юбки и истоиво чесали...

Поначалу многие смеялись. Эпидемия крушила небольшие города и кружила далеко от Москвы, Питера. Некоторые российские комики, впитавшие творческое бессилие с молоком российских рэперов, успели пошутить об этом со сцены. «Все же видели людей в регионах с рукой в жопе?» — спрашивали эти несчастные, не подозревая, что вскоре ладони доброй четверти из них устремятся в том же направлении.

Да, новости... Они нахлынули такой волной, что защититься и не утонуть было трудно. Сложнее всего было различить, чему верить. Кто-то паниковал, но большинство в открытую смеялось. Все протерли глаза, когда Москва уже стала увязать. Естественно, это попытались скрыть, как раздроченное здание за фальшивым изображением времен его процветания. На работе у меня появились ретрансляторы, которые наутро выкладывали все, что видели вчера по телевизору. Они успокаивали всех, говорили, что ничего нет, что зудящие жопы вызывают только смех, что правительство не допустит. Но как-то утром я поздоровался с одним из них и прочел у него на лице неодолимое желание скорее высвободить руку, чтобы почесаться. Я побежал в туалет и

мыл руки минуты две. В обед нам сказали, что с завтрашнего дня все остаются дома до дальнейших инструкций.

Мы с Вертеловым не так уж и следили за происходящим, особенно он и особенно поначалу. Он каждые выходные мотался в Тульскую область устраивать теткинны дела с дачей, возвращаясь полутрупом. Даже обязательное субботнее вино мы забросили. Вертелов уезжал утром в субботу, и только в воскресенье вечером я открывал ему на звонок. Он скудно ел и ложился спать. К моменту, когда нас отправили с работы по домам, оказалось, что в каждой стране мира уже есть пострадавшие от безымянной пока болезни. Уже набралось с пять тысяч умерших. Неделью спустя мы открыли новости и узнали, что жопу чешет весь мир.

В детстве я приобрел себе корь. Она походила на семейную жизнь унылой пары: нельзя читать, нельзя ходить, нельзя приближаться к яркому, только лежи и слушай радио. Теперь эти требования ужесточились, умножились и накрыли всю Землю, которая из современной планеты вмиг превратилась в плоскую безжизненную пустыню. Всех обязали носить медицинские или им подобные маски. Запретили здороваться и болтать на улице. Отменили случайные сексуальные контакты. Тетя Сара с окраины Петах-Тиквы не могла уже просто так остановиться у дома свояченицы Геулы, поговорить о ценах на нут. Джампаоло из Турина не имел права выпить пьемонтского вина с красавицей Филоменой, а потом любить ее семь минут в отеле «Пьяцца Вагина». Феде из Северска, к его ужасу, закрыли не только город, но и дорогу в школу. Человечество село за домашнюю решетку.

В первые дни отовсюду слышался довольный смех. Мы живы, мы не ходим на ненавистную работу, мясники и булочники — ходят, граппа, водка, ракия и шнапс продаются свободно, интернет набит фильмами и концертами, что еще нужно? Даже деньги еще лежат на карточках, можно бесконечно заставлять курьеров возить тебе кровати и полуфабрикаты. Вот они — заслуженные каникулы. Но тут прекрасные картины развернулись к людям пыльными холстами. Оказалось, что и с обратной стороны кое-что изображено: а именно — их родные и близкие, принявшие самые гадкие и захватнические позы.

«Любимая, — стыдливо говорит розовощекий влюбленный, — я хочу держать тебя за руку, каждую минуту проводить рядом с тобой, угадывать твои желания, стать твоим воздухом...» Скорее! Скорее добавь: «На выходные» или: «До завтра». Иначе пандемия окунет тебя в твои мечты. Поздно... Получил? Сидишь субботним вечером после ссоры с женой, а на расстоянии вытянутого джойстика беснуется твой личный второклассник. И гречневый ужин уже не лезет в горло, которое пять минут назад выплевывало проклятия...

Для нас с Вертеловым изменилось не многое. Он так же сидел в комнате, выполняя заказы. Я ходил в ближайший магазин. Мне заплатили за месяц и остались должны еще за один. Теткина дача была готова: в прошедшее воскресенье Вертелов вернулся совершенно пьяный и счастливый, хотя такси из-под Тулы стоило ему четыре тысячи. Но в электричках становилось небезопасно: несмотря на все запреты, больные продолжали ездить на дачи и просто по больным делам. Даже подраться с ними никто не решался: кашлять, чесаться и умирать никому не хотелось.

Мы старались не заглядывать далеко в будущее, не торопить его приход, но оно все равно наступило. Месяц в заточении проскочил как по мылу. У вируса появилось имя: «канус-2019». В темноте краснели его глаза, мертвую тишину распарывал кашель, а на голове косоуго сидела корона анального зуда. С ним, с зудом, вообще получилось увлекательно. По статистике, он означал легкую форму болезни, 92% из тех, у кого он начинался, выздоравливали. Однако при этом — зуд не унимался около двадцати дней.

Режим за окном свирепел. Нельзя было гулять без документов, перчаток и медицинских масок. Цена на последние горделиво расправилась, расцвела. Появились несогласные. Эти в основном молодые люди надевали на голову

белые трусы с прорезанными глазами и так ходили в магазин или аптеку, называя себя «исподники России». Через каких-то десятых знакомых они вышли на Вертелова, и он нарисовал им эмблему: коричневый сморщенный цветок, растущий на куче мусора. За двухчасовую работу «исподники» заплатили десять тысяч.

По улицам и паркам ездили хищные полицейские машины, которые как будто только и ждали, когда можно выпорхнуть из укрытия. Они были наполнены ошетилившимися сотрудниками, в один миг развернувшими полупиратские кампании против зашуганного населения. Как-то Вертелов без маски вышел купить сигарет, и его остановил пеший отряд, числом равный трем юным сотрудникам полиции. Десять минут они умоляли его заплатить хоть какой-то штраф. В конце концов Вертелов потянулся к задней части себя, делая вид, что собирается чесать. Полицейские исчезли, Вертелов вернулся с сигаретами злой. Схватил маску.

— Они же не помогают. Не помогают.

У нас обоих под масками раздражались лица, а дыхание давалось не особенно хорошо. Вертелов часто повторял:

— Людям такой шанс выписали: держаться подальше друг от друга, а они все равно липнут.

Хоть как-то выручал май: дождливый, холодный, грязный. Смотреть за окно было все равно что опустить голову в кастрюлю с окрошкой на разбавленном гусином помете. И в один день Вертелов не выдержал.

— Поедем отсюда, — сказал он, — пока выпускают. Сегодня нельзя без масок, завтра — без того, чтобы передернуть префекту района, к которому надо записаться за два дня, а если он устал, подождать еще три. Я не особо часто гуляющий человек, но я человек, а не крот из Красной книги, которому ничего нельзя. Поедем.

— Куда? — спросил я. — Я с севера, ты с юга. Поезда уже не ходят. Мы можем доехать только до границы Московской области. А что там? Снимем другую квартиру.

— Поедем на дачу.

— К твоей тетке?

— Да.

— А она?

— Она сидит в Туле. Сейчас вряд ли куда-то пойдет. Место там грустное, но с забором. Можно гулять. В километре — магазин. Сельский, конечно. Я пытался купить там вина в последний раз, пока ждал такси. Спросил, есть ли сухое. Сказали, что есть красное, а уж какое оно там...

— У тебя есть ключи?

— Остались. У председателя. В эти выходные должны были привезти мебель, плитку, ковры. Я попросил его открыть грузчикам, чтобы ради этого не переться туда. Приедем, расставим все. Вода есть, свет есть.

— А деньги? У меня немного. Нам так и не дают работы.

— У меня тоже, но заказы еще тлеют. Протянем. Упакую компьютер, возьмем чай, кофе, немного трусов, что еще там у нас скоропортящееся. В самом крайнем случае съезжу к тетке, скажу, что нужны деньги на членские взносы или что-то около. Поехали.

— Мне кажется, — сказал я, — слишком просто все. Не бывает так. И потом — опять четыре тысячи на такси?

— Я смотрел, — ответил он, — сейчас три двести. Тогда воскресенье было. А сейчас нет.

Собираться было легко, хотя меня и грызло неприятное промозглое чувство. Я взял ноутбук, белье, футболки и еще всякого необходимого по чуть-чуть. У нас получилось два рюкзака и одна большая сумка. Жаль было оплаты за следующий месяц, но, когда Вертелову пришло сообщение, что нас ожидает Далшот на красном «рено», все неприятное упорхнуло, а осталось лишь предвкушение какого-никакого путешествия.

— На «рено», — сказал Вертелов, — как французы. Надо взять в дорогу коньяк и шампанское. Я с этим «канусом» забыл, когда пил.

Мы закрыли дверь и спустились. Лицо Далшота выражало самое искреннее ожидание.

Глава восьмая

Жизнь за окном автомобиля. Вертелов объясняет что-то об искусстве. Дачное товарищество с загадочным названием. Пустой холодный дом. Первая ночь. Тачка с едой и хозяйственными необходимостями.

Полуголые дети в грязи, переломленные пополам березы, ржавые остовы машин, отчаянные куры, заброшенные дома, худые обреченные коровы, магазины «Лариса» и «День и ночь», рваные засаленные майки, нечесанные похмельные головы, длинные отцовские кожаные куртки на подростках, цветастые старообрядческие платки — за окном «рено», ставшего на четыре часа нашим другом, лежала огромная, неповоротливая, многовековая и немолодая Область. Мы честно признались водителю, что никаких пропусков у нас нет, и он вез нас самыми глухими местами. Мы проезжали мрачные Чесноковки, фантастические Макроновки, не вытравливаемые Ленинские и село Ржавое. День был ветреный, и нам под колеса горстями швыряло листья, птиц и детей. Вертелов выпил шампанского и коньяка и возбужденно говорил:

— Я хочу быть режиссером и снимать все это. Такой певец илистого дна. Ты посмотри: женщина бьет пьяного полотенцем: сейчас только час дня. Он в шесть раз больше ее, а она лупит. Скоро все режиссеры возьмут свои съемочные группы, если сумеют собрать, и поедут сюда. Кино сейчас устремлено в прошлое, а тут оно — настоящее. Ты видел, сейчас в героях ходят глуповатые негры, которые своей честностью побеждают любого холеного выпускника Итона. За это им доверяют роли Питера Пена и доктора Ватсона. Когда искусство успело так задолжать рабовладельческому строю? И почему выбран такой тягостный способ возвращать этот мнимый долг? И главное — взяли самое тонкое и уязвимое. «Давайте перестанем пинать мексиканцев и узбеков в полицейских участках. Нет, давайте лучше сделаем их героями сериалов и книг». Теперь, чтобы снять фильм с сексом и курением, надо пройти через говно и долго извиняться, говоря, что «это же про восьмидесятые, тогда так было. Плюс основано на нереальных событиях, проявите понимание».

Наш водитель не обращал никакого внимания на разговор, ему приходилось маневрировать в грязи и одновременно искать поворот на село Осенние Кусты. За ним лежало нужное нам дачное товарищество.

— Давай придумаем ругательство, которое никого не оскорбит. Когда в конце фильма самый гондон говорит блестящему от крови герою: «Ты —....»

— «Ты» — уже оскорбительно, — сказал я, — кто дал право так фамильярно...

— Ладно. Без «ты». Просто эпитет и существительное.

— Ублюдок!

— Нельзя. Фонд ублюдков сразу пишет гневное письмо.

— Слабак!

— Анорексика неширокой толпой выходят с пикетом.

— Да что он за злодей, ему же плевать.

— Ну, не настолько же он злой. Шантаж, подкуп должностных лиц, наркотический трафик, подпольные ставки, но в остальном-то он — член общества.

— Приехали, — сказал водитель, — дальше не могу ехать, там низина, все залило.

— Везде низина, — сказал Вертелов. Он расплатился, мы взяли сумку, надели рюкзаки на подвыпившие плечи. Спустились, поднялись и встали перед шлагбаумом. На нем висела табличка: «Дачное товарищество “Результат”».

— Вот и результат, — сказал Вертелов.

Мы прошли мимо спящей собаки и пошли на участок № 78. Он был недалеко.

Вертелов уже приезжал сюда и вел меня, как лидер. Я оглядывал окрестности. Дачи как дачи, только оглушительно старые. Никаких домов в скандинавском стиле или современных материалов. Только раннесоветские деревянные постройки. Мы зашли к председателю. Его участок, густо засаженный вишневыми деревьями и смородиной, прикорнул у леса.

— А мебели не было, — сказал он, возвращая ключи.

— Как...

— Совсем.

Вертелов протрезвел. Председателю было под восемьдесят: едва ли он шутил. Мы пошли к дому. Он сиял издалека.

— Кто заказал этот цвет? — спросил я.

— Я, — ответил Вертелов, — он значился как «теплая замша». И когда они красили, было похоже...

Сейчас дом лучился апельсиновым теплом. На фоне здешних заморышей он стоял двухэтажным красавцем. Вокруг него ютились даже не дома — строения: серые, коричневые, покосившиеся, чахлые. Правда, наш участок весь зарос высокой травой, которая начиналась метр спустя от стены дома. И забор был хоть и новый, но прозрачный, сетчатый. Мы подошли к калитке, я отметил прозрачность забора.

— На этот еле уговорили ее, — сказал Вертелов, — она совсем стала скупая. Каждую копейку согласовывала. И деньги сначала высылала моей матери, а потом их переводили мне. Она теперь не верит мужчинам. На полгода пораньше бы, да?

Он открыл калитку. Сквозь траву, как неудачливые путешественники, мы пробрались к дому. Вертелов открыл тоненькую деревянную дверь.

— Мать... — сказали мы одновременно, войдя внутрь.

Дом был феноменально пуст. Никакой мебели, никакой посуды, ни огрызка ткани на окнах. Гостиная, кухня и ванная внизу и три комнаты наверху. Только в кухне блестела раковина, и везде висели лампочки на черных перекрученных проводах.

— Смотри, — сказал я.

На кухне, на подоконнике, стояла коробка с электрическим чайником и бантом — подарок от застройщика. Вертелов сел на пол у раковины.

— Холодный, — сказал он.

Мы разложили вещи, Вертелов поставил компьютер.

— Как мне рисовать? Лежа? — спросил он. Был ли смысл мне напоминать сейчас, что идеей приехать сюда заразил меня он. Хотя он, не сомневаюсь, мне напомнил бы. Он вообще вдруг стал капризным.

— Как мы будем спать? Что мы будем есть? Как будем мыться?

К тому же он ходил по дому, не снимая ботинок. А когда ему хотелось в туалет, он выходил, оставляя дверь открытой, забирался в центр травы и кричал мне оттуда:

— Просто абзац. Мы здесь не выживем.

К счастью, мы взяли кружки. Мы допили коньяк, потом, содрогаясь от холода, прикончили шампанское, вскипятили чайник, пили чай и ели белый хлеб с колбасой. На утро мы ничего не оставили. Недостаточно пьяные, замерзшие, мы надели на себя все теплое и легли рядом в самой маленькой комнате на втором этаже. Вертелов придумал вскипятить там открытый чайник. Стало теплее, влажно, а потом — еще холоднее. Мы укрылись рубашками и уснули.

Я проснулся в шесть утра: Вертелов стянул мою рубашку, и лицо и руки у меня отваливались. Ноги же я как будто потерял в финскую.

Я умылся ледяной водой и почистил зубы на кухне. Зеркала не висело, и на обмороженное лицо я полюбоваться не смог. Стоя у подоконника, я выпил две кружки горячего чаю. Он был как лава, и я надеялся, что мои внутренние Помпеи выживут. Очень хотелось есть. Вчерашний завтрак из яичницы и багета с маслом казался королевским. А ведь потом еще был кофе с молоком... Я вышел на улицу.

С крыльца я видел далеко. Ничего не изменилось: дачи, дачи, мрачные дачи, насколько добивал глаз. И лес. И поле. И еще другие дачи вдалеке. Где же магазин... И где же мебель, которую я мысленно уже называл «нашей». Я достал из кармана телефон и нашел сайты компаний-«должников».

— Пока не доставляем, сообщим дополнительно, — ответили мне трижды.

Несмотря на семь утра, движение на дачах уже началось. Ходили преимущественно пожилые, видно, им не спалось. Прошел дед с удочкой. Председатель. Второй дед с удочкой. Две старухи с пучками крапивы. Эти ползли еле-еле и разговаривали.

— ...внук прошлам летам. Ничаго не ел. Грибов нажарила, не ест. Оладий нажарила, не ест. Картошки нажарила, не ест.

— Можат, он у тебя вареное любит?

— Ага. Пельменев наварила — не ест. Щей наварила — не ест. Сосиски — туда же.

Я сходил с ума на своем голодном крыльце... В восемь я разбудил Вертелова.

— Не помнишь, во сколько открывается магазин?

Он мутно посмотрел на меня.

— Ты спал в моей комнате? А, да... Нет, не помню.

И снова укутался и уснул. Я просидел на крыльце еще полчаса и надумал идти. На въезде уже не спал сторож, старый, как и все тут. Он подсказал мне, где магазин. Я пошел по асфальтированной дороге. Голод уже не так донимал меня, возможно, он напал на какой-нибудь мой орган, послабее других, отделил от стада и теперь доедал его. Через пятнадцать минут я дошел.

У меня лежали деньги на карточке, а еще несколько купюр — в кармане джинсов. Я решил потратить их, а большую сумму приберечь. Но тут же залез в отложенное.

Магазинов было два: продуктовый и хозяйственный. Я купил еды и пошел за остальным. Купил складной мангал, два складных рыбацких стула, шампуры, сухих дров, топор, кастрюлю, резиновые коврики, верблюжье одеяло, мыло, губки, средство для мытья посуды и на финишной прямой еще — тачку. В ней оставалось еще много места, и я набрал мелочи вроде спичек и первостепенной кухонной утвари. Когда я вернулся на дачу, Вертелов уже рисовал, лежа на полу.

— Что там завтрак? — спросил он.

Не помню, чтобы я готовил еду на костре. Да, лет в двенадцать промелькнул хлеб на веточках, но в двенадцать и не такое мелькало. А тут целый завтрак. Я разжег огонь в мангале, положил на него шампуры и поставил кастрюлю с водой. Кое-как сварились овсянка.

— Сыпь больше, есть хочется, — говорил Вертелов.

В вертеловской кофеварке я сварил кофе. На улице было теплее, чем в доме, и мы позавтракали снаружи.

— Буду готовить обед, — сказал я, когда мы закончили, — с одной кастрюлей это, наверное, к вечеру.

Вертелов ушел рисовать, а я отправился с тачкой и топором в лес. Гибель от голода и холода отодвинулась и как будто смотрела на нас с дальнего пригорка. Вскоре она пропала совсем: прогноз погоды обещал потепление уже на следующей неделе.

Глава девятая

Наш туалет. Судьба лопаты и тачки. Старые дачи, старые люди. Что случилось с родней Черепанова. Имена девяти раков. Тайна керамической комнаты. Журчание Вертелова. Тачка за домом.

За пару дней все наладилось. Мы даже помылись, вскипятив воду в чайнике и разбавляя ее в кастрюле. Пока один бегал в дом и на улицу, второй стоял, синая, голый в траве. Вертелов сильно изманделся. Когда я готовил, ходил за спиртным, он еще терпел, но как только трудности прикасались к его рукам, сразу злился, как старуха, не имеющая на то никакой причины. В городе этого за ним не водилось. Но в городе ему и не приходилось использовать в качестве туалета дальний угол пустынного участка. Мы выбрали его из-за стены малиновых кустов, росших с той стороны забора, у соседа. Ямку мы, конечно, вырыли, но вонь неумолимо окружала это место. Я все ждал, когда сосед возмутится.

Я специально ходил за лопатой и, когда нес ее из магазина, думал о ней, о ее судьбе. Наверное, неприятно узнать, что тебя создали, чтобы копать туалетную яму. Твоих сестер разобрали на посадки сливовых деревьев или туй, на строительство заборов. А ты выкопаешь одну-единственную яму, которую засрут. Скорее бы состариться, чтобы штык слетел с черенка, а черенок поставили подпирать тяжелую молодую ветку груши «Ровесница Брянска». То ли дело тачка, с которой я ходил за продуктами. В нее хоть женщину, хоть закуску. Одно железо, а какие разные судьбы.

Сосед не пришел, но пришел председатель. Благодаря ему, мы и познакомились с дачным товариществом «Результат». За несколько дней, что мы его не видели, он то ли успел оглохнуть, то ли вспомнил об этом счастливым навыке стариков — слышать ровно то, что хочется.

— Ну, молодежь, открывайте, — крикнул он из-за калитки. Мы на крыльце ели привычную овсянку, которую Вертелов начал потихоньку проклинать.

— Б... — сказал он, не шевеля губами. Я открыл.

— Вот, пришел знакомиться. Вы же у нас единственная молодежь.

Мы назвали себя. Председатель пожал нам руки:

— Компасов. Игнат Федорович.

— Не боитесь? — спросил я, имея в виду рукопожатие. — Все-таки «канус» бушует.

— Не-ет, чего мне бояться. У нас такого нет, нас не берет. Это молодым надо: все модное, современное, а у нас тут — тина и черепаха Тортилла в кресле плавают. Тут у нас есть старики, которые с Берией в один год родились.

— Им сейчас сто двадцать? — спросил я.

— Так что вот на вас у нас вся надежда. Вы — наше будущее. Для вас мы эту землю берегли. Если кому огород вскопать или дров наколоть, это уж мы теперь сразу к вам.

— Я работаю, — громко сказал Вертелов, — допоздна.

— Сразу к вам, — повторил председатель и похлопал меня по плечу. Я понял, что завтрак нам не закончить, и достал сигареты.

— Хотите? — предложил я.

— Новомодные, — сказал председатель, — давно таких не куривали. Помню, трофейные у меня долго лежали. Немецкие-то. Не курил их, не курил, а потом дружок ко мне приехал, из лагеря освободился. Есть, говорит, не так хочу, как курить. Желательно что-нибудь немецкое. Ну, мы и... всю пачку за вечер. С тех пор ни разу: только наше! Святое!

— Да это наши, — сказал я.

— Гляди ты! Молодцы! И тут козлов обскакали!

Он взял четыре сигареты и с удовольствием закурил одну из них.

— Прежде чем работать, поесть надо, — сказал он, — сегодня приходите на обед.

- Куда?
- К Черепанову, Пал Палычу. Он раков разводит, будем с пивом есть их. Только принесите пива и...
- Раков? — спросил Вертелов.
- ...папирос этих ваших.
- А где он выращивает раков? — спросил я.
- Их трое было, Черепановых-то. Еще Юрий Палыч и Станислав Палыч. Три участка рядом. У Пал Палыча-то никого, а у братьев — жены, дети, даже один внук уже. И вот все они разом умерли.
- Как?
- Угорели. Осенью дело было, топили печку. Сезон закрывали, собирались назавтра в Тулу ехать. Звали Пал Палыча, он не пошел. А утром приходит: девять трупов, даже внук. Участки Пал Палычу достались. Он дома снес, пруд организовал, очистные сооружения, самок икрыных закинул, и уже через пять лет мы с ним попили пива с первой партией раков.
- А трупы? — спросил Вертелов.
- Так что вот вы, значит, за пивом, а часа в два я за вами зайду.
- Ты пойдешь? — спросил я, когда председатель ушел.
- А вдруг он их там и утопил. И эти раки их жрали и жирели, — сказал Вертелов. Я содрогнулся.
- Ну, брось.
- Нужно сходить. Во-первых, у него, наверное, есть кресла или хоть стулья со спинками. Во-вторых, туалет. Может, под каким-то предлогом помыться удастся.
- А сколько пива брать?
- Ты что — маленький?

В магазине меня уже запомнили и называли «парень на тачке». А сегодня, наверное, я превратился в «алкаша на тачке»: я взял сорок бутылок пива и пять пачек сигарет. Я просто не мог представить, что кто-то пойдет за добавкой, если пиво кончится. К тому же бутылочки уже давно стали меньше: из каждой производителя крали граммов по пятьдесят. Вертелов спросил:

- Ты е...ся?
- Я развернул перед ним свою дорожно-бутылочную карту. Он согласился. Без десяти два появился председатель.
- Постепенно я вас со всеми тут познакомлю, — сказал он, пока мы шли с тачкой к заводчику раков.
- Да мы, может, и не надолго, — сказал Вертелов.
- Мария Семеновна — чудесная женщина. Самая молодая у нас, только только шестьдесят восемь стукнуло. Или вот Конкина Светлана Павловна, все про трамваи знает, столько лет в Туле их водила: и пустые, и переполненные, эх.
- Он перечислял, пока не увидел забор из облезлого зеленого штaketника.
- Вот и Пал Палыч, — сказал он, хотя это был лишь забор.
- Я еле пролез с тачкой в калитку.
- Узковато, — сказал я. Председатель по-детски хихикнул.
- Скажите Пал Палычу, ему понравится.
- Я понял почему уже позже, в доме.

Дом был совсем старый, но еще крепкий, набитый мебелью, отжившей городской срок. Но у него было одно преимущество перед нашим: в углу террасы стояла печка. И она была жарко натоплена. Мы все пережали необходимые руки. Пал Палыч выглядел, как и председатель: те же грубые штаны, тот же свитер, только зеленый, а не коричневый. Как будто они прожили жизни, копируя самих себя, и вот теперь, достигнув полного сходства, немного изменили одежду и внешность, чтобы не помешаться.

— Молодежь! — воскликнул Пал Палыч. Нас тут принимали как семи-восьмилетних. — Пойдем, поможете.

Председатель сел в продавленное гигантское кресло у печки, а мы вышли и пошли в сарай. За сараем в заборе зияла овальная дыра, за которой мы увидели огромный пруд.

— Вот тут и плещутся мои ребятишки, — с гордостью сказал Пал Палыч и добавил в сторону пруда: — Сейчас попробуем ваших братишек.

В сарае на газовой плите стояла многолитровая кастрюля. Пахло укропом.

— Это только первая партия, — сказал хозяин, — десять кило сегодня скушаем.

И начал закидывать раков из корыта.

— Олег, Станислав, Ильдар, Марина, Лариса, Люда, Юра, Лиза, Сережка. Вертелов заглянул в корыто, там копошилось миллиарда два раков.

— Вы всех знаете? — спросил он.

— Только этих, только этих.

Раки смело и упрямо шли в кипяток.

— Засекайте, — сказал Пал Палыч, — пойдем покурим.

Мы вышли.

— Не забудьте, напомните мне, покажу вам свою коллекцию. Поедим, выпьем, и покажу.

— А что вы собираете?

— Потом, потом, все потом.

Разговаривать было еще не о чем, поэтому я немного рассказал про тетку, про дом, как будто это все принадлежало мне. Наконец прошло пятнадцать минут. Пал Палыч взял шумовку с длинной ручкой и стал метать красных раков в блюдо с ручками.

— Скорее, — сказал он, — понесли.

На террасе председатель расставил кружки, тарелки.

— А-а-а-а, вот они, — поприветствовал он раков.

Кружки были глиняные, уродливые. Они вмещали сразу две бутылки. Мы стукнулись кружками и сделали по большому глотку. Следующие пятнадцать минут мы ели и пили. После нашего дома эта старинная хижина казалась хорошей гостиницей. Председатель сидел в кресле, Пал Палыч на венском стуле с подушкой, а нам досталась лавка с такими же подушками. Еду и посуду можно было ставить на стол. Мы опустошили кружки и наполнили их снова. Мне стало слегка неуютно от мысли, что бутылок теперь всего двадцать четыре. Вечер же, судя по ракам, еще толком и не начался. Пал Палыч с председателем ушли варить вторую партию. Вернулись. Мы поели еще. Печка грела лучше любой женщины.

Старики раскраснелись. Мы почти не разговаривали, изредка кто-то говорил «ра-а-аки» или вроде того. После третьей партии я встал и в ожидании четвертой подошел к стене, где висели фотографии.

— Я не могу больше, — сказал Вертелов, — у меня сейчас рак начнется.

Председатель и Пал Палыч вернулись с новой горой.

— А, фотографии смотришь, — сказал Пал Палыч, — это вот все мои родственники.

— Которые угорели?

— Да, вы уже знаете... Все тут: Олег, Станислав, Ильдар, Марина, Лариса, Люда, Юра, Лиза, Сережка. Садитесь, ешьте.

— Может, по сигарете? — предложил Вертелов.

— Ну кто рачий дух куревом оскверняет.

— А вы говорили про вашу коллекцию, — вспомнил я.

— А-а-а, ну пошли...

Председатель остался есть раков.

Под лестницей была неприметная дверь, сантиметров на тридцать ниже среднего человеческого роста.

— Чтобы поклониться, — объяснил Пал Палыч.

Мы попали в небольшое помещение, скажем, три на четыре, со сладковатым запахом. Одну стену занимал длинный массивный сервант. Еще стоял стол, на стенах висели полки, а в углу притулилось крохотное креслице. Все полки, сервант, стол занимали предметы коллекции Пал Палыча. Многие были приклеены к стенам. Одной формы, одного размера, только отличные по цвету: розовые, желтоватые, слоновой кости, голубые, но в основном — белые.

— Это же я правильно понимаю... — сказал я.

— Ага. Салфетницы.

Мы ничего не понимали. Пухлые керамические глазурованные салфетницы, похожие первая на вторую и на все остальные.

— Они какие-то необычные? — спросил Вертелов. — Вот эта откуда?

Он показал на первую попавшуюся.

— О, эта... Эта из нашего хозяйственного, вы, наверное, были там.

— А вот эта?

— О-о. Оттуда же. Они все оттуда. Приезжает новая партия, я покупаю, приезжает, покупаю. И так уже десять лет. И так будет всегда...

Нам показалось, что он немного возбудился. Он облизнул раково-пивные губы, глаза забегали.

— А зачем вы их собираете? — наконец спросил Вертелов.

Пал Палыч подошел к столу и как-то нерешительно, словно извиняясь, взял одну салфетницу. По нему проскочила волна.

— Я... — сказал он, — мужчина одинокий. Ничего такого давным-давно не ведаю. Вроде рака, который под берег забился и подглядыванием промышляет. А эти (он уважительно окинул головой салфетницы)... в общем, смотрите...

Он перевернул салфетницу так, что мы видели ее сверху. Потом опустил руку, и салфетница оказалась на уровне молнии его брюк. Потом, не отводя руки, начал разворачивать все салфетницы в одну сторону, даже те, что на стене: оказалось, они аккуратно привинчены.

— Теперь садитесь, — сказал он и усадил меня в кресло.

Тут я все понял. На что похожи перевернутые салфетницы, откуда здесь сладковатый застоявшийся запах и как Пал Палыч сражается с одиночеством. Стены этого керамического мастурбационного кабинета поехали на меня. Запах у кресла, где я сидел, держался еще влиятельнее, острее. Я встал и сказал:

— Хорошая коллекция.

Пал Палыч обрадовался.

— Да? Да? — не верил он. — Правда? Да я тогда... Десять лет... Да мы же...

Он полез в сервант и достал поллитровую бутылку с мутной жидкостью.

— Что это? — испугался я.

— Хитиновка. Это я сам гоню. На раковых панцирях. Для крепости... Сейчас мы с вами... Эх... Правда? Понравилось? Ну, молодые люди, ну, молодцы...

— Вам бы «салфетовку» гнать, — подсказал Вертелов. — Пойдемте там выпьем. Зачем тут? В святом-то месте...

— Молодцы, молодцы! Ах, каких мальчиков прислали. А я-то думал, мертва земля русская, а нет. «Салфетовку»? Ха, еще, может, и буду гнать.

Он развернул все салфетницы обратно, и мы вышли на свежий воздух террасы. Председатель заметил бутылку.

— Ого, — сказал он, — Палыч, я у тебя ночую.

Мы выпили хитиновки, заели нежным рачьим телом. Самогон был крепким. Растрогавшийся Пал Палыч опять принес полное блюдо. Незаметно мы опьянели. Пал Палыч снял со стены маленькую гитару и запел:

Когда встает далекий друг,
Теплей и радостней становится вокруг...

Он спел песен пять, и каждая сквозила новым «салфеточным» смыслом. Старики смеялись, а Вертелов встал и вышел. Я один слушал песни минут пятнадцать. Наконец он вернулся. От него хорошо пахло.

— Где ты был? — спросил я.

— Помылся, — шепнул он, — там рядом с сараем душ: с нагревателем, с горячей водой.

— А чем вытирался?

— Там висело полотенце.

— Фу-у.

Появилась вторая бутылка самогона. Все начали безудержно курить, хозяин открыл окно, и мы уже не вставали. Я смотрел на часы: было пять, шесть и вдруг полдесятого. Начало смеркаться. Шатаюсь, я вышел из дома и пошел к туалету. Вдруг послышалось громкое журчание, оно усиливалось. Я подошел ближе и увидел, что Вертелов мочится в рачий пруд. Я хотел сказать что-нибудь укоризненное, вроде «разворовали страну», но только засмеялся и не мог остановиться. Потом я обнаружил себя на террасе, председатель спал, держа в одной руке бутылку пива, а в другой — рака. Пал Палыча не было. Я решил взять пива и пошел к холодильнику. Секретная дверь под лестницей была приоткрыта, оттуда доносились целеустремленные отрывистые шлепки. Иногда вместе со словами:

— Не могу, не могу, господи, прости меня, зачем я столько выпил, не могу, не могу, это же не навсегда? Мать-керамика да отец-фарфор, дайте сил... Не могу...

Последнее, что я запомнил: как беру из холодильника пиво.

Я проснулся дома в одежде, закутанный в одеяло. Солнце светило в окно. С час я ворочался, боясь встать. Потянулся за телефоном, проверил его на наличие случайных пьяных сообщений. Я ничего не писал, тревога отступила. Тогда я сел на полу. Вертелова в комнате не было. Он спал в соседней, в ворохе всей нашей одежды. Я спустился вниз, чтобы умыться. После — вышел на улицу. Наступила та самая хорошая погода. Я предвкушал тяжелый день. За домом, где всегда гостила тень, я нашел тачку: она была доверху заполнена водой, кастрюля валялась рядом. В воде плавало несколько бутылок пива. Я открыл бутылку о бутылку. Каким холодным и нужным оно мне показалось...

Глава десятая

Что делать, когда нет работы. У меня проступают признаки старости. Важные и не важные занятия. Сбой в отлаженной машине предсказаний, и как они на нас повлияли.

У меня работы совсем не было, у Вертелова вспыхивали огоньки редких заказов, но нас пока это не волновало. После раковой вечеринки мы почти не пили, наступила прекрасная жаркая погода, я купил ножницы и превратил наши с Вертеловым джинсы в шорты. По наводке председателя мы кололи дрова старушкам, которые расплачивались с нами зеленым луком, молоком, домашним хлебом, кроличьим мясом. Мы стали местными знаменитостями вроде всесоюзно любимых актеров. Даже на речку ходили несколько раз: охлаждали пиво в прибрежных водах и купались до обеда.

«Канус» действительно не просочился сюда. Каждый день мы с Вертеловым читали о новых ограничениях в Москве и радовались, что уехали. В городе все ходили строем, устраивали картофельно-гречневые войны, жаловались в соцсетях и доедали последние припасы в основном без соли. Трудно

примерить пиджак, если он висит в гардеробе за сотню километров от тебя, поэтому мы и не могли в полной мере ощутить весь ужас положения горожан. А иногда нам казалось, что сжечь Москву и отступить сейчас было бы разумно. Примерно так мы и поступили.

Любили ли мы Москву? Нет. Оба мы приехали из других городов, но и их мы не любили. Вертелов где-то с год назад показывал мне озеро, о котором узнал. Где оно находится, как оно называется, — я напрочь забыл, наверное, это придало бы ему еще большей привлекательности в глазах Вертелова. На этом озере был остров, на котором было озеро, на котором был остров.

— Вот тут бы я жил, — сказал мне тогда Вертелов.

Оба мы недолюбливали людей, которые в метро подсаживались поближе, даже если все остальные вагоны пустовали. Людей, которые устраивали тимбилдинги. Людей, которым нравилось все происходящее. Сейчас мы оставили их в Москве, но я чувствовал, что Вертелов рвется дальше, в самую чашу.

По дороге в магазин я проходил мимо других дач и видел чешущихся и кашляющих. Но дачное товарищество «Результат» вирус пожалел.

А потом наступило совсем идеально: нам привезли мебель и прочее. Два дня мы собирали шкафы, кровати, вешали занавески, ставили пиво в холодильник. Странно, мне бы радоваться, но я вдруг подумал о старости... В школе и университете я пожил в разных условиях. Мы с одноклассниками спали втроем на кровати, на полу, укрывшись пальто. Рядом с нами лежали домашние животные, сквозняк из форточек гонял невесомые клубы шерсти. Мы заваривали лапшу в скрипучих белых мисочках, курили на балконе. В душе общежития на потолке висели огромные ледяные капли: они разбивались о плечи, перебивали ключицы, коверкали судьбы. На кухне воняло пережаренными кожаными плащами, которые до этого много лет носили на голое тело трудолюбивые чекисты. Пустая дача тетки Вертелова тогда показалась бы мне лучшей спальней. А теперь я получил отдельную комнату, длинный диван, комод для белья и другие удобства и вздохнул с облегчением. И подумал, что в эту минуту кончилось мое детство. Комфорт приобнял меня за плечи и усадил в кресло, из которого не выбраться...

Самую большую комнату на втором этаже мы оставили Софье Васильевне. Мы не рассчитывали увидеть ее вскоре, но решили запереть ее комнату и не входить туда, чтобы ничего не разбить и не заблевать.

Старики по-прежнему искали с нами встречи и добивались своего. Если Вертелов всегда мог прикрыться иллюстрациями, то у меня не было даже такого тоненького покрывала. Я ходил всюду: к старику, который выращивал цветных гусей, к старику, который клал невообразимых размеров печи, так что в доме для жизни не оставалось места, к старушке, превращающей в соленья всё, что могло расти, к старику с разветвленной системой подземных коридоров под домиком... Я стал свидетелем горячей и неумной борьбы со старостью.

Странные то были дачи. Здесь редко кто-то гостил, почти никто не уезжал в гости. Я иногда думал, что люди здесь, до того как их кто-нибудь увидит, вообще сидят, застыв в одной позе. А придет кто-то, начинают шевелиться, говорить. И делают при этом что-то излюбленное, застывшее в руках. Кто режет огурцы, кто курит. А пока никого нет, сидят, занеся нож над столом или чиркнув спичкой о коробок. Ждут.

Еще удивительнее казалось то, что меня тут любили больше, чем Вертелова. Его принимали как моего несуразного товарища, тогда как в городе все складывалось зеркально. Там он был загадочным, небанальным, тревожным, сексуальным. А здесь даже его профессия не привлекала никого.

— Ну что это? — говорили старики. — Картиночки! Там делать нечего, сиди, рисуй. Вот ты юрист. Давай представим, я собью кого-то пьяный на машине, ты явишься в суд, скажешь, да он не виноват, вот улики. Я свободен,

ты — в почете. Профессия! А картинку и я нарисую: Чиполлино или пятнадцатилетнего капитана. Запросто!

Я не соглашался, но кого это волновало. Если у человека за шестьдесят лежит в кармане какое убеждение, то хоть мочись на него — не откажется.

К ясновидающей мы с Вертеловым пошли вместе. Да — и ясновидающая тут водилась, странно, что только одна. Мне казалось, что тут, на дачах, ее выдумали, чтобы не скучать. Просто выбрали самую неходячую старушку: и ей развлечение, и другим. Ей даже не перепало имени, председатель и остальные называли ее бабка Могира. В непродолжительном припадке интереса к истории дач я пытался выяснить, что это значит, но председатель ничего не ответил. Предостерег только от слишком частых посещений.

— Чтоб не затянуло, — пояснил он.

Мы пошли как-то неожиданно, в грозу, в проливной дождь. Недельку давила жара за тридцать, а потом почернело и лопнуло. И Вертелов сказал:

— Пойдем. Запутаем ее.

— Ты не веришь? — спросил я.

— А ты?

Конечно, Могира жила у калитки в лес. Если это было представление, как я подозревал, то режиссер воспользовался самыми зачатками знаний о ясновидающих. Дверь скрипела, в проеме висел линялый бархат, а в простенках — картины с кувшинами и змеями. Блеснул, правда, один небольшой мужской портрет, висевший в том месте, куда в домах ясновидающих обычно не долетают взгляды.

Вертелов постучал по стене и громко спросил:

— Можно?

— Приблизьтесь.

Мы чуть не засмеялись. Но вошли. Распахнули черные двери в небольшую залу. Представление продолжалось: круглый стол, подсвечник, толстая колода карт, шаль, черная лента на лбу, потускневшее ожерелье, пепельница с песком. Стул для посетителей был только один, и я сел первым, Вертелов остался у дверей.

— Возьми карту, — сказала Могира. Я взял верхнюю.

— Переверни и оставь так, — сказала она. Я перевернул: крестовый туз. Могиру еле заметно передернуло лицом. Как будто там должен был лежать жираф червей из детской колоды, а выпала настоящая карта. И предсказание ей теперь придется дать настоящее, а не заготовленное. Она прищурилась и сказала:

— Беги.

— Бежать?

— Не перебивай. Беги. Беги одиночества и одиночек. Не давай им утратить себя в болото, а то покроется тиной: не найдут, не выплывешь. Спешить туда, где люди праздные, где ничем не заняты, а вид такой делают, что заняты. Присмотрись, накинь то же одеяние, прикинься, что занят, и примиришься. Тогда и проживешь спокойно, без волнений. Природа такова, с ней не сладишь: животное если должно сдохнуть, то и так сдохнет, как ни продлевай его мучения. Только разве что со скалы бросится, тогда — полет. Но недолгий. А все же хотят подольше. Иди и помни, что я советовала.

Она внимательно, как будто не вполне веря в силу своих слов, посмотрела мне в глаза. Я встал, сел Вертелов. Вытащил карту: тот же туз, та же масть.

— Я перетяну, — сказал он.

— Не надо, — сказала Могира, — у тебя он совсем другое означает. Уже дожидается тебя русская тройка, уже запряжены в нее три айфона, и экраны горят страшным знамением. Хочешь — кнутом шелкни, хочешь — кнопку нажми, и пойдет вихрь колючий, а в вихре том — жизнь твоя. Только сядь в тройку — не остановишься. Увидишь такое, что не остановишься. Напишешь такие картины, которые ни в одну раму не влезут. Но помни: горят

айфоны страшные, несут сквозь вихрь из клавиш капслоковых, а впереди монитор бесконечный, а на нем — дьявол. И есть одна возможность, одна удача с ним не встретиться. Не садись в эту тройку, не волнуй коней.

Мы выскочили как ошпаренные. Дождь прекратился, пробивалось солнце. Мы нервно посмеивались.

— Что это такое было? — спросил я.

— Председатель говорил, она предсказывает всякую х...ню. «Дорога тебе предстоит в дом, где шоколад рядами лежит да в сумку просится». Вроде этого. А у меня айфоны какие-то, монитор. Она слова эти откуда взяла, здесь, наверное, еще с почты звонят или из будки. При чем тут айфон? При чем?

Он еще долго спрашивал и дергался. У нас стояла в холодильнике бутылка хитиновки: подарок Пал Палыча. Вертелов выпил ее почти всю. Каждые двадцать минут он подходил ко мне.

— Что за монитор? Какая тройка?

Про мое предсказание мы и не вспоминали.

Глава одиннадцатая

Кем быть? Учительница Вертелова. Все только ахают. Митя, который кружил по чаще. Гороховый ликер и другие отталкивающие напитки. Женщина, мечтающая побывать мужчиной. Сокрушительное утро.

Как-то после завтрака, которые у нас становились все скуднее и скуднее, я отдыхал в нашем импровизированном туалете в зоне самой высокой и густой травы. Впереди открывался новый день, полный облаков и впечатлений, вина и надежд. Я думал о бесполезности.

Я был юристом. Я делал важные дела: получал подписи, проверял, прошел ли законопроект второе чтение, заполнял таблицы и вел переписку. Дела сравнимого уровня важности выполняли миллионы человек вокруг. «Канус» остановил жизнь. Закрылись фабрики копирайтеров. Стендап-комики одиноко смеялись под сводами унылых кухонь. Порноактеры махали взад-вперед огромными сухими фаллосами в сумерках догорающего дня. Маркетологи по привычке просчитывали влияние кампании на их перемещение по квартире. Еще позавчера это были гордые осанистые ребята, а сегодня они лежали на диванах, и никакой клич не мог поднять их.

Еще я думал о Вертелове. Он иллюстрировал. И чем дальше, тем окончательнее проваливался в собственные иллюстрации. Но зато он фактически кормил нас. Выдерживая при этом десятки правок и «добавьте зеленого». Я все сидел и размышлял.

— Ты скоро? — спросил Вертелов из приграничных трав. — Я вообще-то две ватрушки съел.

В конце июля мы посмотрели на себя и посчитали деньги. Их набралось мало, но наш облик пересилил количество. Я превращался в бобтейла, Вертелов — в Чарльза Мэнсона в лучшие его годы. Нужно было покинуть на несколько часов милый «Результат» и постричься. На дачах многие — особенно женщины — предлагали парикмахерские услуги, доставали из дальних ящиков старинные машинки для стрижки, похожие на клещи. Но мы отказались.

Да, постепенно мы превратились тут в любимую забаву дачников. Нас пытались воспитывать, стричь, кормить, парить в бане; Вертелова явно хотела трахнуть бывшая учительница из маленького домика с вишневым садиком. К этому стремились еще несколько старушек. Все походило на сельскую свадьбу, куда молодые вынуждены приглашать родственников из окрестных

деревень. Где тамада с подгулявшим лицом может одним словом «секс» положить аудиторию минут на десять. И где разговаривают сказаниями: «Слышала я, один русский мужик был такой умный и добрый, что не болел...»

Из нескольких подпольно работающих салонов мы выбрали барбершоп «Бородка». Бедные пивные и барбершопы — во времена нашей дружбы с Вертеловым они переживали период нереста. Как дегустаторы на выставке коровьего питания, посетители брели мимо ведер со схожим бурым великолепием. Названия пионеров вроде «Стригу-стригу» или нашей любимой «Ольхи и ясеня» еще помнили, а дальше посыпались останки парикмахерских намеков и грезы пивных встреч. Так что «Бородка» звучала еще сносно.

Через сайт записаться не удалось, я позвонил. В «Бородке» (или, может, на «Бородке») испугались, что я полицейский под видом нестриженого человека. А когда я сказал, что нас двое, ответили:

— Мы вам позвоним и пригласим.

Они выждали полчаса и перезвонили.

— Мы вас ждем.

Все, кроме магазинов и полицейских участков, было теперь нелегально и запрещено. Но мы постриглись.

А потом наступил день, после которого все изменилось и в чем-то — кончилось.

Мы с Вертеловым пошли посмотреть на пруд в лесу рано утром. Нас остановила очередная старушка, мы видели ее раньше. Мы не помнили ее прошлого, видимо, так незначительно оно пронеслось мимо нас.

— Я Светлана Павловна, мы встречались у Марии Семеновны, учительницы, — сказала она и добавила, повернувшись к Вертелову: — «Вашей» учительницы.

— Конечно, — сказал я, — Светлана Павловна. У Марии Семеновны.

— Я все наблюдала за дорогой, не идете ли вы. Хотела вам кое-что показать.

«Кое-что» нас насторожило.

— Я хотела прокатить вас...

Тут мы заметили, что на ней синяя униформа.

— Прокатить?

— Пойдемте, здесь так недалеко, что вы не успеете соскучиться. Вы ведь так молоды, вам нельзя терять времени. Пойдемте, — снова сказала она.

Мы пошли за ней. Она шла, волнуясь, но уверенно, как подросток-оналист, живущий в большой семье. Ему знакомы намерения шорохов, конечная цель любого шага. Довольно скоро Светлана Павловна, которую мы встречали у Марии Семеновны, остановилась.

— Вы ничего не замечаете?

— Вы спрятали где-то «мою» учительницу? — спросил Вертелов. Ему начал надоедать этот бесхитростный лабиринт.

Светлана Павловна засмеялась:

— Ах, теперь я понимаю, почему она вас любит... Вы... Ах... Понимаю-понимаю...

Я пригяделся. Дорога и дорога. Забор и забор. Светлана Павловна подошла к одной из секций забора, потянула вправо, и секция сложилась «гармошкой».

— Пойдемте.

Она выдала нам по кусочку бумажки с надписью «билет» и шестью цифрами.

— Оба счастливые, — сказала она, — вам не нужно считать, я сделала оба счастливыми.

Мы пошли за ней сквозь густой лес.

— А что это значит? — спросил я.

— Счастливый билет? Очень многое. Почти все.

Я спрашивал не об этом, но не стал продолжать.

Светлана Павловна разгоралась. Из-под униформы она достала грубые рукавицы, старую синюю фуражку и надела их. Если хищник, подкрадываясь к жертве, старается ступать как можно незаметнее, то Светлана Павловна наоборот — всем видом давала понять: я иду! Она вздрогнула и остановилась. Мы тоже. В лесу, без каких-то скидок на хвойность и лиственность, невзирая на грибы и бельчат, стоял трамвай. Цвета томатной пасты с шестью белыми окошками. Светлана Павловна совершила последние шаги и погладила рукой его борт. Так любовники гладят те части тела, которые им особенно нравятся у партнера.

— Проходите, — позвала она, — у вас же есть билеты, вы ничего не нарушаете.

Я машинально достал телефон.

— Не нужно, — попросила Светлана Павловна, — он этого не любит. Кругом и так полно его фотографий. Запоминайте глазами.

— Она сейчас разденется и сядет на какой-нибудь рычаг, — шепнул Вертелов. Мы подошли.

— Заходите, заходите. Скоро отправляемся.

— Он ездит?

— Посмотрите вверх. Знаете, что это?

— Нет.

— Бугельный токоприемник. А дальше видите — над ним, парят в вышине, среди веток. Провода. А там впереди, посмотрите, — столбики. Он ездит, милые мои, он ездит.

И опять эта страсть в голосе.

Мы показали билеты и вошли. Это был старый трамвай: в них глубокие деревянные лавки еще смотрели друг на друга, а вагоновожатый управлял движением, стоя на открытой площадке, под козырьком.

Мы сели каждый на свою лавку. Светлана Павловна забралась на площадку. Двери закрылись. Зазвенел звонок. Трамвай медленно поехал, раздвигая лес. При небольшой скорости он шел шумно, так что мы просто вынуждены были говорить громко.

— Ну, как вам мой Митя? — крикнула Светлана Павловна, оборачиваясь в салон.

— Его зовут Митя? — спросил я. — Почему?

— Я все расскажу.

И она рассказала. Трамвай полз сквозь чащу, а она полукричала, надрываясь и оборачиваясь. Повесть давалась ей легко, но в голосе прорывались по очереди трагизм, хрип и ярость. Они не портили рассказа, но добавляли ему силы.

— Я полюбила, — кричала Светлана Павловна, — полюбили и меня. Я работала в тульском трамвайном депо, цвели шестидесятые, мы начинали многое забывать. Я с детства любила трамваи, жалела их. В сущности, ведь их судьба ужасна, не лучше человеческой. И я решила водить их. Вдруг удастся что-то сделать, куда-то свернуть.

Вы можете подумать, что я полудурочная старуха, голова которой уехала на другом трамвае. Наверное, это так... Но я полюбила. Полюбили и меня.

В шестидесятые был такой поэт-арьергардист. Молодой, красивый, как черт. Его звали Дмитрий, Митя... Даже в имени его слышна трамвайная беспомощность... Митя, Митя... Его, конечно, не печатали, а сейчас разве кого-то печатают? Я читала: это ничтожно. О нашей первой встрече он написал стихи:

По пояс в трупах муравьев
Тебя я увидал,
Манил трамвая алчный зев,
Необратимо звал.

Я услышал огонь в крови,
Я улучил момент
И нашей грозовой любви
Воздвигнул монумент...

— Трупы муравьев — это трамваи, вы понимаете, да? А зев алчный — потому что нужно платить деньги за проезд, а Митя вечно был нищий. Арьергардист, что тут поделаешь.

Она замолчала и с минуту смотрела вперед. Мы как будто ехали вокруг дач.

— Я скопила семьдесят рублей, повезла его в Сухуми. Мы притворялись, что очень устали, и отдыхали, отдыхали... Я думала, это навсегда... Но потом мы вернулись, и появилась она... Она всегда была, просто она проникла в наши разговоры. Еще на обратной дороге. Митя сказал, что звонил ей домой, пока я покупала на рынке мандарины, и теперь она придет встречать его на вокзал. Он попросил меня выйти на станцию раньше. Я сошла в Рязани, думая, что все это какая-то очень веселая шутка, что Митя перебрал сухумского пива, которого накопил в дорогу. Но нет... Плюс тридцать, ледяной рязанский вокзал, чебурек, автобус, разбитая жизнь...

Она снова затихла.

— Она тоже была поэтесса, у них с Митей вышло что-то вроде... знаете, как порвалась страница в книжке стихов. Он увлекся мной, бесплатной поездкой. А потом страница склеилась. Они с женой написали про меня... «Ползла букашка по столу...», и все кончилось... Тогда я рыдала. Вела трамвай по Туле и рыдала, ко мне из горсовета приходили, интересовались. А я рыдала в ответ.

Я думала, сколько я была счастлива в жизни... Две недели? Три? Двадцать дней? Наверное, хватит, есть что вспомнить, разложить перед собой на скатерти пустым вечером. Кто знает, может, дальше он превратился бы в скучного мужичонку, который живет, чтобы покупать ковры и свинину. Приносит домой пастилу. А пастила, сами знаете, первый признак разложения...

Ну и все. Доехала до пенсии. Получила дачу. Вышла в лес, а тут — Митя. Только железный, бесстрастный, без жены, без прошлого. Всего маршрута — пятнадцать минут.

Мы прокатались час. На одном из кругов Вертелов заметил, что есть еще пара рельсов, они отделялись от основного круга и вели в чашу.

— А это что? — спросил он Светлану Павловну.

— Не знаю, я никогда не ездила.

— Почему?

— А вдруг они там обрываются. Так и застрянем там с Митей.

— А пешком?

— Ходила. Минут сорок шла. Там рельсы, рельсы и рельсы. Повернула назад, села в Митю. Уж лучше на кольце. А то так недолго в какой-нибудь Воронеж уехать. А там ни трамваев, ни леса, где Митю своего спрятать...

Она высадила нас там же, показала, куда идти.

— Сама еще поезжу, — сказала она. Мы вышли из леса, про пруд, на который мы собирались, никто не вспомнил.

— Смотри, — сказал Вертелов, держа билет, — несчастливый он. 456349. Где тут счастье? А у тебя?

— А у меня нормальный: 564843.

— Ну, повезло тебе.

Про Митю мы не заговорили.

А вечером собралась вечеринка у председателя. Ее давно ждали: ему должны были привезти внука, и молодое тельце вызвало ажиотаж и заслужило вечеринку. Пал Палыч неделю ходил с хитиновкой в кармане. Но внука не привезли, а настроение осталось. Поэтому и собрались. Мы принесли вина. Было и шампанское — с него начали. Председатель поднял хрустальный бокал и сказал:

— Есть у меня идея. Пока у нас тут гостят два молодых человека (он махнул бокалом в нашу сторону), пока все мы тут вроде как заперты и присутствуем тут... Я давно думал... Провести у нас перепись населения. Народ у нас старинный, много интересного помнит, многое может рассказать. Пал Палыч вон девятерых схоронил. История? История. После нас останется. Я аккуратно все бланки потом сложу по номерам участков, вот дело будет. Увечковечим себя! Я разработаю форму бланка, закажем в городе: нам их распечатают, сколько надо, по числу домов и еще запасных, а ребята походят, все запишут. Ну, как вам?

Все довольно загудели. Как будто кто-то смелый наклонился и в самое сердце улья сказал, что сегодня — отпуск. Нам, конечно, не понравилось.

— Я много рисую, — сказал Вертелов, — свободен только вечерами, когда не рисую.

На него замахали руками.

— Надо, надо, что и говорить, — сказал председатель.

— Это же не завтра? — спросил я.

— Ну, где же завтра?! Где мы, а где завтра! Еще надо бланк разработать, вопросы утвердить.

— Все границы откроют, пока он будет свой бланк придумывать, — сказал я Вертелову позже, — уедем, и будет сам ходить.

Собрались почти все — все, кто мог ходить. Шампанское кончилось сразу, наше вино тоже, перешли на напитки местного изготовления. Здесь гнали и настаивали много, каждый нацеливался обскакать весь остальной «Результат». Только это желание оправдывало морковь на коньяке или гороховый ликер. И всю еду приготовили старушки. Я завидовал Вертелову, который поел дома.

— Вот увидишь, — сказал он, — там будет такое, что ты и есть не сможешь. Ты думаешь, там аккуратные пирожки с загоревшим бочком, а там вся еда, в которую они добавили свои старушечьи пальцы, ногти и волосы.

Он оказался прав. Закуски, салаты и даже сладости, которые любая, не результатовская старушка, превращает в национальное достояние, на вечеринке выглядели как один общий неделимый густой паштет. Я нашел коробку белесых конфет на задворках стола и ел их весь вечер. Я думал, нельзя ли как-то сходить домой, поесть и вернуться, но старики одолели нас, как колония муравьев несчастную яблоневую ветку. Утренняя вагоновожатая тоже подошла к нам. Сейчас она оделась в противоположность трамвайной униформы, но — так же строго.

— Ну, как вы покатались? — спросил я.

— Где? — спросила она.

— На трамвае.

— На каком?

Я подозревал что-то подобное. Здесь в каждом можно было подозревать.

— На Мите.

— А-а, вы про трамвай. Тоже знаете про него? Жаль его, безумно жаль, стоит там: хоть бы на металлолом его отнести, но кто станет заниматься, мы тут все... (она махнула рукой). Сами как этот трамвай. Я лучше вам расскажу про дочь. Как я ее воспитала. Рассказать? Я расскажу. Я с самого детства воспитывала ее как дворянку. Раз-два-три, раз-два-три... Реверанс, поворот, контроль, отчет... Откуда пришла, откуда пришла, раз-два-три. Языки и танцы, языки и танцы, вот что составляет жизнь. И контроль. А потом я отвер-

нулась, и ее на выпускном трахнул серебряный медалист. Поэтому я ужесточила контроль. Когда она вышла замуж, я потребовала, чтобы они с мужем купили квартиру в доме напротив, а мне — хороший бинокль. Про шторы я и слушать не стала. Как на ладони, как на ладони, раз-два-три... Потом я задремала, и у меня родился внук. И меня сослали сюда. Здесь сложно контролировать, столько разных персонажей, желаний. Не так все устроено...

— А как нужно? — вынужденно спросил я. Ее глаза диктаторски блеснули.

— Стеклянные дома. Канал и стеклянные дома по берегам. И проверяющий на маленьком теплоходе, который не спит и не отворачивается.

— Вот это порядок...

— Вы меня понимаете. — Она положила дряблую ладонь мне на руку.

Через час я нашел Вертелова за домом. Он играл с собакой Баской. Вертелов мочился, а она с преданным лаем пыталась укусить его за струю. Он уже заглянул в пьяную пропасть.

— Я пил гороховый ликер, — сказал он, — я пил водку на крапиве, я съел пирожок со свеклой и запил подберезовой настойкой. Это все такое говно. Но я хочу еще.

Я к этому времени совсем проголодался и поел салата, в котором из знакомого рассекретил только помидор. Старики же с удовольствием ели и пили. Пал Палыч поэтически грустил без раков. Он сидел у занавески и чертил на ней клешню.

Мария Семеновна, вишневая учительница, вождедеющая Вертелова, тоже пришла. Она мало пила, ела, промакивая салфеткой уголки губ, скользила между гостями в длинном льняном платье цвета всего здешнего, догнивающего. И в какой-то момент прискользила ко мне. Тонкая сухая рука держала пустой бокал.

— Увы, шампанского больше нет. Оно все вытекло. Но моя любовь — нет. Она со мной.

Я привык тут слушать самую прозрачную аметистовую х...ню, поэтому просто продолжал углубляться в салат. Так его даже было легче есть. Я знал, что сейчас начнется коллекционный бред в подарочной упаковке. Если в обычной московской жизни собеседники поначалу стеснялись и долго вели вас к болоту своих откровений, то здесь долго не тянули. Какая разница: все равно финишная ленточка натянута над тем же болотом. Да и времени у стариков особо не водилось.

— А где же ваш изысканный друг? — спросила Мария Семеновна.

— Стреляется на дуэли, — сказал я. Она захохотала, но мгновенно стала серьезной.

— Вы разыгрываете меня. Я на секунду подумала... Ох... Что было бы, потеряй я его. Дорога жизни, заросшая деревьями и травами, превратилась бы в пустыню. Поговорите мне о нем... Я слышала, он рисует...

— Рисует.

— Что же? Фасады? Цветы? Узоры?

Вертелов несколько дней рисовал обложку для «Базисного маркетинга».

— Женщин, — ответил я. Салат, мерзкие напитки и эти сумасшедшие разозлили меня. Мне захотелось крикнуть, что она старая тощая траншея, которую надо скорее закопать.

— Женщин. О. Наверное, у него их сотни. В шляпках и ситце. Я их понимаю.

В ее бежеватом лице прострелило что-то обезьянье, злое. Она шепнула:

— Как бы я его... О, как бы я его... Я слышала мимоходом, сейчас есть такие приспособления, когда женщина может очутиться мужчиной. Вы знаете?

— Нет.

— Ах, вы юны, не испорчены. У меня пять таких. Так вот, я привязала бы вашего обнаженного друга к кровати с моими трусиками во рту. Его глаза,

полные надежды, молили бы меня о прощении, о бегстве. Но я просто не смогла бы его отпустить. Как бы я его...

Я пошел спасать Вертелова. Меня останавливали старики, я бил то с одним, то с другим, то с несколькими сразу. Вертелов отдалялся в пространстве и времени. Старческая плоть встала стеной. Не спрашивая никакого разрешения, я полез на второй этаж. В первой комнате никого не было, я открыл дверь второй...

Вертелов спал пьяным сном в кресле. Вишневая учительница целовала его щеки, прикасаясь к ним в тревожном восхищении. А ее рука в ту же минуту перебирала драгоценные камушки Вертелова. Я сильно напился, и мне было преимущественно смешно. Но я все же шагнул в комнату и сказал что-то грубое. Потом я натянул джинсы на Вертелова и поднял его. Мария Семеновна верещала хворостинным голосом, просила Вертелова заглядывать на завтрак, потому что я травлю его, а она готовит на колодезной воде. Я подхватил Вертелова и стал уносить. Учительница била меня по спине: несильно, но часто. Я чуть не упал с лестницы, но вынес товарища с линии огня... Как я разогнал стариков и мы дошли до дома, я не помню.

Мы проснулись от жуткого стука в дверь. Похмельные ужасы Вселенной катились на нас, обещая раздавить. Я накрылся рукой, ожидая, что это ошибка, что стук прекратится, но он усилился, озверел.

— Уходите, — крикнул Вертелов, — уходите, нам ничего не нужно.

Его тошнило, меня, видимо, тоже. Вертелов рассвирепел.

Он спустился, укрывая матерным одеялом стены, воздух, человечество. Дверь открылась, стук прекратился, внизу стало тихо. Приехала вертеловская тетка.

Глава двенадцатая

Похмельные кроты. Злая хитринка олигофрении. Портос и Обелиска. Костя, примись. Мы превращаемся в лакеев. Помывочная на дому. Сколько дней счастья и свободы есть у человека?

Похмелье — само по себе не успех и не развлечение. Это бесконечный подземный аттракцион с похотливыми кротами, которые не видят, куда тычут, отчего еще дурнее. А уж если сразу встать...

Минут двадцать мы не понимали, как она здесь оказалась. Она стояла с переноской, в которой надрывалась кошка. В другой руке Софья Васильевна держала черный пакет. Выглядела она безумно, но еще хуже смотрелась кошка. Мы вытащили ее из переноски, на ней был пластиковый воротник, изломанный и туго затянутый. На голове, возле ушей, бойко проглядывали саднящие раны. Я налил нам четверым воды.

— Как вы дошли сюда? — спросил Вертелов.

— Дошла. Три дня шла из Тулы. Моя комната готова? Завтрак готов? Хотя что-то готово?

Она была не то рассержена, не то подавлена, напоминала одиозную барыню года эдак из нынешнего. Глаза смотрели с затаившейся злой хитринкой, словно глаза олигофрена. Даже зубы как будто стали реже...

Нам с Вертеловым было очень плохо. Кружилась голова, караулил обморок. Одежда прилипала. Но приходилось действовать.

Я позвонил в ветеринарную клинику: они работали открыто, не стесняясь. Собаки и коты были легальны, люди — нет. Мне сказали, везите. Денег не было. Я подошел к Вертелову. Он передал просьбу выше — Софье Васильевне. Та достала из черного пакета ночную вазу, набитую деньгами. Размах ее первого визита к нам съежился до воробыиной милостыни. Мы долго торговались с ней за каждую сотню. Я не знал, во сколько обойдется клиника,

не знал, сколько проведу там. Она кинула мне четыре пятисотки, я собирал деньги с ковра.

— Купи хоть сколько-нибудь пива, попробуй выкроить, — шепнул Вертелов. Я засунул несчастную окровавленную кошку обратно в переноску. Таксист тоже достался похмельный: он включил кондиционер на режим обморожения и долго мне завидовал: я, по его расчетам, мог пить пиво уже часа через два.

Кошка страдала. В клинике меня спросили, как ее зовут, но я этого не знал и придумал чудовищную Обелиску на том основании, что в имени кошки должны звучать «к» и «с». Я сидел вторым, передо мной шла огромная кавказская овчарка с маленькой женщиной. Овчарку атаковали клещи: с подбородка у нее свисала неопрятная налитая виноградина.

— Портос, — вызвала медсестра. Портос увел женщину.

— Обелиска.

У моей кошки обнаружилась тяжелая аллергия. Выяснилось, что она уже с неделю гуляет по раскаленной крыше. Ей сделали укол димедрола, прописали мазь и неделю в воротнике. Мазь я купил в соседней аптеке, Обелиска успокоилась и наступила лапкой в сон. Я тут же смазал ей раны. Я совершенно забыл о «канусе», а здесь он хозяйничал. Денег у меня осталось порядочно, и я купил еще кошачьих принадлежностей, два кило корма, чтобы объяснить с Софьей Васильевной по поводу денег. Еще я купил шесть бутылок местного пива и тут же сел на скамейку и выпил одну чуть не залпом. Ко мне подошла неопрятная женщина. Она чесалась. Я тут же вспомнил про «канус», натянул маску и перчатки. И вызвал такси. Физдытулла обещал быть через семь минут.

— Подайте матери, — сказала женщина, не приближаясь. Я плотнее прижал маску к носу. — Ребенок заразился, все ждем, когда он зачесется. Сами знаете, больше девяноста процентов выздоравливают те, которые чешутся. А он все никак и не тянется. Мы уж просим его, Костя, примись, а дальше оно само пойдет.

На меня вдруг напал капюшон похмельной паники. Я показал пятьсот и сто рублей.

— Это все, что у меня есть, — сказал я, — небогатые времена.

Женщина шагнула ко мне. Я крикнул. Обелиска проснулась и замаякала. Я положил сотню на скамейку.

— Вот, — закричал я, — молитесь за Костю, и у него зачесется.

Я вскочил и побежал за магазины. Остановился, позвонил таксисту, он подъехал ко мне.

Бедный Вертелов в это время мучился с теткой. Три дня назад она вышла из Тулы, хотя свободно гулять еще не разрешалось. Почему она пошла, она не помнила. Сказала только:

— Граф позвал меня.

Она совсем помешалась. Была не лучше кошки. Что с ее деньгами, она не знала. Банковской карты при ней не было. Вертелов звонил матери, чтобы та позвонила в банк. Только в ночной вазе было около полутора миллионов. Софья Васильевна припомнила, что останавливалась в банках, снимала деньги, купила вазу, чтобы грабители не подумали, что там — деньги.

Вертелов намекнул на врача, но она разозлилась, стала кричать, что он хочет украсть ее состояние, что он такой же, как и граф. Она шла простить его, а он хочет украсть ее состояние. Такой же, как и граф. Вертелов сварил ей кофе с молоком, дал булку с маслом и уложил спать. Эти несколько событий и кусочек теткиной истории уложились для него в три часа. А тут вернулся я. Мы отнесли кошку в комнату к хозяйке, закрыли дверь и сели выпить пива. А потом уснули и сами.

Начались невообразимые дни. Тетку швыряло по разным углам настроения. Мы никак не могли отойти от нее, чтобы заработать себе на обед. Целыми часами она рассказывала нам одну историю про себя и графа. Потом велела вынести ее вазу, приготовить ужин, постирать ее вещи. Деньги она выдавала так, как будто мы принадлежали к коррумпированному правительству. Присила приносить чеки, не покупать сигареты и выпивку. Держала нас за нерадивых лакеев. Все время повторяла, что выгонит нас, что мы — говно. Она заняла весь третий этаж, а мы снесли свои вещи вниз и жили в одной комнате. У Вертелова кончились все заказы и деньги. Мы даже не могли уехать в Москву на такси, больше чем по тысяче-полторы Софья Васильевна нам не давала.

Тем временем Обелиска выздоровела. Воротник сильно измучил ее, она часто ночью приходила к нам на диван и клала голову на чью-нибудь ногу. Мы сняли его, и она в тот же день принесла нам на крыльцо надкушенную ящерицу без хвоста.

Старушки, которым мы раньше вскапывали огороды или кололи дрова, осиротели с нашим отсутствием. Они быстро прознали, в чем дело, и возненавидели Софью Васильевну. Она была моложе, и за ней струилась некая таинственная история: сложно не зареэновать. Вишневая учительница Вертелова, чья ладонь еще хранила тепло вертеловских яичек, стала подкидывать нам к калитке записки. Раза два в неделю мы находили ее послания. «Я знаю, ты — достойная соперница, но этот мальчик — мой. Оставь его и поверь, я знаю, что с ним делать». Это одно из них, а остальные были такие же. Софья Васильевна не покидала дома, поэтому и цели записки не достигали.

Где-то в подземных озерах наших душ плескалась одна общая мысль, но мы боялись высказать ее друг другу. Мы знали, что момент настанет. Неумолимый, зловонный, безрадостный, янтарный. И утром 19 августа, сразу после завтрака, которые теперь у нас становились все сложнее и изысканнее, Софья Васильевна вытерла салфеткой губы и сказала:

— Сегодня помойте меня.

День выдался солнечный. Вертелов сказал:

— Может, ты сам ее помоешь? Это все-таки моя тетка. Не очень хочется наблюдать такое.

— Ну, нет, — сказал я, — вдвоем мы быстрее сделаем.

— Вообще... — он остановился, — она дает нам деньги, а я их прошу. Может, твоя очередь...

— А ничего, что я катаюсь с тачкой в магазин и готовлю на троих.

— Да говорю тебе, она мне тетка.

— А мне — никто. И если мы ее не помоем, она нас выгонит.

— Давай сам, а?

— Нет.

Он еще пробормотал про деньги и тетку. Я не согласился. У Пал Палыча мы взяли огромное корыто, которое сошло бы и для теленка. В него поставили стул. Надели медицинские перчатки, похвалив «канус» за их наличие. Вскипятили несколько кастрюль воды, набрали ведро холодной. Вертелов раздраженно бубнил проклятья.

Софья Васильевна спустилась. Она сняла халат и села на стул. Я старался не смотреть.

— Начинайте.

Она не мылась больше двух недель. Моча в складках тела уже забродила и стала превращаться в особенно терпкое вино. Пот собрался едкой накипью. Вертелов зло смотрел на меня.

А я опять думал: здесь мне удавалось думать особенно много. Сколько беззаботных лет наберется у человека за всю жизнь? Перед нами сидело полусумасшедшее потрепанное тело. Сколько лет оно пело свободно? Когда начался стремительный бег грудей вниз, в самые овраги, поросшие сухими ветвями? Когда ногти на ногах принялись ржаветь?

Допустим, человек живет девяносто лет. В начальной трети дистанции начинаются дебютные расставания: отмирают первые дедушки, вероятнее всего, прощается с ним верный пес. Старшему брату дают лучшей п...ды в подворотне. Мелькающие одно за одним вечные убеждения превращаются в пепел. Друг уезжает в поисках заграничного счастья. Любимая девушка начинает кое-что понимать.

Потом рождается новая жизнь, а своя обретает великий смысл: служить той, вновь явившейся. Начинает сутулиться отец. Каким он был десять лет назад: подкова, не иначе. А теперь — если только висеть над дверью. Я намыливал голову Софьи Васильевны и думал дальше...

Вырастает сын. Оказывается, что ничего общего с ним почти нет... Он любит новую музыку, записывает альбом «Глаза цвета х...». Сейчас это на вершине. Человек начинает сомневаться, сменяют друг друга кризисы. Начинают заканчиваться друзья-одногодки. В зеркале отражается усталый плешивый студент. Дальше все продолжает сыпаться... И откуда взять ему хоть один веселый год?

Так думал я, так, наверное, думал и Вертелов, пока мы мочалили и поливали Софью Васильевну. Мы отреставрировали верх, отполировали низ, оставалась загадочная и зловещая середина. Мы сели на корточки. Вот он — Колодец Праматери... Обветшалый, светящийся...

Колодец колодцем, а за следующий месяц мы помыли тетку еще четыре раза. Привычно и ловко. И уже без отвращения.

Глава тринадцатая

Мы вызываем беспокойство. Перепись дачного населения начинается. Окна, бани. Изменения, от которых становится грустно. Поучительная история про дворянскую семью и туалет.

Мы обслуживали тетку целыми днями и отдалились от обитателей «Результата». Их любимый аттракцион прикрыли, и они забеспокоились. К нам заглянул председатель. Это был один из дней, когда мы только помыли Софью Васильевну. Она сидела в халате и пила кофе: причесанная и отдаленно величественная.

— Никаких секретов, — сказала она, когда председатель попросил нас на минутку. Он достал бланк и, поглядывая на нее, приступил:

— Вот, ребята, насчет переписи. Как я говорил. Придумал бланк. Всего ничего пунктов. Имя, откуда приехал, что в жизни сделал, кого больше всего любит на наших дачах и еще пара.

Вертелов начал отказываться, но вылезла тетка.

— Спрашивайте меня, — сказала она, — не их. Они на моем полном обеспечении. Держу их, как капиталист бедняка: крючком за губы. Скажу — и они пойдут вам в помощь. А откажутся — поедут домой.

Председатель явно владел противоположным представлением о женщинах, но это, новое чувство ему понравилось.

— Ну, зачем домой, — сказал он, подбирая слова, — там же эпидемия.

— А-а, — она нетерпеливо взмахнула рукой, — я все сказала.

Председатель засветился. Мы с Вертеловым стояли, как две женщины после многофаллосовой групповухи.

— Тогда я накопирю бланков, и приступайте, — сказал председатель и ушел счастливый. Мы думали, что хотя бы с этим у него будут проблемы, но уже через два дня он принес нам пачку бумаги.

— Двести бланков, две тысячи заплатил, — похвастался он, — всего участков сто пять. Можете портить. Все фамилии я уже написал, помог вам.

На следующее утро мы начали.

Мы даже не смеялись, так глупо все выглядело. На каких-то заброшенных, вымирающих дачах, которые не берет ни один вирус, нужно провести перепись населения. Зачем? Кто станет знакомиться с результатами? Кому понадобится знать достижения Ивана Ивановича с последнего сто пятого участка? Напутствуя нас, председатель попросил:

— И еще: фотографируйте каждого, кого опросите. Я купил... флеш-накопитель, потом перебросите туда фотографии, я распечатаю и прикреплю к бланку.

Я решил, что старость это не так и плохо. Ты забавляешься как хочешь, и все тебе потакают, потому что не хотят связываться или обижать. «Смотрите, дедушку рвет в общественное оливье. — Что ж, он пожил и накопил нужный опыт. Не суди его!»

Хозяина первого участка мы никогда не видели. Ни на вечеринках, ни на улице. Он жил в той части дач, куда мы никогда не ходили.

— Смотри, какой странный забор, — сказал Вертелов, — какими-то квадратами. Что это?

Мы подошли поближе и увидели, что забор сделан из окон, покрашенных черной краской.

— Они открываются? — спросил я.

— Открываются, — сказал голос из-за забора, и рядом с нами открылось небольшое окошко. — Проходите, я вас жду, Игнат Федорович предупредил меня. Вот, дежурю у окна.

Он открыл нам калитку, которая тоже оказалась черной рамой с черным стеклом. Совершенно обычный старик с прошлым, никак не читающимся на его лице. Может, рубил яблони, а может, вывел отраву от муравьев.

— Давайте расположимся здесь, в саду, — предложил он. Мы огляделись.

С трех сторон участок был огорожен черным оконным забором. Только одна сторона, выходящая на поле, оставалась прозрачной. То есть это были те же окна, но с обычными не покрашенными стеклами.

— А почему... — спросил Вертелов.

— Окна? Просто мне иногда хочется что-нибудь открыть... Увидеть свет, воздух.

— А если открыть и оставить так?

— Ну, нет. Пойдемте.

Он подвел нас к прозрачным окнам. Стекла были трезвы как стеклышко. Как если бы он мыл их через день.

— Видите: поле?

— Да.

— А теперь смотрите.

Он открыл одно окно.

— Видите, какая чистота, освобождение. Чтобы ощутить это, нужно сначала закрыть окно и немного... начать задышаться, что ли.

Мы не видели ни чистоты, ни освобождения.

Он захотел сфотографироваться у открытого окна.

— Вам бы подоконников закупить и рассаду выращивать, — пошутил Вертелов.

Старик задумался.

— Нет. С надоконниками я бы еще ужился, а вот с под...

— Знаешь, как его фамилия, — сказал я, когда мы вышли, — Штора. Леонид Петрович.

На втором участке нам не открыли.

А на третьем жила редкость этих дач — семейная пара. Их мы знали. Нам открыла жена.

— Вас не смутит? — сказала она. — Я как раз мою Илью Алексеевича.

Наши глаза были натренированы вертеловской теткой. Мы пошли через сад к бане. Там в корыте лежал Илья Алексеевич. Ни он, ни его жена не имели на себе одежды.

— А хотите, — она засмушалась, — я и вас помою.

— Лида, Лида, окати себя из шайки! Кто такое предлагает, тем более — молодым людям.

Но по нему ощущалось, что он мечтал бы. Отвечая на вопрос о главном достижении, Илья Алексеевич назвал строительство общественной бани в Туле.

— В бане, — говорил он, — тело разгоняет само себя. Ни в коем случае нельзя одновременно пить холодное и мочиться. Разгоряченное тело как тоннель: одна жидкость догонит другую и грянет взрыв, просто взрыв.

Жена Лида мылила его невыдающиеся антикварные органы...

В первый день мы обошли десять участков.

— За десять дней все сделаем, — сказал Вертелов.

Непростые тут жили люди. Все, как один, старые, все, как один, с причудами. Кто-то смотрел в открытые окна на поле, кто-то разводил раков, кто-то проектировал боксерские груши, кто-то с гордостью показывал коллекцию бабочек, среди которых «инцестница» была самым ценным экземпляром. И ничего, ни единой черточки в них не повторялось. Как будто заранее им раздали роли, чтобы мы с Вертеловым увидели длинный десятидневный спектакль. За эти десять дней многое переменилось.

Окончательно скатилась с ума Софья Васильевна. Как-то за ужином она вдруг положила вилку и ткнула в меня пальцем.

— Граф, это вы?

Она начала преследовать меня, загадочно улыбалась, пыталась схватить за гениталии, а один раз ночью спустилась к нам и долго сидела на стуле у дивана, пока я притворялся спящим, и смотрела на меня. Потом начала всхлипывать и причитать:

— Гра-а-а-аф.

И ушла к себе.

Изменился председатель. Он полюбил Софью Васильевну и стал бывать у нас. Каждый новый раз она его не узнавала, и нам приходилось долго разжевывать, кто это. Председатель радовался переписи, но грустил от того, что она скоро кончится. Он уговаривал нас ходить помедленнее, обходить дома по три в день, не больше. А однажды спросил нас, как мы узнаём новости.

— Вот видите, ноутбук и портативный модем, — показал я.

— Это благодаря ему все?

— Да.

— То есть если я его у вас похищу, вы ничего не узнаете?

— Есть еще мобильный интернет.

— А он где?

— В мобильных.

— То есть если похищу еще и их...

— Игнат Федорович, а зачем?

Он ответил не сразу и грустно:

— Кончится эпидемия, вы сможете ездить и уедете отсюда. Втроем. А так ничего не узнаете...

— Я хожу в магазин, — сказал я, — там наверняка узнаю.

— Ну да, ну да.

Стала другой Обелиска. Она много шаталась по округе, и у нее порой проступало настолько хищное выражение морды, что мы не решались звать ее. От окровавленных полевков не было отбоя. Иногда она даже не являлась на ночь.

Изменился даже дом. Когда мы приехали сюда, он сиял яркими стенами и белел наличниками. А теперь краски высохли и поблекли, воробьи свили уродливое гнездо под черепицей. И нижняя ступенька крыльца после нескольких ливней разбухла и словно состарилась, расплзлась.

В Вертелове тоже что-то неуловимо надломилось. Он стал беспокойным, суетливым. Постоянно спрашивал, когда же закончится этот «е...ый канус», когда нам можно будет уехать. Про тетку он не упоминал. «Результат» и его обитатели пугали его. Если мы издалека видели кого-нибудь знакомого, Вертелов начинал тихо бубнить:

— Б..., какого х... тебя вынесло со своим е...ым рукопожатием. Сейчас начнется: здравствуйте. Да пошел ты на х...

Когда знакомый подходил к нам, Вертелов улыбался и говорил:

— Здравствуйте, ну как вы?

С вагоновожатой Светланой Павловной они вообще как-то обсуждали ее трамвай Митю минут пятнадцать. Точно Вертелов пытался выкупить себе индульгенцию.

Изменился ли я? Нет.

На пятый день переписи, вечером, я сидел в траве. Уже давно этот туалет превратился в место моих размышлений. Сегодня я думал о том, что после такого обилия голых старых тел могу легко браться за самую тяжелую больницу: работу или открывать студию геронтомассажа. Я уже примерял названия, когда меня окликнул голос:

— Сидите?

Я резко поднял голову. За забором стоял сосед. Я видел его впервые: перепись еще не добралась до него.

— Да вот...

— Я давно наблюдаю. С самого первого дня. Ваш друг Вертелов похуже сидит, а вы молодец, приятно посмотреть.

— А...

— Не бойтесь. Я не против. В конце концов вы уедете, и все зарастет. Все зарастает, а уж это... Не бойтесь. Вы молоды, а молодость — она и нужна, чтобы ее просрать. Я тоже был молод, даже юн. Как срали мы с пацанами...

Я не знал, как теперь встать. Только перекатывал рулон туалетной бумаги из ладони в ладонь. Думал, что он уйдет, а он все ярче светил подробностями жизни.

— Я сам тоже люблю открытость, воздух. Эти домики с кафелем внутри — недолюбливаю. А уж деревянные дачные — совсем беда. Я вам вот как посоветую... Вы до последнего держитесь воздуха, не заходите внутрь. Духота там внутри. Есть, есть у меня, конечно, туалет, вон он зеленеет, но я туда не хожу. Я знаете как хожу. У меня там, в уголке, барбарис посажен. Колочий, с ягодками, бордовый такой, хороший. И за ним стульчик, а под стульчиком — ведро. Вот туда хожу. Свобода, барбарис. А знаете — почему? Это с молодости у меня. Я в шестьдесят первом году подрабатывал: строил дачи с ребятами всяким мелким партработникам. Такие микроскопические Хрущевы, знаете, были, в лупу не разглядишь. А туда же — дачу им. В общем, строили. И вот был такой: то ли Скребков, то ли Молотков, уже не помню, тоже чья-то маленькая копия. Очень хотелось ему новый туалет на даче иметь. Старый-то до революции еще ставили, при дворянах. Слишком красивый, да и переполнился. А ему хотелось простой, как вся страна. Чтобы сесть и не

выходить оттуда часами. Приехали мы втроем, бригадой. Два дня разбирали старый туалет. А он каменный, с фундаментом. А этот Скребков-Молотков хотел обычный, деревянный. Красного цвета. Свернули мы старый туалет, яму вырыли, а там плита. Партработник кричит, вынимайте, хочу, чтоб яма метров на шесть вниз уходила. Очень, кричит, сидеть люблю. Подняли мы плиту, а там — комната вроде погреба. Чистая, добротная. Стол дубовый и три трупa. А на столе бутылка — капсула времени. Написано, открыть в шестидесятом году. Партработник кричит, эх, опоздали, непорядок, уже шестьдесят первый в разгаре. Разбили бутылку, в ней записка. Мы, хозяева этой усадьбы такие-то, не можем больше терпеть, поэтому ушли сюда. Пусть уж лучше нас экскрементами завалит, чем наблюдать происходящее. А сами все сидят — чуть не по пояс в говне. Скелетики в обрывках исторической одежды. Ну, мы ассенизатора вызвали, все откачали, милиция дворян увезла, мы углубили яму, поставили ему туалет и уехали. А я с тех пор стараюсь исключительно на улице опорожняться, даже зимой. Так что — поставьте стульчик, как я, и сидите вдоволь, я вам слова не скажу.

Он попрощался и ушел. Я закончил начатое и тоже пошел домой.

Кончилась перепись. Председатель грустил. Ему очень понравились результаты, но других идей у него не было. Временами он приходил в отчаяние, и нам казалось, что он просто начнет поджигать дома, лишь бы мы занялись пожаротушением и никуда не уезжали. А потом ему стало совсем тоскливо. По телевизору он увидел, что «канус» отступил и почти не опасен. Приходил, убивал, заставлял страдать и чесаться, а вот теперь — по одному только слову, произнесенному с экрана, — отступил. Это означало, что, появившись у нас хоть пять тысяч рублей, мы могли в любой момент уехать домой. Как оставить вертеловскую тетку и на что жить в Москве, мы пока не придумали. Работы не было и не предвиделось. А вскопать огород или починить скамейку за капусту и хлеб нам в Москве было некому.

Глава четырнадцатая

Что делать? Даже эпидемии когда-нибудь заканчиваются. Мошенничество или спасение? Мой разговор с председателем. Мое решение. Дикий монолог. Кого я все-таки видел?

Накатила осень, и сразу — дождливая. Мы торчали на даче уже больше трех месяцев. Как и многие предприятия, которые поначалу кажутся блестящими, это наскучило и ржавело в наших головах. Плюс тетка стала невыносима. Она носила остатки денег на задворках нижнего белья и выдавала их все неохотнее: влажные и неприятные.

Впереди не брезжило ни одной возможности уехать. Мне сказали, что на работе меня не ждут, Вертелов растерял заказчиков. Мы превращались в местных жителей: безработных стариков. И к тому же — появившись у нас деньги, нам не на кого было бросить тетку.

Планета постепенно возвращалась к прежним привычкам. Новости еще грозили второй и третьей волной «кануса», но землян было не остановить. Все собирались в барах, обнимались, как братающиеся солдаты на поле боя. Много по-прежнему запрещалось, но строгость воспринималась как напускная.

Вертелов лихорадочно рвался в Москву. Я начал уставать от его желаний, образа жизни. Он вспыхивал, светил горячо и ярко, поджигая всю сухую солому вокруг себя. А когда та принималась вовсю, бежал с факелом в другую сторону. Не уверен даже, что он хотел бы, чтобы я бежал за ним. На фоне непрекращающейся неустроенности и бытовой бездны эта гонка смотрелась еще отчаяннее. Хорошо, когда есть хотя бы призрак собственного простран-

ства, крохотной комнатки с закрытой дверью и шторами. Если этого нет, любая дружба и любовь превратятся в бесцветное супружество.

Вертелов звонил матери, что свидетельствовало о крайней безнадежности его положения. Но она ничем не помогла: денег после эпидемии не хватало всем, приехать, чтобы смотреть за теткой, она не могла. Я своим и звонить не стал: в нашей семье надеялись на меня, а не наоборот. Вертелов метался, ходил часами по «Результату», возвращался промокший. Но одним вечером вернулся сухим и счастливым.

— Придумал, — сказал он, — послезавтра уедем. Еще и на такси.

Тетка спала, Вертелов пил горячий чай и рассказывал. Он сходил к председателю, зная, что тот каждое утро рождается и гибнет от любви к Софье Васильевне. Сказал, что она переживает родственные этим чувства. Хочет быть с ним. Но я — хочу добиться ее и буду добиваться. Надо заплатить мне, чтобы я уехал. У председателя лежала на книжке некая сумма, Вертелов согласился взять тридцать. Завтра он съездит в Тулу, снимет деньги, послезавтра отдаст нам, мы уедем. И на прощание скажем тетке, что председатель — и есть тот самый граф.

Когда я только знакомился с Вертеловым, когда сидел с ним в «Ольхе и ясене» за пивом, когда ехал сюда на такси и варил на шампурах первую кашу, я и представить не мог, что мы так масштабно поссоримся. Мои слова, как крупные капли дождя, уныло барабанили по безразличной вертеловской крыше. Я говорил что-то очень скучное, протяжное, слишком взрослое, намекал на мошенничество. Вертелов отвечал, что старался ради нас обоих, а я теперь веду себя, как учительница младших классов или м...к. Я пошел к председателю, он сидел на скамейке на улице с бутылкой хитиновки. Он не поверил мне, сказал, что заплатит, сколько нужно, лишь бы я уехал. Я сказал, что мне нужно только пятьсот рублей на автобус, электричку и метро. Председатель чуть не заплакал, сказал, что пятисот тысяч у него нет, что я должен подождать, пока он продаст дачу. Много за нее не дадут, нужно время. У него есть брат, к которому он увезет Софью. Да и Пал Палыч пустит пожить: втроем да с женщиной они здорово справятся. Мы не справились, а они справятся. Я ушел. Сам стал Вертеловым и час кружил по дачам под дождем.

Наверное, в старости это не случается, думал я. В старости все лежит на двух-трех полках: поближе и попроще. А на меня свалились пожилые предгрозовые тетки, казанский граф, престарелые дачи, «канус». Старики и к эпидемии отнеслись прохладно, почти не заметили. А молодой новый мир задрожал и преклонил колено.

Миру вообще досталось. Он и без того напоминал мешок с ватой, а теперь превратился в несовременную сельскую мать, не поспевающую за половыми успехами сына. Весь его абсурд, ну, или значительная его часть, навалили на меня, словно проверяя, поспел ли я, высох ли мой хвостик, достаточно ли гулко отзываются на стук бока. Я решил уехать отсюда. Ни одна тетка во Вселенной не остановила бы меня.

Я вернулся домой и объяснился с Вертеловым. Попросил денег на дорогу, сказал, что съезжаю с квартиры, а пока, на время, уеду в родной город. Он механически сказал, что я делаю ошибку, и дальше отговаривать не стал. На следующий день мы собирали вещи, Вертелов поговорил с теткой, сказал, что нашел нам замену, что за ней будет присматривать опытный и верный человек. Она не раскричалась, не ответила почти ничего. Она все утихала и замолкала.

Через полгода Вертелов написал мне, что она утихла окончательно, что его вызывали в полицию, где он встретил совершенно обезумевшего председателя. Я предпочитал думать, что наш отъезд не ускорил неизбежного.

Мы еще переписывались изредка, а потом перестали, и дни рождения уже не могли возбудить в нас бывшего интереса. Тогда, на даче, когда пришло его такси, он опять сказал, что я ошибаюсь, что нам неплохо живется вместе, и уехал. А я остался ждать автобус. И вдруг вспомнил, что забыл упаковку с масками: без нее меня могли не пустить в метро или спросить штраф. Я пошел обратно.

Странно было идти этой дорогой, зная, что Вертелова там нет, как нет и тех дней, что мы провели тут, замерзая, согреваясь коньяком и сигаретами, скудными завтраками и хитиновкой. Я как будто собирался ограбить его тетку. Дом надвинулся на меня. Он еще отличался от других, но, я думаю, лет через пять совсем растворился бы в этой изношенной деревянной толпе строений. Может, и блеснула бы цинком труба или пластиковое окно открылось охотнее, но в целом это уже был бы типичный старый дом.

Я открыл калитку, надеясь, что тетка спит и мне удастся проскочить мимо ненужных объяснений. Я быстро прошел в дом, нашел маски. Наш диван был собран, казалось, мы ушли отсюда несколько лет назад. Тетки нигде не было слышно, я поспешил к калитке. И услышал бормотание.

Сначала я не понял, кто и что говорит, но довольно быстро различил голос Софьи Васильевны. Она звучала громко и четко, чего мы с Вертеловым уже давно не замечали. Словно собралась с силами, чтобы сказать важное, последнее, после чего уже — тишина.

Я вышел за калитку, полуобошел участок и встал у забора. Здесь голос звучал громче. Софья Васильевна сидела в густой траве нашего с Вертеловым туалета, я слышал сопутствующие звуки. Шепотом шумела трава, журчала выкопанная нами яма.

— Ах, река, желтые берега, — говорила тетка, — унеси мою печаль, заberi меня с собой. Что любовь, что нелюбовь — мгновения, а твои волны вечны. Рыба ли вынырнет на секунду из твоих желтых мутных вод, грязные водоросли прильнут к течению — все ничем. На высоком берегу стоит мой дом, хорошо видно паром, осоку. Только остаюсь я одна на своем берегу. Пес в конуре на привязи и цыплята, которым не дожить до куриного возраста. И никаких людей по мою сторону реки. Да и не надо. И пса я отпущу, пусть плывет сквозь воды твои на иной берег.

Мне одновременно хотелось и спасти ее, и убежать. Я сделал несколько бесшумных шагов назад, развернулся и быстро пошел на остановку. В автобусах ехали люди и даже несколько еще почти молодых.

Я, конечно, потом думал о Вертелове, правда, чем дальше, тем меньше. Менялись квартиры, люди рядом. Я не сердился на него: от него осталось только мрачновато-веселое. Я вспоминал дачу, детского писателя и представлял нашу случайную встречу. Наверное, мы постарались бы не узнать друг друга. Трудно представить, что он кинулся бы ко мне в объятия. Да и неизвестно, кто в каком состоянии подошел бы к этому свиданию. Я постепенно превращался в человека, которых мы с ним, сидя в «Ольхе и ясене», презирали. А он? Время не дает никаких гарантий.

Один раз мне показалось, что я все-таки видел его: к тому моменту мы не переписывались лет семь. Но обстоятельства встречи были так неправдоподобны, что я скорее поверил бы сновидению. Мы с женой заказали диван, который вносили в квартиру два грузчика: молодой и постарше. И второй был похож на Вертелова, если бы тот подстригся под машинку, много дней пил и напрочь забросил свои иллюстрации. Разговаривал и давал подписать бумаги — молодой. Второй просто стоял и ждал, когда все закончится. Я закрыл за ними дверь и еще с минуту думал о нем, пока жена не позвала меня посмотреть, какой удобный диван мы приобрели.

Максим Замшев

Мы долго говорили не о том

Мы долго говорили не о том,
о чём хотели. Город, воскресенье.
Дымок от теплостанции винтом
Врезался в небо в поисках спасенья.
Как жаль, у Шостаковича ни такт
Не изменить, а то б я разошёлся.
Могло быть всё иначе, стало так,
И шов на старой ране разошёлся.
Ты сообщила, что уедешь в Крым,
Возможно, навсегда, что путь твой ясен.
А я всё тщился расспросить про дым.
— Ну как тебе? Не правда ли прекрасен?

Проходят годы, и в домах
Тебя никто не любит.
Проходят годы. Рифмы страх
Тебя уже не губит.
Опять неугомонный Бах
Долбит гранит прелюдий.
Проходят годы. И в домах
Живут другие люди.
Ты можешь сохранить в глазах
Следы своих иллюзий.
Но снова производят страх
Животные и люди.

Максим Замшев (1972) — родился в Москве. Окончил музыкальное училище им. Гнесиных и Литературный институт им. А.М. Горького. Заместитель председателя правления Московской организации Союза писателей России, главный редактор «Литературной газеты». Автор десяти поэтических книг и четырех книг прозы. Автор множества публикаций в разных жанрах в России и за рубежом. Стихи публиковались в «Литературной газете», «Независимой газете», в журналах «Москва», «Нева», «Урал» и в др. изданиях.

И кто-то черный, в сапогах
Раздавит детский кубик.
И этот кубик — дело швах —
Конечно, всё погубит.

Я куда-то улетаю,
Родина моя во мгле.
Я ищу на ощупь стаю,
Только стая на земле.
Все бескрылы и побиты,
Крылья сложены в золе,
Клювы накрепко защиты,
Родина моя во мгле.
Я лечу туда, где ястреб
От Иосифа летел,
Я лечу туда, где ясно,
Что остался не у дел.
И погибшие поэты
Мне встречаются порой,
И погибшие планеты,
И Предатель, и Герой.
Разрезаю атмосферу
Я слоями, словно хлеб.
Потерял любовь и веру
Заблудился и ослеп.
Из космического ада
Ариадна тянет нить,
Разрешения не надо
На забвение просить.
Там, где я, — и Зевс, и Бродский
Громовержцы хоть куда.
Минотавр одет не броско,
Ева — в платье изо льда.
И Адам, в пальто из молний,
Помнит о добре зле.
Безнадежна и безмолвна,
Родина моя во мгле.

Я прошу у Бога
Поворот в судьбе.
Долгая дорога,
Мысли о тебе.
И плохие шутки,
И тяжелый смех.
Нынешние сутки
Прожиты за всех.
И висит на нерве
Старой жизни след.
От теплиц на небе
Невечерний свет.

Только расстоянье стало уже
Между вечной музыкой и мной
Г. Иванов

Мы тоскуем о прошлом, которого не любили, —
Человек так устроен, увы, увы...
Вроде бы, лучше были автомобили,
Вроде бы, дружнее шагали волхвы.
Мы заводим пластику одну и ту же,
Внутри нас лето, жара, «Ситро».
Только расстоянье становится уже
Между поездами, исчезающими в метро.
Если нет электричества — тьма повсюду.
И спешит куда-то, страдает где-то
Никого ещё не предавший Иуда,
Обожающий Иисуса из Назарета.
Человек покидает свою могилу,
Если он бестелесное существо.
Не потому ли прошлое так нам мило,
Что в нем мы ещё не сделали ничего?

Анастасия Астафьева

Птичку жалко!

Рассказ

Ох и завернули нынче морозы на Рождество! На градусник взглянуть страшно — днём за тридцать, ночью больше сорока! А где-то в России, пишут, под шестьдесят! Сидим дома, топим печи. Машина не заводится. Хорошо, что не надо на работу! А кого-то гонит служба — аварии устранять, людей спасать, продукты развозить... Тяжко в такие морозы любому живому существу — и человеку, и зверю в лесу, и всякой мелкой птахе.

Птичек жалко больше всех — как они, эти невесомые юркие комочки, выживают? Особенно ночами. Жмутся, наверное, друг к другу на обледенелой ветке, дремлют чутко, пережидают беду сообща. И сколько их утром не откроет глазки, не прилетит к нашей кормушке. Сыплем для пташек семечки в старую берестяную плетёнку — ешьте! Ещё добавим! Только живите! А после очередной морозной ночи смотришь — мало их прилетело, не все тут синички, снегирей не пятеро, а трое, дятел в одиночку кормится, а где его постоянная подруга?..

В моём вологодском детстве, помнится, были такие же морозы! Идёшь утром в школу — вороны сидят на ветках нахохлившись и иногда громко каркают, наверное, криком греются или ругаются на природу, мол, ну ты и загнула, матушка! И вот взлетят они, покружат над высоким старым тополем, а одна-две обязательно на ветке останутся. Заснули? Присмотришься, нет... Замёрзли. И под деревьями не раз приходилось находить закоченевших птиц. Потому что по ночам тоже стояло за сорок. Но был и ночной февральский рекорд — минус пятьдесят два!

Помню, как густо-алое и невиданно огромное солнце размером с двухэтажный дом поднималось над железнодорожным вокзалом, неподалёку от которого мы жили. Было непонятно, почему, если солнце такое огромное, такое раскалённое и так близко к земле, оно совершенно не греет. Над зданием вокзала в блёкло-лимонного цвета небо струились столбы дымов. Такое «кислое» небо бывает только в адские морозы. Кажется, что из него вымораживаются все оттенки, оно выбеливается, как ткань на снегу. Даже кровавое солнце не в силах хоть немного подкрасить его.

Непонятно, почему в такой мороз я всё же пошла в школу, почему мама меня отпустила. Школа, правда, под боком, за две минуты можно добежать, но воздух... Я, замотанная шарфом по самые глаза, вдохнула и

Анастасия Викторовна Астафьева (1975) — родилась в Вологде, окончила Высшие литературные курсы при Литературном институте и Санкт-Петербургский университет кино и телевидения. Автор книг прозы «Сети Арахны» (1998), «Июньский снег» (2000), «Для особого случая» (2020), «Столетник с мёдом» (2021), «Козье болото» (2022). Финалист литературной премии «Ясная Поляна». Живет в г. Нея Костромской области. В журнале «Урал» печатается впервые.

больше дышать не смогла. Брови, торчащие из-под шапки волосы, шарф, закрывавший рот и нос, мгновенно покрылись инеем, ресницы смёрзлись, и из-под них побежали слёзы. Ноги в тёплых бурках, колени в толстых колготках и рейтузах с начёсом и пальцы в шерстяных рукавицах мгновенно ооченели. Даже пальто — теплушее, на вате — за полминуты промёрзло. Кожаный портфель сделался словно из твёрдой пластмассы и не поскрипывал привычно, а стучал, словно зубами клацал.

Школьная техничка, заидев меня на входе, заругалась. Подтолкнула к батарее, чтобы я согрела руки и, набрав в одежду побольше тепла, побыстрее отправлялась обратно домой. Уроки, конечно же, отменены. Она мне даже чаю предложила, но я не стала пить. Прижимала ладони и колени к обжигающим коленам батареи, рукавички, прогревая, переворачивала со стороны на сторону, шмыгала оттаявшим носом. Снова нырять в этот жуткий мороз никак не хотелось. Но не сидеть же в школе до оттепели!

— Бегом беги! — подтолкнула меня техничка, знавшая, что живу я совсем рядом, и спешно захлопнула за мною покрытую инеем дверь.

В нашей квартире, как старательно ни грели батареи, в такие морозы бывало прохладно. Мы с мамой ходили в тёплых рейтузах, шерстяных носках, а поверх домашнего халата я надевала свитер, а мама колючую вязаную кофту. На кухне целый день горели все четыре конфорки газовой плиты. Мы чаще обычного пили чай. С вареньем или с мёдом. А потом сидели на диване, забравшись с ногами и укутавшись дополнительно пледом, и смотрели телевизор или читали каждая свою книжку.

Но вот морозы отпускали. Не сразу, постепенно. И в школу нужно было идти по-настоящему. Хотя днём воздух «разогревался» до минус пятнадцати и выше, по утрам всё ещё стояли уверенные двадцать пять. Солнце, как только морозы отошли, сразу сделалось меньше и бледнее. Вставало над вокзалом отчуждённое, ленивое, словно это не оно всего лишь несколько дней назад полыхало алым ледяным гневом над бедным нашим городом.

Я перебежала проезжую часть, как всегда, в неположенном месте — школа на противоположной от дома стороне, а чтобы дойти до официального перехода со светофором, нужно сделать порядочный крюк. Ленъ, конечно же! По тротуару шагала уже неторопливо, нога за ногу, задумчиво глядя на носки собственных чёрных бурок и одновременно лавируя между спешащими навстречу взрослыми. И вдруг стоп! На снегу, прямо под ногами у пробегающих мимо людей, сидел воробей. Он уже даже не сидел, а как-то полулежал. Почувяв неладное, я наклонилась и взяла его в руки. Крохотное лёгкое тельце было холодным, крылышки расслаблены, головка свесилась набок, а глазки закатились под веки. Птичка замёрзла. Я не знала, что с нею делать, но просто бросить здесь, конечно же, не могла. И в школу уже опаздывала. Раскрыла портфель и бережно положила воробышка внутрь, между учебниками, тетрадями и пеналом.

Первым уроком была ненавистная алгебра. Я ничего в ней не понимала и понимать не хотела. Просто просиживала положенные сорок пять минут, получала заслуженные двойки и хронически раздражала таким отношением к предмету учительницу. Та периодически пыталась найти ко мне подход, но я уже в прошлом году, в пятом классе, заявила во всеуслышание, что буду писателем, и пусть от меня отстанут со своей математикой. Вся школа от мала до велика потешалась над моим манифестом, но я слово держала, точные предметы демонстративно презирала и учила только русский и литературу.

Сидеть просто так на уроке скучно, и я то с мальчишками записочками перекидывалась, то в морской бой с ними играла, то рисовала что-нибудь в тетрадке. А ещё мы хихикали, разговаривали громко. Математич-

ка злилась, со всей силы шарахала деревянной указкой по своему столу, выкрикивала мою фамилию и стандартную фразу «Выйди из класса и не появляйся больше на моих уроках!». Но я упорно появлялась и упорно её бесила своим поведением. Помню, один раз она почти умоляюще попросила остаться меня после уроков и выучить важную тему, потому что мне в полугодии светила двойка. А учителям, как мы знаем, за неуспеваемость учеников хорошо влетает. Я осталась. Она полтора часа просидела со мной, но вбила мне в голову решение каких-то сложных уравнений. И я поняла, действительно впервые за учёбу поняла, как их решать, и мне даже понравилось! Это была единственная тема в курсе школьной алгебры, которую я честно выучила и благодаря ей имела тройку в табеле.

А сейчас мне снова было скучно... И я дёрнула сидящего впереди соседа:

— А у меня воробей есть. Дохлый.

— Ты чо?! Покажь! — восхитился пацан, развернувшись ко мне всем телом.

Я притянула к себе по полу портфель, склонилась к нему и стала шарить рукой по дну в поисках трупика птички. Но тот никак не находился. Тогда я поставила портфель на стол, пошире раскрыла его и заглянула внутрь. В ту же секунду, чиркнув меня по щеке крылом, оживший в тепле воробей выпорхнул на свет и заметался по классу.

Мальчишки заорали в один голос и повскакивали с мест. Кто-то из них забрался на парту и ловил птичку в воздухе. Кто-то носился по проходу между парт. Кто-то просто свистел.

Учительница колотила указкой по столу и требовала на одной ноте:

— Сядьте все на место! Сядьте на место!

Но какое там! Насмерть перепуганный оживший воробей бился в зажёванные стёкла высоких окон, падал на подоконник, тут же снова взлетал, так и не пойманный десятком мальчишечьих рук. Кружился под потолком среди белых шарообразных люстр, устремлялся к закрытым дверям, к классной доске, а оттуда вновь к окнам.

И это его метанье, и этот крик, грохот роняемых стульев,двигающихся парт, ор учительницы и ритмичный стук её указки по столу показались мне вечными. Я вовсе не собиралась срывать урок и доводить учительницу. Я просто птичку пожалела. Мне даже в голову не могло прийти, что она оживёт в тепле и вылетит мальчишкам на радость и мне на беду из портфеля.

Но хаос не прекращался. Уже сама математичка металась вместе с мальчишками по классу, и не понятно было, ловит ли она птицу или пытается рассадить всех по местам. Я видела, что она совершенно беспомощна, полна отчаяния, что почти плачет, и мне было стыдно. И страшно.

Воробей выбился из сил и сел на высокий шкаф, стоящий у задней стены класса, среди горшков с цветами. Мальчишки тоже устали и почти все расселись по местам. Учительница вернулась к доске. Общее возбуждение ещё колыхалось среди учеников, слышались возгласы, потом они перешли в приглушённый рокот, затем в громкий шёпот. И только во мне, до этого момента в ужасе замершей за партой, вдруг что-то взорвалось.

— Сейчас я его достану! — выкрикнула я и ринулась к шкафу.

Учительница пыталась меня остановить, но я не слышала её. Я уже тянулась со стула к воробью, который, конечно же, в руки даваться не хотел, но и летать уже не мог. Он отскакивал от моих пальцев, прятался за цветочные горшки. Кто-то из мальчишек бросился мне на помощь, принёс из угла швабру и теперь подпихивал воробья от стены, от горшков с цветами к моим рукам. Класс снова заорал, засвистел, загрохотал. Математичка снова стала колотить указкой по столу.

Но я не видела и не слышала этого. Я почти достала воробья. Но тут на пол грохнулся и разбился горшок с бегонией, глиняные осколки разлетелись, земля рассыпалась. Шкаф качнулся, открылись дверцы, с полок повалились учебники, журналы, покатались и попадали на пол рулоны ватмана...

Воробей, наверное, сто раз пожалевший о том, что ожил, юркнул за шкаф, к стене, и стал невидим и неслышен.

Мы с отчаянным одноклассником ещё пытались отодвинуть шкаф, пропихнуть между стеной и мебелью швабру, чтобы выколупать из тёмной щели притаившуюся птицу. Но тут, как выстрел, хлопнула дверь класса. Я оглянулась — учительское место опустело.

Дальше всё было совсем не интересно и не весело. Учительница вернулась с физруком и завучем. Ребят выгнали на перемену. Оставили только меня и двоих самых ретивых ловцов. Физрук лёгким движением плеча отодвинул шкаф и, с невероятной ловкостью накинув на взлетевшего воробья свою спортивную куртку, поймал его и унёс куда-то. Меня отчитывали за сорванный урок, за двойки, за поведение вообще. Требовали писать объяснительную. В дневнике на полстраницы красной пастой нацарапали замечание, под которым была обязана расписаться мама. Мальчишкам тоже досталось за новые и старые грехи.

И никто, никто не заметил, что в тот день я спасла живую душу. Никто был этому не рад. Даже сам воробей. В идеале я хотела, чтобы птичку оставили в школе. Она бы стала первым экспонатом живого уголка. Потом бы мы принесли туда ежей, кроликов, петуха, может быть, даже лису. Ухаживали бы за ними, кормили, убирали. Учились доброте и уважению к братьям нашим меньшим. Но живого уголка так и не появилось.

А воробей? Выжил ли он в ту зиму? Или, выпущенный физруком обратно на морозную улицу, замёрз в эту же ночь?

Я не стала писать в объяснительной, что птичка умирала и что в школу я принесла её не нарочно, и ожила она не специально, не на вред учительнице алгебры и не с целью сорвать урок. Я просто написала, что очень сожалею о своём поступке и что такого больше не повторится.

И не повторилось. Больше ни в ту зиму, ни в другие я замерзающих воробьёв не находила. А если бы и нашла, в школу бы точно не понесла. Кому там нужны живые души...

Евгений Степанов

Трудная работа

Разговор

— Ни «мерса» у тебя, ни «бэхи»,
Твой домик вызывает смех.
Какие у тебя успехи?
— Успехов нет. И в том — успех.

— Ты ходишь по тропинкам сада,
Забыв про почесть и маржу.
Какая у тебя награда?
— Награда в том, что я хожу.

— Ты ходишь, сгорбив скорбно плечи,
В каком-то древнем шушуне.
И женщина твоя... далече.
— А женщина моя — во мне.

— Так не бывает.
— Так бывает.
Не убивает смерть любви.
И снов моих не убивает.
— Ну что ж, как можешь, — так живи.

Трудная работа

Хочу себе помочь и за полночь забыться
В невероятном сне и долго жить во сне,
Где место есть любви, везде родные лица,
А места нет вражде, разлукам и войне.

Евгений Степанов (1964) — поэт, прозаик, публицист, издатель, кинорежиссер. Родился в Москве. Окончил факультет иностранных языков Тамбовского педагогического института и аспирантуру МГУ им. М.В. Ломоносова. Кандидат филологических наук. Печатался в журналах «Урал», «Нева», «Звезда», «Дружба народов», «Знамя», «Наш современник», «Москва», «Подъем», «Арион», «Интерпоэзия», «Юность», «Волга» и др. изданиях. Автор нескольких книг стихов и прозы. Главный редактор журнала «Дети Ра» и портала «Читальный зал». Лауреат премии им. А. Дельвига («Литературная газета») и премии журнала «Нева». Живет в Москве и поселке Быково (Московская область).

Хочу себя понять, себе пеняя строго,
На что я разменял седьмой десяток лет.
Что буду говорить, когда увижу Бога?
И скажет ли Господь мне что-нибудь в ответ?

Хочу себя простить, да не выходит что-то.
И не хочу грустить, да неизбывна грусть.
Не помню, кто сказал: жизнь — трудная работа.
Но это я сумел запомнить наизусть.

Снег

Юрию Казарину

Подумать только: русский снег...
А на столе чекушка, снедь,
Картошка, хлебушек, колбаска.
И жить желает человек,
И не желает умереть,
Хоть жизнь не радужна, как сказка.

Подумать только: человек,
Забыв про наличман и чек,
Остаться хочет человеком, —
В поселке коротая век,
Летая над землей, как снег,
Не становясь, однако, снегом.

Подумать только: до сих пор
Летит земля во весь упор
Среди других планет зеленых.
А снег, укрывший липкий сор,
Похож на головной убор —
На соснах, лиственницах, кленах.

Молитва

Хорошо, что я живу на воле.
Плохо, что нерадостен настрой.
Господи, избавь меня от боли,
Я же не железный, не герой.

Не хочу ни славы, ни love story,
О богатстве тоже не молю.
Господи, спаси меня от хвори,
Что на плоть набросилась мою.

А еще мечтаю — чтобы в мире
Правила бы лира, как эмир.
Не мочили б никого в сортире,
Все же не для этого сортир.

А еще о дочке, о внучатах,
О родных прошу Тебя, Господь.
А еще — чтоб наглых, бесноватых
Фюлеров сумел ты побороть.

Луч

Ищет руно золотое Ясон,
Птички друг с дружкой поют в унисон.
А у меня поскромнее задачи:
Память отрезать и спрятаться в сон
Здесь, на лесистой проветренной даче.

Грезит огнями и блеском Гефест,
Едет поэт на веселенький фест.
А у меня нет задачи весомой.
Плохо я сдал на выносливость тест.
Стала трава на участке соломой.

Плакать не будем. Кому этот плач
Будет приятен. Своих неудач,
Горестей не избегу я.
А над землей, согревающ, горяч,
Луч молодецкий сияет, ликуя.

«Зона»

А смерть неугомонна,
В делах поднаторев...
А жизнь — такая зона,
Где очень редок грев¹.

А дьявол говорливый
В речугах нарочит,
Трясет фальшивой ксивой.
А Бог молчит.

Собака

И — нежность: дом — земля — собака.
И — небо: в будущее мост.
Я выхожу из штолен мрака
И горя — этот путь непрост.

Что позади? О том — не стоит.
Точнее — стоит, да невмочь.
Собака, будто гуманоид,
Глядит — и хочет мне помочь.

¹ Грев — передача продуктов, подарок (жарг. — Авт.).

Что впереди? О том — не надо.
Точнее — надо, но потом.
Собака — дом — земля — отрада.
И — звезды в небе обжитом.

О-ля-ля

Оле

Боль — пронзительная. Грусть
Стала чересчур большою.
...Можно я к тебе прижмусь
Телом и душою?

Ты такая — о-ля-ля —
Теплая красotka.
...Тяжело, когда земля
Жжет, как сковородка.

Я не мачо, не плейбой,
Развлеченьям — баста.
...Ты такая, что с тобой
Боль не так зубаста.

Свет

Ты опираешься на силу,
На власть, на золотую жилу.
А я — на свет лучистых глаз.
И я сильнее в тыщу раз.

На земле

На земле живу — в разы
Здесь красивее, чем в городе.
Узы глаза и лозы
Мне теперь безумно дороги.

Восхищают огурцы
Стебелечками усатыми.
Строят виллы и дворцы
Мураши, расставшись с хатами.

Ратую за пядь земли,
Эту пядь земной идиллии.
Посмотрите: расцвели
Маргаритки, флоксы, лилии.

Иванов

Иванов повзрослел, не перечит
Болтунам, не скулит, точно пес.
Время лечит? Наверное, лечит.
Впрочем, часто калечит — всерьез.

Иванов повзрослел и не хочет
Лишних благ, лишних дел, лишних фраз.
И успехов себе не пророчит,
Но живет, как умеет, — сейчас.

Иванов повзрослел, и шумиха
Не нужна никакая ему.
Он живет очень просто и тихо
В деревянном своём терему.

Отметки

Состарились мои нимфетки.
И жизнь проходит стороной.
А смерть сидит на табуретке,
И тихо говорит со мной,
И ставит мне за жизнь отметки.
Пятерок нету. Ни одной.

На всех порах

Я бегу на всех порах в даль, откуда нет возврата.
Похоть грешную и страх вспоминаю виновато;

Холод-голод, рабский труд за горбушку и чекушку.
Вкупе с бесами берут ангелы меня на мушку.

Хронос, точно конвоир, по затылку бьет прикладом.
Я бегу... Враждебный мир провожаю долгим взглядом.

Я жил

Я жил, грехи к себе маня,
Едва не спятив от потерь.
Когда начнут хвалить меня, —
Не верь.

Но если скажет кто-нибудь,
Что я хотел одних забав,
И был напрасен этот путь,
Тот будет, зуб даю, не прав.

Планеты

Не дорога, а минное поле. Не подмога, а силос словес.
На планете печали-и-боли горя много, а счастья в обрез.

Надо вечно держать наготове ружьецо — чтоб ответить врагам.
На планете печали-и-крови денег много, но рушится храм.

И все время — пальба и вендетта, и все время — какая-то муть.
На планету согласия-и-света я мечтаю давно упорхнуть.

Там не будет пальбы и подножек, там не будет внезапных утрат.
И волшебный неведомый ежик на спине принесет виноград.

И волшебная птичка-синичка пропоет: «Человечек, пойми:
Безрассудна и пагубна стычка меж людьми!..»

Чик-чирик

Летит воробей, у него нет мотора,
Пропали страховка и страх.
Он смел и свободен, как Виктор Соснора
В своих непонятных стихах.

Летит воробей, он малюсенький с виду,
Но стоек и даже велик.
Летит и свою не ругает планиду,
Поет: «Чик-чирик-чик-чирик!..»

Тем не менее

То сердечко, то давление... Хворей всяческих — с лихвой.
Трудновато. Тем не менее я пока еще живой.

Коли так, то, значит, нечего плакаться от разных бед
И коситься недоверчиво на ликующий рассвет.

Коли так, то надо заново жизни открывать лари,
Радостно смотря на зарево зажигательной зари.

Где заря — там озарение, правильный ориентир...
...Все дороже, все бесценнее этот непутевый мир...

Дарья Афонина

Страх

Рассказ

Поле было 17 и она боялась всего на свете. Она боялась темноты и высоты, боялась опозориться или не понравиться кому-то, боялась расстроить родителей или оказаться недостаточной крутой для друзей. Каждый раз выходя из дома, Пола опасалась, что сделает что-то не так, из-за чего люди подумают о ней плохо и перестанут с ней общаться.

Особенно тяжело Пола общалась с мальчиками. Постоянный страх сказать что-то не то сковывал ее, делал смешной и неуклюжей, поэтому большинство ровесников воспринимало Полу как забавную девчонку, симпатичную, но слишком робкую. А девушка очень хотела нравиться — хотелось, чтобы кто-то считал ее красивой, привлекательной, чтобы кому-то она приходила в сны и мучила всю ночь, как героини романов, которыми Пола зачитывалась, лежа в кровати. Когда мама ночью была дома, а не на смене в больнице, девушке приходилось забираться с фонариком под одеяло вместе с книгой, чтобы родительница не застала ее за чтением и не отправила спать. Мама считала, что Пола слишком много читает.

— Лучше бы на улицу вышла, прогулялась, может, и подружилась бы с кем-нибудь, а не чахла за книжками, — говорила женщина.

Пола только качала головой. У нее была одна лучшая подруга, и с одноклассниками девушка иногда разговаривала, и подобного общения для нее было достаточно. К тому же она боялась новых знакомств — постоянно думала, что выглядит недостаточно хорошо, чтобы понравиться новому знакомцу, и поскорее пыталась свернуть разговор и вернуться в мир, где ее всегда ждали: бумажных переплетов и черно-белых печатных страниц.

Возможно, Пола сделала это из-за страха, возможно, из-за призрачного желания кому-то понравиться, но когда священник церкви, в которую она приходила по воскресеньям, во время одной из исповедей положил руку ей на колено, а затем, не встретив должного сопротивления, поднял руку вверх по бедру, она не сказала «нет». Она почувствовала странный липкий жар в теле и почему-то подумала: «наконец-то в моей жизни что-то происходит». Пола повернула голову и, наверное, впервые за все годы посещения церкви посмотрела священнику прямо в лицо. Лицо еще не

Дарья Афонина (1992) — родилась в городе Волжске, Марий Эл. Окончила филологический факультет университета в Чебоксарах и Высшую школу режиссеров и сценаристов по специальности «сценарист игрового кино» в Санкт-Петербурге. В августе 2023 г. участвовала в писательской мастерской от АСПИР. В журнале «Урал» печатается впервые.

Публикация осуществляется в рамках проекта «Мастерские» Ассоциации союзов писателей и издателей России (АСПИР).

старого, но уже не молодого мужчины приобрело тревожное выражение, и Пола внезапно почувствовала свою силу — древнюю власть женщины над мужчиной. Ей это понравилось, и она кивнула.

То, что последовало дальше, не было таким приятным, но было терпимым. Крови почти не было, и девушка сочла это удачей. Зато Пола чувствовала себя по-другому: она одновременно ощущала жар и холод, и ее трясло, будто в лихорадке. Ей хотелось кому-то рассказать, но, здраво рассудив, что это небезопасно, Пола промолчала, но подробно описала все в своем дневнике — толстой тетради с черной обложкой.

За неделю волнение Полы заметно уменьшилось, но в следующее воскресенье все повторилось. Как и тогда, все началось с поглаживания коленки, а закончилось тем, что Пола лежала с раскинутыми ногами на столе в кабинете священника, а тот наваливался на нее сверху.

За несколько недель подобные занятия стали превращаться в норму, и с каждым разом переносились все легче. В одно из воскресений девушка достаточно осмелела, чтобы спросить:

— И что теперь?

Мужчина стоял к Поле спиной, поправлял одежду. На какое-то время он застыл, его спина неестественно выпрямилась, как бывало (Пола точно это знала), когда он приступал к проповеди. Затем он медленно повернулся к ней и сказал:

— Теперь помолимся.

Они встали на колени, священник начал зачитывать отрывок из Евангелия. Пола повторяла за ним те куски, которые знала наизусть. Она закрыла глаза и сосредоточилась на своем дыхании. Девушка думала о том, что скоро вернется домой и сможет записать в тетрадь все, что произошло с ней за этот день. В какой-то момент она будто бы впала в транс и не заметила, что молитва уже не звучит. Пола открыла глаза и обнаружила, что мужчина внимательно смотрит на нее.

— Мне становится страшно, когда вы так смотрите на меня, — прошептала Пола. В тишине кабинета собственный голос казался ей невыносимо громким.

— Ты такая красивая... Ты даже не представляешь себе, какая ты красивая, — сказал мужчина с чувством, от которого у девушки пошли мурашки по коже. Ей вдруг показалось, что сейчас он сделает с ней что-то невозможное: резко наклонится, вонзится зубами в щеку и оторвет ее, забрызгав все окружающее теплой, сладкой кровью. Но вместо этого он резко поднялся с колен и вышел из комнаты. Будучи воспитанной и тактичной девушкой, Пола понимала, что это — молчаливая просьба уйти. Так она и сделала.

Домой Пола ехала на новом велосипеде, который несколько дней назад купил ей отец. Они с мамой уже давно не жили вместе, а с отцом она встречалась два-три раза в год, когда он приезжал в город по работе.

— Он пытается купить твоё отношение к нему этими подарками, — говорила мать, смотря как Пола разворачивает очередной свёрток. — Однажды он станет старым и никому не нужным, но даже тогда у него будешь ты. Хитрый черт делает себе инвестиции на будущее.

Пола только пожимала плечами. Она и так это знала, ведь даже при встречах отец едва мог смотреть на нее, как будто само ее лицо напоминало ему о старом и страшном грехе, который он совершил. Но подарки девушка все равно принимала с радостью. Они ведь уже куплены, не выбрасывать же их, в самом деле?!

Ехать было тяжело: тело саднило, а ноги тряслись от напряжения. Со дня на день Пора ждала месячные, и любое свое недомогание списывала на их скорый приход. Когда жжение стало сложновыносимым, Пола

остановила велосипед и присела на лавочку. Она откинула голову назад и закрыла глаза, наслаждаясь теплым ветерком, легонько играющим с ее волосами.

«Пора подстричься», — лениво подумала девушка, перебирая в памяти события последних часов. Теперь, без присутствия священника рядом, она могла ясно мыслить и анализировать, задавать себе вопросы, на которые даже не пыталась найти ответы. Она действительно ему нравилась? Чувствовал ли он притяжение к ней, которому просто не мог сопротивляться? Были ли у него другие любовницы? Боялся ли он разоблачения? Надо думать, боялся. Поле было приятно думать, что при желании она могла бы его шантажировать или разоблачить, притворившись жертвой изнасилования. Она запросто могла разрыдаться в суде, и ей б поверили, а ему нет. Но, конечно, Пола так никогда не поступит, ведь ей нравилась ее маленькая, постыдная тайна.

Из-за закрытых глаз и своих мыслей девушка не сразу заметила, что рядом с ней кто-то сидит. От холодного ветра девушка поежилась, открыла глаза и чуть было не вскрикнула: в нескольких сантиметрах от нее сидела сгорбившаяся старушка в черном платке. Растрёпанные седые волосы выбивались из-под грубой материи. В руках женщина держала надломленный кусок батона, и голуби неподалёку явно имели на него планы.

Старушка сидела совершенно неподвижно, будто застывшая во времени статуя. Пола подавила в себе желание немедленно отодвинуться от нее. Внезапно бабка резко повернулась к девушке и немного приподняла кусок батона — мол, угощайся. Пола отрицательно покачала головой. Старушка меланхолично пожала плечами и снова отвернулась.

Пола осторожно приподнялась с лавки, потянулась к велосипеду, готовая сбежать, как бабка снова оживилась: она отломил кусок батона и кинула его в сторону голубей. Смотря в пространстве перед собой и словно ни к кому не обращаясь, женщина скрипуче произнесла:

— Это всегда происходит с нерадивыми девчонками. Они сходят с ума и умирают... Да, всегда. Сходят и умирают, умирают и сходят с ума.

Велосипед чуть не выпал у Пола из рук, когда она, спотыкаясь о собственные ноги и распугав всех голубей, выскочила из парка. Девушка бежала всю дорогу до дома, так и не вскочив на велосипед, а волоча его мертвой тушей в руках. Слова сумасшедшей бабки (а Пола ни на секунду не сомневалась, что она сумасшедшая) звучали в голове приговором.

«Она знает, она все знает», — вертелось у девушке в голове набатом, хотя прагматичная часть ее мозга твердила, что это невозможно, что никто их не видел, а если и видел, то это точно не городская сумасшедшая, кормящая в парке голубей. Бросив велосипед во дворе и быстро поговорив с мамой («Что-то ты задержалась сегодня... Ничего не случилось?», «Нет, все в порядке, мам, все в порядке»), Пола кинулась в свою комнату и, пока переживания и воспоминания свежи, записала события этого дня в черную тетрадку. Несмотря на сильный страх и смятение чувств девушка с удовольствием заметила, что тетрадь была уже наполовину заполнена — значит, в ее жизни происходит что-то настолько интересное, что его необходимо запечатлеть.

Выводя свои мемуары опытной рукой графомана, Пола сформировала свой новый страх вдобавок к уже имеющимся — страх разоблачения. Девушка уже представляла, как ее будут осуждать мать, проклиная и дочь, и себя, и ее отца, который подарил Поле свои беспутные гены, как к этому присоединятся соседи, которые будут укоризненно качать головой и приговаривать «а ведь была такой хорошей девочкой, всегда здоровалась... кто бы мог подумать, что она такой вырастет?!», как одноклассники даже не будут пытаться изобразить сочувствие, а накинута на нее толпой обе-

зумевших шакалов. Она и так не пользовалась популярностью в школе, а при таком раскладе рискует стать идеальным козлом отпущения.

В ту ночь Поле не удалось уснуть, и на следующий день в школе она непрерывно зевала и не могла сосредоточиться ни на одном уроке. В ее голове набатом пульсировало как дурное предсказание «сходят с ума и умирают».

В результате Пола вышла зачитывать доклад и упала в обморок прямо перед всем классом. Очнулась девушка уже в медпункте (видимо, кто-то из заботливых одноклассников отнес ее туда). Школьная медсестра, грузная некрасивая женщина неопределенного возраста, сидела за столом и заполняла бумаги. На Полу она обратила внимание только тогда, когда девушка вплотную подошла к столу и ее тень упала на бумаги.

— Садись, — жестом указала медсестра на стул. Пола села. Тогда медсестра, по-прежнему не поднимая головы, одной рукой открыла ящик стола и достала оттуда серую упаковку и протянула девушке. Пола схватила упаковку и немного подождала, ожидая услышать какой-нибудь вердикт от медсестры. Но, поняв, что эта единственная помощь, которую ей стоит ожидать, девушка попрощалась и выскочила за дверь.

Только вернувшись со школы домой Пола рассмотрела, что же за упаковку дала ей медсестра. Это был тест на беременность.

В воскресенье Пола пропустила службу — она просто не выдержала бы три часа сидеть и делать вид, что все в порядке. Потому что ребенок, начинающий расти у нее внутри — это явный беспорядок.

Девушка ждала священника в кабинете, зная, что после окончания службы он придет сюда. Так и случилось: сначала послышалась тяжелая поступь шагов, приближающихся к двери, затем легкий скрип, и наконец дверь отворилась. Вошедший мужчина уверенно вошел в кабинет, а затем отшатнулся, увидев Полу.

— Что ты... Тебе нельзя здесь находиться! — негромко воскликнул, плотно закрывая дверь и запирая на засов.

Затем он подошел к ней, и гримаса страха и изумления покинула его лицо — ее сменила легкая радость, как будто ребенок увидел протянутую ему конфету.

— Ну раз ты пришла... Я рад тебя видеть, — сказал священник, обхватывая лицо девушки ладонями. Пола отшатнулась и отошла на пару шагов назад.

— Мне надо с вами поговорить, — неуверенно ответила девушка. — О важном.

— Что же тебя волнует, дитя? — спросил священник, принимая торжественный вид, который был знаком Поле по его еженедельным проповедям. Девушку впервые охватила злость по отношению к этому мужчине: как он смеет вести себя с ней так, как с обычной девчонкой, исповедующейся ему, после всего, что между ними было! И тут же Пола испугалась своей ярости: она не привыкла испытывать хоть к кому-то такие сильные эмоции, тем более, к мужчине, который намного старше нее.

— Меня волнует... Я должна признаться... — Пола чувствовала себя, как будто она пришла на обычную исповедь, как делала почти каждое воскресенье — с тех самых пор, как бабушка привела ее в церковь. — Я беременна.

Сначала священник сохранял прежнее официальное выражение лица, а потом оно медленно стекло по его лицу, как восковая маска. Пола увидела на его лице страх — и в другой бы ситуации она бы насладилась

чувством, что смогла одной фразой вызвать ужас у взрослого мужчины, но сейчас девушка пребывала в не меньшем ужасе и очень надеялась, что священник ее успокоит, скажет, что решит проблему и что ей больше не нужно будет бояться.

Но после непродолжительного, но тяжелого молчания мужчина наконец ответил:

— Это не мой ребенок.

От шока услышанного Пола забыла о своих страхах и о том, что перед ней взрослый мужчина, способный уничтожить ее одним движением. Она кинулась на него, крича, что он негодяй, мерзавец, как он мог так сказать, как будто он не знает, что кроме него у нее никого не было. Мужчина стойко выдержал ее истерику, не сказав ни слова. Когда Пола устала от криков, она села на пол и заплакала.

Мужчина немного подождал, а потом подошел и попытался обнять ее, но девушка отшатнулась и отползла от него, по-прежнему не поднимаясь с пола. Она мгновенно успокоилась и, кажется, нашла решение.

— Я расскажу, — тихо сказал Пола, смотря, как восковая маска на лице мужчины начинает плавиться. — Я расскажу все.

Пола отвернулась и хотела встать, но почувствовала, как тяжелая ладонь, которая не так давно гладила ее по коленке, сомкнулась вокруг ее лодыжки. Потом эта сила притянула ее на себя, и Пола испытала настоящий ужас — такой, какой она не испытывала еще никогда. Она боролась с мужчиной, все еще не оборачиваясь к нему — ей казалось, что если она посмотрит на него, увидит его рясу, она покорится и не сможет сопротивляться.

Пола не глядя пнула его свободной ногой, услышала тихий вскрик и почувствовала, что другая нога освободилась. Радость мгновенно наполнила ее, и Пола побежала к желанной двери, когда сзади услышала тяжелое приближающееся дыхание. Она еще надеялась успеть, надеялась убежать, но тут почувствовала толчок, не понимая его источника, но уже ощущая боль, за которой очень быстро пришла темнота. Свет померк в ее глазах еще до того, как она упала на пол.

Пола должна была прийти домой еще три часа назад, и ее мать начала беспокоиться, но не особенно сильно. Она знала, что ее дочь хоть и нелюдима, но молода и, возможно, скрывает от нее мальчика, с которым гуляет. Она представила сутулого и субтильного паренька, таскающего с собой кучку книг — так же, как делала ее дочь. Возможно, он ходит в очках. Возможно, он не такой уж и сутулый. Но так или иначе мать Полы уверена, что молодая кровь возьмет свое, и на свиданиях они будут обсуждать отнюдь не книги. И это нормально.

Но какое-то чувство, похожее на тревогу, терзало женщину, и она направилась в комнату дочери. Там она задумчиво рассматривала ее стол, книги на полке, небрежно заправленную кровать. Женщина подошла поправить постель, подняла подушку, чтобы взбить ее, и увидела, что под ней скрывается черная толстая тетрадь. Несколько мгновений мать Полы смотрела на нее, затем положила на нее подушку, поправила одеяло и вышла из комнаты.

Через несколько минут она вернулась и осторожно достала черную тетрадь из-под подушки, открыла и начала читать. Беспокойство внутри нее затихло. Его место занял страх.

Ольга Ефимова

Твоя душа, приговорённая к бессмертью...

как саван бархатный, мягок,
нехоженный снег искрится,
укутав павшего набок.

ему исполнилось тридцать.

на западе от Бахмута
дрожала липкая темень:
мороз лилового утра,
чугунный шар пустотелый...

плетётся в мелкой позёмке
груз-200 — в сторону тыла.

... всю ночь в рабочем посёлке
дворняга пёстрая выла.

я замер, прислонившись лбом
к стволу кладбищенского клёна.
на мирном фоне голубом
скворец щебечет упоённо.

дневного света белизну
переживаю еле-еле:
сынок, я не люблю весну
с тех пор, как ты погиб в апреле.

сурово закусив губу,
худой щеке не дам намокнуть:
в солдатском цинковом гробу
одна рука — и та по локоть.

Ольга Ефимова — поэт, прозаик, литературный критик. Окончила экономический факультет МГПУ по специальности «менеджмент в сфере образования». Публиковалась в журналах «Урал», «Наш современник», «Дети Ра», «Цветные строчки», «Зинзивер», «День и Ночь», «Зарубежные записки», альманахе «День поэзии», газетах «Экслибрис НГ», «Литературные известия», «Поэтоград». Родилась и живет в Москве.

как страшно жить, печаль глуша
безумных будней круговертью...
... а в облаках — твоя душа,
приговорённая к бессмертью.

Отец Андрей надел фелонь. Внезапно в горле запершило. Терзаем смутною виной, он чувствовал себя паршиво, встречая благостную рань и с мыслями собраться силась. Ладони холодила ткань и мягким золотом светилась.

...Она вбежала в тёмный храм: на всенощной тушили свечи; тонка — натянутый вольфрам, дрожали сгорбленные плечи, потёрся на губах сухих блеск вазелиновой помады. Дверь хлопнула. Народ притих. Погасли свечи и лампы. Рассеялся белёсый дым от серебристого кадила.

Гражданка бросилась к нему и крепко за руку схватила. Вцепилась в локоть: как мешок повисла, глухо причитая. Зелёный старенький платок, седая чёлка завитая... Окаменел десяток лиц: чего ей надо, приставале?
— Отец родимый, помолись... внучка-то мобилизовали...

Священник руки опустил — кольнула в подреберье жалость. Сдержат себя хватило сил — кивнув, чтоб служба продолжалась, шепнул ей, слышимо едва, покуда дьяконы базили:
— Вон там, в углу, стоит вдова. Сапёром был Герой России.

как хороши приморские города...
перед глазами — ласковая вода:
полдень тягучий, отпуск в Геленджике.
ты беззаботно дремлешь на лежаке.

в мокром песке остался глубокий след.
тихая бухта ловит небесный свет —
и синева скользит по ногам босым.
— Пап, ты вернёшься?
— Бог его знает, сын...

с гор потянулся бархатный ветерок.
а перед смертью — не надышаться впрок:
грудь молодая воздух морской вдохнёт.

...гарью запахло.
выплюнул первый залп
новенький миномёт.

Марат Баскин

ЖЗЖ (Жизнь Замечательных Животных)

Чуча, северный волк

Идет охота на волков, идет охота...

Владимир Высоцкий

Чуча был самым настоящим северным волком. Привез Лейба его с тундры, с Чукотки, где много лет проработал бухгалтером на прииске. И поэтому Чучу краснопольские остряки моментально переименовали в Чукчу, но при Лейбе с Чучей не решались произносить эту кличку. Краснопольские собаки встретили Чучу неприветливо. При виде его они буквально изводились криком, но он ничем не отвечал на их лай, презрительно смотрел на них, и они в конце концов успокоились, но в свою компанию его не приняли и дом Лейбы обегали стороной, если им доводилась гулять без ошейника. Лейба работал бухгалтером в местном банке, жил один, бирюком, в старом доме, оставшемся ему от родителей. Хоть родители его были в Краснополе довольно известные люди: отец Меер-Довид работал врачом, а мать Сарра-Лзя акушеркой, о Лейбе никто толком ничего не мог сказать. Вся его жизнь прошла вдалеке от Краснополя, а его родители о сыне почти ничего не говорили. Их дальняя родственница Нехаме тоже не распространялась о Лейбе, правда, когда родители Лейбы умерли, кое о чем проговорилась. И тогда поползли по местечку слухи о его жене, о лагере, о том, что он живет где-то на краю земли. С появлением в Краснополе Лейбы Нехаме опять замолчала, как молчала при его родителях. Она всегда держалась от их семьи подальше, то ли из-за того, что Лейба сидел, то ли из-за каких-то неизвестных распрей в мишпохе. Говорили, что Лейба учился в медицинском институте, когда началось дело врачей, его, арестовали, забрали буквально перед окончанием института, отсидел он в лагере года два, потом его реабилитировали, но он не вернулся в институт, а остался жить в тех краях, где сидел, стал работать на прииске бухгалтером. Но все это были только разговоры, в паспорт к Лейбе никто не заглядывал, а он сам не подтверждал эту историю, но и не отрицал. Вообще, он был молчаливым, как и его волк. Приехав в Краснополе, он зашел к Нехаме, кто знает, о чем они говорили, но больше он к ней не заходил. В первое время, как он появился в Краснополе, к нему пытались свататься местные молодницы, но они быстро убедились в бесполезности сво-

Марат Баскин (1946) — родился в поселке Краснополе, в Беларуси. С 1992 г. живет в Нью-Йорке. По первой профессии инженер. Пишет повести и рассказы о Краснополе и краснопольцах. Печатался в журналах «Неман», «Крещатик», «Урал», «Мишпоха», «Этажи», «Особняк», в русскоязычных еженедельниках США, Израиля, Беларуси, в различных антологиях. Переводился на английский, болгарский, литовский языки.

их надежд. И бросили это глупое дело. Друзей он тоже не завел и только с соседом парикмахером Хаимом-Шмулей иногда перебрасывался парой слов, чтобы потом эти слова, приукрашенные Шмулей, расползались по Краснополью. Говорил Лейба с Хаимом в основном о волке, но все его рассказы о нем переплетались с его собственной жизнью и волей-неволей были историями самого Лейбы. О женитьбе Лейбы в Краснополье узнали после того, как он рассказал Шмуле, что волка подарил ему тесть. Подарил маленького волчонка в день свадьбы, куда явился прямо с охоты.

— «Удачная была охота, — сказал, — значит, и жизнь будет у вас удачная!» — повторил слова тестя Лейба и добавил, ничего не объясняя: — Удачная, да короткая.

А потом как-то сказал, что начальник соседнего прииска хотел забрать у него Чучу:

— Золотые горы обещал. В прямом смысле. Три самородка предлагал. Только разве память можно обменять на золото? Чуча — это моя память о ней!

— О ком? — переспросил Шмуля.

Лейба махнул рукой и ничего не сказал.

А потом, как-то Шмуля поинтересовался, кто сильнее волк или медведь.

Лейба пожал плечами и ответил:

— Не знаю. — А потом сказал: — Однажды Чуча загрыз белого медведя. Правда, после этого еле выходил я его... Но может это исключение из правил. — Лейба вздохнул и, ласково потрепав за холку Чучу, пояснил: — Медведь напал на Йиенгу сзади. Как подлец. А Чуча, как и я, не любит подлецов...

Лейба не объяснил, кто такая Йиенга, но Шмуля догадался, что она была женой Лейбы, а когда однажды Лейба показал Шмуле вырезанного из моржового клыка волчонка, прижавшегося к раскосой северной женщине, и сказал, что это маленький Чуча и его хозяйка, Шмуля уверился в своих догадках...

Надо сказать, что и с сослуживцами в банке Лейба если и говорил про жизнь, то только про Чучу, как будто у него не могло быть иных тем и проблем.

И еще он говорил, что этот волк умный, как человек. И всегда добавлял, что, может быть, и умнее. Надо сказать, что в Краснополье Лейбу из-за этих слов считали абиселэ нит ин зих, что по-русски значило «как немножко не в себе». И именно этим объясняли его рассказы о волке.

Несмотря на смиренное поведение Чучи, Шмуля смотрел на него всегда с опаской и говорил в парикмахерской, что за миллионы не согласился бы держать дома такого зверя.

— А волф варлирт зайн гор, обэр ништ зайн натур, — объяснял Шмуля свою неприязнь к Чуче. — Волк каждый год линяет, а норы не меняет!

Но жизнь иногда устраивает невероятные вещи, и Шмуля неожиданно оказался владельцем Чучи. Милиционеры приехали за Лейбой ночью, предъявили ему постановление анадырского прокурора о немедленной доставке его в Анадырь по делу о хищениях на прииске. Лейба молча прочитал постановление, расписался, собрал рюкзак и попросил милиционеров разрешить ему отвести Чучу к соседу. Милиционеры были могилевские, с областного ОБХСС, и с ними местный участковый Степан Хруня, Егерь, как его звали в поселке. Работал он раньше егерем в Беловежской пуще, попал там под раздачу большому начальству, говорили, чуть ли ни сам Хрущев был, и его уволили. И тогда он переехал со всей семьей к тетке в Краснополье. Тетка работала уборщицей в милиции и пристроила туда милиционером своего племянника. Егерь был согласен разрешить Лейбе отвести собаку Шмуле, но могилевские, опасливо глядя на Чучу, сказали, что отвязывать собаку нельзя, а соседу участковый передаст утром, чтобы забрал собаку. Лейбе даже не разрешили подойти к Чуче, и они попрощались взглядом. Чуча не метался, не рвался с цепи, а молча, смотрел на Лейбу и, как потом рассказывал Степан, по-волчьи плакал. Молча, без слез.

Рано утром по дороге на работу Степан зашел к Шмуле и передал ему просьбу Лейбы.

Шмуля испуганно выслушал рассказ Степана о ночном аресте соседа и сразу же начал отказываться от Чучи, предлагая Степану его забрать и делать с ним, что он хочет:

— Мне надо этот волк!? Он ведь, бандит, как его хозяин!

— Да не бандит Лейба, — возразил Степан, — его вызвали по бухгалтерской линии! Растрата там! Могут, конечно, и вышку дать! Сейчас мода такая пошла! Директора Елисеевского в Москве поставили к стенке, под разборку может и Лейба попасть! Только он не бандит! — Степан вздохнул, вспомнив о своем, и объяснил, почему не может забрать Чучу: — У меня кобель и волк самец! Не уживутся! А так бы я сам его взял! По глазам вижу умный зверь!

— Ну, возьми его, — умолял Шмея, но Степан наотрез отказался:

— Я же тебе объяснил, почему не могу! Если надо что с Чучей помочь — помогу! А взять не могу! — он развел руками и, махнув рукой, ушел, оставив Шмулю сам на сам с волком.

Все утро Шмуля переживал свалившуюся на него заботу и, так и не покормив Чучу, ушел на работу и там, едва переступив порог, начал всем жаловаться на жизнь:

— Вос тутмэн? Что делать? Как только Лейба приехал сюда со своей Чукотки, я понял, что это добром для меня не кончится! Оставил бы этого зверя своей тетке, так нет — мне!

Жаловался он так почти полдня, пока зашедший в парикмахерскую санитар с ветлечебницы не посоветовал ему отвязать Чучу с цепи и пусть идет на все четыре стороны:

— Побегает, побегает по местечку, да в лес убежит!

И он же взялся отвязать Чучу за бесплатную стрижку в течение месяца. Шмуля готов был его стричь бесплатно хоть целый год, и через каких-нибудь полчаса Чуча, освобожденный от цепи, оказался предоставленным самому себе. На удивление освободителям, он никуда не побежал, а остался сидеть возле своей будки, как будто на нем оставалась цепь. Почти целую неделю он не выходил со двора, а потом внезапно исчез из поселка, покинув двор где-то среди ночи, и все поговаривали, что он пошел пешком на Чукотку...

Через полгода, когда все уже почти забыли про Чучу и про Лейбу, Чуча неожиданно вечером появился на автобусной остановке, как раз перед приходом последнего автобуса из Кричева. Автобус приходил поздно ночью, вокзал к этому времени был уже закрыт, и на остановке было только несколько человек. В первый день люди на Чучу не обратили внимания, приняв его за бродячую собаку. Чуча дождался автобуса, долго вглядывался в приехавших пассажиров и, проводив последнего взглядом, скрылся в темноте. На следующий день кто-то из пассажиров узнал Чучу и по поселку пошел слух о возвращении волка. А на четвертый день кричевским автобусом приехал какой-то родственник секретаря райкома, и на завтра секретарь вызвал начальника милиции и приказал застрелить волка.

— Среди бела дня по поселку бродит волк, и милиция не реагирует, — раскричался секретарь райкома. — Скоро волки будут ходить по райкому!

Начальник милиции хотел уточнить, что волк бродит не среди бела дня, а почти ночью, но промолчал. В тот же день он назначил группу по отстрелу волка, включив в нее Егеря как специалиста по диким зверям. Всем выдали пистолеты, а Степан пришел со своим охотничьим ружьем.

— Из пистолета вы волка не убьете, а в случайного прохожего попасть можете, — объяснил Степан свое появление с ружьем. — А я его с первого выстрела уложу!

Водителя автобуса предупредили, чтобы пассажиров выпустил на площади, не доезжая вокзала, и на дверях вокзала поместили об этом объявление для встречающих. Сами милиционеры разместились в грузовой машине напротив вокзала, возле киоска с мороженым. Чуча появился из темноты как

всегда неожиданно и замер буквально на самой остановке, освещенный при- вокзальными фонарями. Не увидев людей, он удивленно повел головой, но не убежал, а остался ждать автобус.

— Стреляй! — шепотом скомандовал начальник милиции.

Степан кивнул, обернулся на замерших у борта милиционеров, показал им пальцем, чтобы ни стреляли и нажал на курок. И сразу же вслед за выстрелом, буквально вывалился из кузова, подставляя спину под пистолеты милиционеров, и побежал к Чуче. Волк подпрыгнул, сделал пируэт в воздухе и, вытянув лапы, рухнул на землю, прямо у столба с фонарем. Степан поднял его за передние лапы, встряхнул, любуясь блеском шерсти, и бросил в мешок. Потом повернулся к подбежавшим милиционерам и доложил:

— Все! Операция закончена!

— Премию выпишу,— сказал начальник милиции и добавил: — Шкуру снимешь, подарим первому секретарю! Только обработай хорошо!

Степан кивнул...

Назавтра краснопольская газета сообщила о доблестной победе милиции... А через два дня в Краснополье вернулся Лейба. Приехал он последним кричевским автобусом. Кто-то в автобусе успел ему рассказать о судьбе волка, погубив радость от возвращения домой.

Лейба долго стоял у будки Чучи, прежде чем открыл дверь дома... А войдя в дом, снял со шкафа большой чемодан, с которым когда-то приехал в Краснополье, поставил его посреди комнаты и принялся заполнять его вещами, не особо утруждаясь раздумьями, нужны ли ему будут эти вещи там или нет. Ибо он еще не знал, где это будет Там. Но точно знал, что ему надо уезжать из Краснополя и как можно скорее, ибо он не мог продолжать жить с теми, кто не помог Чучу. Когда чемодан заполнился до краев, он сел за стол, подперев голову руками, и так сидел очень долго, пока усталость не взяла свое, глаза закрылись, и он провалился в сон... Проснулся он под утро от прикосновения к лицу чего-то влажного и шершавого. Лейба встрепенулся: на него смотрели знакомые зеленые волчьи глаза! Став передними лапами ему на колени, Чуча осторожно лизал его лицо, как когда-то в тундре, когда их застала пурга вдалеке от поселка... Лейба несколько минут ошарашено смотрел на волка, не понимая сон это или явь, потом повернул голову в бок и увидел Степана, переминающего с ноги на ногу у порога...

— Ты? — почему-то спросил Лейба, неизвестно что вкладывая в свой вопрос...

— Я, — хмыкнул Степан и, не дожидаясь нового вопроса, объяснил воскресение Чучи: — Пулю я с сонной ампулой всадил! Зубра она минут за двадцать валит! А волка сразу! Трое суток спал! Главное знать, куда стрелять! Не впервой мне такое дело! — и добавил: — А я чувствовал, что ты вернешься. Просто так Чуча не прибежал бы на станцию... Зверь поумней человека будет... Вот такая шутка...

— С работы тебя могут снять за такую шутку, — заметил Лейба.

— Не пропаду,— усмехнулся Степан. — Все-таки я — Егерь! — И, подмигнув Чуче, добавил: — А премию мне не дали! Сказали, хватит того, что в газете о тебе написали!

Корова Нюся

Всем дает здоровье
Молоко коровье.

С. Маршак

Не знаю, кто придумал нашей корове имя Нюся, но с таким именем мы ее купили. Купил ее папа, как только я родился. Ибо в Краснополье молоко в магазинах не продавалось, а покупать у соседей было дороже, чем содержать

свою корову. Папа собрал к ярмарке кое-какие деньги и с утра пошел на базар. Молочных коров редко продавали на ярмарке, торговали в основном телятами. Конечно, можно было бы купить телочку и растить из нее корову, но об этом надо было думать до рождения ребенка, а сейчас папе нужна была корова, которая сразу дает молоко. Особого выбора на базаре не было: всего три коровы — и те не особо приглянулись папе. И он уже, расстроенный, собирался идти домой, но случайно встретил знакомого учителя из Выдренки, который привез на базар продавать курей. Поговорил с ним, и тот, узнав, что папа ищет хорошую корову, сказал, что у его соседей две хорошие коровы — голландки и одну они собираются продавать. Должны приехать на ярмарку сегодня.

— Подожди, Маркович, скоро они явятся!

И вправду примерно через час они появились на базаре. Папа, конечно, кинулся сразу к ним, но они назвали такую цену, к которой папа со своими деньгами подступиться не мог. Папин знакомый попытался уговорить их сбавить цену, но ничего у него не получилось. Папе корова очень понравилась, и он побежал к парикмахерской, где работали его братья, чтобы взять займы у них денег на корову. Пока они ходили домой за деньгами, пока их жены решили, дать деньги или нет и сколько, прошло несколько часов, и когда папа вернулся на базар, корову с Выдренки он не нашел. Хозяин коровы стоял возле своей подводы и всем объяснял, что корова почему-то очумела, сорвалась с привязи и убежала неизвестно куда.

— Не карова была, а цяля! Клікнеш: Нюся! З другога краю вескі пачуе і бяжыць! І на табе! Важжа пад хвост трапіла! Вяроуку парвала і збегла! і дзе я яе цяпер знайду!? — жаловался хозяин, едва не плача. Увидев папу, в сердцах сказал: — Лепей табе б уступіў! Нездарма кажуць, за доугім рублем пацягнуешся, апошнюю капейку згубіш! (Не корова была, а теленок! Позовешь — Нюся! С другого края деревни бежит! И на тебе! Веревка под хвост попала! Лучше бы уступил! Не напрасно говорят: за длинным рублем погонишься, последнюю копейку потеряешь! — бел.)

Папа посочувствовал ему и пошел домой. Что оставалось делать? Попробовать поездить по деревням или подъехать на ярмарку в Пропойск. Но, подойдя к дому, папа неожиданно увидел у нашей калитки сбежавшую корову, которую он узнал по белому пятну, окружавшему рога. Она дергала рогами дверную клямку, стараясь приподнять щеколду и войти во двор. Почему она пришла к нам, никто никогда не мог объяснить. Только бабушка сказала:

— Вэн Гот велт, ал махцах! (Когда Бог желает, все делается! — идиш)

Загнав корову во двор, папа опять побежал на базар искать хозяина. Нашел он его с помощью знакомого в забегаловке возле автобусной станции. Там он запивал потерю. Узнав, что пропажа нашлась, он очень обрадовался и тут же предложил папе купить корову, за предложенную папой первоначально цену:

— Не буду з цябе лішніх грошай браць! Яна ж сама да цябе пайшла, а тут грэх лішнія грошы браць! Пейце малачко на здароуе! (Не буду с тебя лишние деньги брать! Она же сама пришла к тебе, и тут грех лишние деньги брать! Пейте молочко на здоровье! — бел.)

Так корова Нюся у нас оказалась. Была она и вправду и тихой, и ласковой, и молочной. Но с характером. И этот характер познала бабушкина родственница из Москвы, которую звали, как и корову Нюсей. Когда бабушка написала ей письмо, что мы купили корову, в Москве зашевелились и впервые за десять лет решили приехать к нам на молоко, как написала тетя Нюся.

Тетя Нюся приехала к нам на сырадойчик, чтобы поправить здоровье от городской жизни. И появившись на нашем пороге, она сразу заинтересовалась, где наша корова. Бабушка сказала, что она пасется в поле. Тетя Нюся попыталась уговорить бабушку пойти с нею в поле, чтобы познакомиться с Нюсей, но бабушка сказала, что до поля далеко, и сейчас гонят коров на ранки, то есть выгоняют их в поле до рассвета, а днем, в жару, пригоняют на несколько часов домой для дойки, и посему тетя Нюся скоро сможет ли-

цезреть корову Нюсю во дворе и выпить первую кружку сыродоя. Корова Нюся, как всегда, постучала рогами в калитку, и бабушка впустила ее во двор. Тетя Нюся выскочила на крыльцо с кружкой, как будто корова должна была принести ей молоко в бидоне, а не в цыцках, как по-простому объяснила ей бабушка. Корова окинула тетю подозрительным взглядом и пошла в сарай, дожидаться бабушку с доенкой. Бабушка не заставила ее ждать, ибо вымя у коровы было уже переполнено. Но появление с бабушкой тети Нюси с кружкой корову совсем не воодушевило. Не успели первые капли молока застучать по дну ведра, как тетя Нюся протянула бабушке свою кружку:

— Первое молоко самое полезное, — прокомментировала она свое желание.

Бабушка послушно взяла у нее кружку, и наполнила молоком. Выпив его, тетя Нюся не покинула сарай, а стала дожидаться окончания дойки. Корова время от времени поворачивала голову, неодобрительно смотрела на тетю, но молчала, продолжая жевать жвачку. Когда бабушка встала с ведром, тетя Нюся неожиданно взяла у бабушки ведро с молоком и пошла к умывальнику, висевшему во дворе. Бабушка удивленно посмотрела на нее, не понимая ее движений, но когда тетя Нюся перелила молоко из доенки в умывальник, бабушка ойкнула и спросила:

— Нюся, воз ду туст? (Нюся, что ты делаешь? — идиш.)

— Умывание свежим молоком полезно для кожи, — пояснила Нюся и добавила, — жалко, что у вас нет ванны. Ванна из свежего молока укрепляет организм. Так говорит доктор Левенбук! А он лечит самого товарища Сталина.

Бабушка о докторе Левенбуке ничего не знала, но поняла, что сегодня молока внуку не достанется. Не доставалось его и в последующие дни. Каждый раз корова Нюся наблюдала за этими манипуляциями с ее молоком, и взгляд ее с каждым разом становился все тяжелей и тяжелей. Но, как и бабушка, она терпела. Бабушка могла терпеть долго, ибо для нее желание гостей было выше всего. А корова не выдержала после того, как тетя Нюся все же устроила ванну из молока в ночевках, в которых бабушка стирала белье. Для ванной понадобилась не только утреннее, но и вечернее молоко. Тетя Нюся плескалась во дворе, радуясь сельской жизни, а корова Нюся, прервав жвачку, мотала головой, то ли отгоняя шершней, то ли высказывая свое неодобрение.

Утром бабушка, как всегда в пять утра, вывела корову на ранки и, вернувшись в дом, начала хлопотать на кухне. Но возилась бабушка на кухне в это утро недолго: неожиданно прибежал к нам подпасок и сказал, что наша Нюся отбилась от стада, забралась в кусты дурнопьяна и наелась ядовитых ягод! Живот у нее вздулся и надо бежать за ветеринаром. Ветврачом был бывший папин ученик, жил он недалеко от нас, и папа побежал сразу к нему домой. В это утро хватило всем забот, но после укола корова успокоилась, а ветврач успокоил нас, сказав, что поколет недельку и все пройдет, правда, молоко нельзя будет пить недели две. Тетя Нюся, услышав такие слова, схватилась за голову:

— Неужели две недели нельзя будет пить молоко, молодой человек? — бросилась она переспрашивать врача. — У нас в Москве отравление лечат в течение суток! — укоризненно сказала она.

— Это у вас в Москве сутки, — хмыкнул врач, — а у нас, в Краснополье, четырнадцать дней!

— А умываться этим молоком можно? — с последней надеждой спросила тетя Нюся.

Ветврач сделал удивленное лицо: молоком в Краснополье никто никогда не умывался. Потом посмотрел на папу и, прочитав по выражению его лица нужный ответ, решительно сказал:

— Помоемся молочком, в коровку превратитесь! Как в сказке! Очень опасное заболевание! Кожа пигментирует, — ввел он заумное слово и подмигнул папе.

После этих слов тетя Нюся немедленно стала собираться в обратный путь.

— Не хватало мне еще получить здесь инфекцию. Я в вашем доме больше ничего не возьму в рот! — сказала она, но от бабушкиных вкусностей не отказалась и заполнила ими два огромных чемодана. С одним она приехала, а второй мы ей отдали наш.

Дедушка договорился с шоферами, что ехали в Кричев за товаром, подвезти ее до станции, к московскому поезду. И папа поехал с ней, чтобы помочь загрузить чемоданы в вагон.

А корова дня через четыре поправилась и нам разрешили пить молоко.

Корова Нюся была у нас долго, пока не пришла к ней старость. Старых коров сдавали в местечке в совхоз, который потом отправлял их в Могилев на мясокомбинат. Но никто у нас не решался сдать Нюсю. И видеть, как она слабеет на наших глазах, было тоже больно. И Нюся своим коровьим чутьем поняла это. И, как говорила бабушка, чтобы не мучить нас, убежала из стада, когда пастух привел коров на опушку леса. Заметил пастух ее исчезновение, когда собрался гнать стадо домой. Ее долго искали, но не нашли. Леса вокруг Краснополья были густые, не проходимые. Тянулись они до самого Брянска....

Кот, который все помнил

Божа, паспагадай усім, —
І магутнаму, і слабому,
І відушчаму, і сляпому,
Каб у згодзе жылося ім.
Божа, паспагадай усім, —
Каб вайной не йшоў
Брат на брата,
Каб ржавела сякера ў ката,
Каб вячэраю пахнуў дым.
Божа, паспагадай усім!

Рыгор Барадулін

Хоня Кремер жил в этом доме до войны. Во время войны ни его жена с детьми, ни родители не успели уехать с Краснополья и все погибли в гетто. Вернулся он один в свой старый дом на краю местечка. Единственный, кто ждал его дома, был их довоенный кот Лантух. Так его назвал сынок Хони Наумчик. На идише, лантух — это черт-проказник, вроде домового, и кот был именно таким домашним проказником. Что только он не вытворял: и забирался в кастрюлю с супом, и утаскивал кусочек рыбы буквально из-под рук, и охотился за соседскими цыплятами.

— Лантух ис лантух, — успокаивала всех после проделок кота Хонина мама Рива-Клара, — вос эр вонт, эр тут! Эр, ви а кохлэфл! Эр крыхт ву мэ дарф ун ву мэ ви дарф нйт! (Проказник всегда проказник, что он хочет, то он делает! Он как ложка для супа! Он забирается туда, куда надо, и туда, куда не надо тоже! — идиш)

Когда Хоня вошел в дом и, бросив на пол свой солдатский мешок, сел за стол, то услышал знакомое мяуканье, и откуда-то из-под печки появился облезлый, худой, весь в саже Лантух. Сделав два шага, он остановился и удивленно стал рассматривать Хоню, не зная, верить своим глазам или нет. Потом он прыгнул на стол, прошелся по нему и подставил спинку под руку Хоне. Когда-то он вот так подставлял спинку Наумчику. Хоня погладил кота по спине и, вынув из кармана кусочек хлеба, протянул ему. Кот не заурчал, как когда-то, а просто схватил хлеб и стал жадно кушать его. Наверное, это был у него первый послевоенный хлеб.

Прямо за домиком начиналось поле, вдали за полем виднелся лес, и улица переходила в проселочную дорогу, которая вела в этот лес. А перед лесом был ров, в котором убивали евреев, в котором лежала и вся Хонина мишпоха. Хоня все время надеялся, что кто-нибудь построит рядом с ним дом, и он не будет жить на краю, но почему-то никто не строился в этом месте. Со стороны поселка рядом с домом Хони было тоже пусто: стоял заброшенный дом, в котором, когда Хоня вернулся с фронта, никто не жил. До войны здесь жил Трофим, бухгалтер Молокозавода. Во время войны он стал полицейским и, как рассказывали, особо отличился, убивая евреев. Как говорили на суде, он убивал детей, разбивая их головки о забор. Его осудили на двадцать лет. И дом его остался стоять заколоченным и пустым. Семья Трофима, боясь людского гнева, переехала после войны в дальнюю деревню, где у них была родня. Они пытались дом продать, но никто не решился покупать это проклятое место. Хоня сначала тоже хотел продать свой дом и перебраться куда-нибудь подальше и от дома палача, и от рва, но и на его дом не нашлись покупатели, и он остался в нем жить. Вернулся он с войны не стариком, и местные вдовушки поглядывали на него с надеждой, и даже местный неофициальный реб Борух-Шлома как-то остановил его и поговорил на деликатную тему, сказав, что жизнь течет, старое не вернуть. Хоня согласился с ним, но в конце разговора сказал:

— Они рядом во рве. Два шага от моего дома. Каждый день я им в глаза смотрю. Мне кажется, когда я сплю, они приходят в дом. Кот, конечно, их видит, но мне рассказать об этом не может. Но по глазам его я вижу, что он их видит каждую ночь. Вчера откуда-то притащил тряпачного клоуна, которого когда-то давно я купил Наумчику на базаре, в автолавке из Пропойска. Клоун был обгоревший и черный от сажи, как сам Лантух, когда я вернулся. Притащил и положил передо мной! Ну, скажите, откуда он взял клоуна, реб Борух? Не иначе, как Наумчик ему принес! А вы говорите, женись! Вот приведу я в дом новую жену, а они придут и увидят. И что я им скажу?

Устроился Хоня работать на автостанцию диспетчером. Автостанция находилась на противоположном от дома Хони краю местечка. Идти до нее было минут сорок. Первый автобус уходил в пять утра к Кричевскому поезду, и Хоня шел к нему затемно. Выйдя из дома, он несколько минут молча смотрел в сторону рва, потом переходил на противоположную сторону улицы, чтобы не проходить возле дома Трофима, и шел на работу. Возвращался он тоже поздно, встретив последний автобус из Минска. Чаще всего этот автобус задерживался, и приходил домой Хоня где-то около двух часов ночи. Лантух и провожал, и ждал его всегда возле калитки. Заметив его, он, как уважающий себя кот, не бежал навстречу, а продолжал сидеть, ожидая приближения Хони. Когда они встречались, то оба поворачивались в сторону рва, несколько минут молча смотрели в ту сторону, а потом шли в дом ужинать.

Лантух, как и Хоня, был непереборливым в еде, особенных изысканностей Хоня не варил, чаще всего готовил картофельный суп и тушеную картошку. И этим делился с котом. Правда, всегда перед ужином наливал Хоня себе и Лантуху немного сливовой наливки, которую сам делал из единственной сливы, уцелевшей от большого довоенного сада. Так и проходила их жизнь год за годом и, может, дальше текла бы с той же неторопливостью, если бы однажды, встречая последний автобус, Хоня, неожиданно для себя, не увидел, выходящего из автобуса Трофима. Последний раз он видел его до войны, в предпоследнее перед войной воскресенье. Была как раз первая в том году ярмарка, и они по-соседски купили вместе овечку на мясо. Вместе раздвигали ее на дворе у Трофима. Осудили Трофима за полгода до того, как Хоня вернулся в местечко. Хоня вычеркнул его из своей памяти, надеясь, что не увидит его больше в своей жизни. Двадцать пять лет ему казалось огромным сроком. Может, и вправду это был огромный срок, но вышел Трофим из автобуса ровно через десять лет и четыре месяца, как милицкий воронок увез его из местечка. Сойдя с автобуса, Трофим осмотрелся, и взгляд

его, как-то сразу уткнулся в Хоню, может потому, что никого из местных не увидел на вокзале: местные приезжали по пятницам, а в среду пассажирами были в основном командированные. И единственным знакомым человеком был Хоня.

— Здравствуй, сосед,— сказал Трофим, как будто ничего за то время, как они не виделись, не произошло, и протянул руку.

Хоня по инерции протянул руку в ответ, но спохватившись, отдернул ее, как будто натолкнулся на горячую сковороду. Трофим по-своему понял его движение и сказал:

— Я — не беглый. Меня освободили. Досрочно. За примерное поведение и раскаяние. Государство простило! Товарищ Сталин снял грех с души. Испустил я свою вину! — Добавил: — И в вашей религии говорится, покающийся грешник не грешник!

Хоня никак не среагировал на его слова, и тогда Трофим спросил:

— В старой хате живешь или в новую избу перебрался?

— В старой, — ответил Хоня.

— Значит, опять соседи. В одну сторону идти!

Всю дорогу до дома Хоня молчал, а Трофим говорил без остановки, как будто выговаривался за все тюремные годы. Говорил о довоенной жизни, вспоминал школьные истории, как-никак они учились когда-то в одном классе. Но его слова не доходили до Хони, как будто вдруг заложило уши и в них только что щелкало, как после контузии, от разорвавшегося рядом снаряда. На этот раз впервые за все годы Хоня не перешел на противоположную сторону улицы, а прошел до Трофимовой калитки, и, не кивнув Трофиму на прощание, пошел к своему дому. Лантух встретил его на этот раз не у калитки, а на краю палисадника, прямо на Трофимовой меже. Он изогнул спину, как будто готовился к драке, и смотрел в сторону соседского дома.

— Трофим вернулся,— тихо сказал Хоня, обращаясь к коту, и вопросительно посмотрев на него, спросил то ли кота, то ли самого себя: — И как нам жить дальше?

Кот ничего не ответил.

Возле калитки они, как обычно посмотрели в сторону рва, и Хоня повторил свой вопрос:

— И как нам жить дальше?

В этот вечер он ничего не ел. Только выпил наливку и пошел спать. Кот от еды не отказался. Хоня всю ночь ворочался в постели, вскрикивал во сне. От его криков Лантух вздрагивал, но продолжал спать.

Назавтра в дом вернулась Трофимова жена Настя. Приехала она со свояками. На трех подводах привезли скarb. Стало понятно, что собрались они жить здесь долго.

Разгрузив все, отметили возвращение Трофима и поздно вечером свояки уехали. Лантух весь день сидел на заборе и наблюдал за соседскими хлопотами. Трофим на кота не обращал внимания, а Настя, когда отъехали гости, сказала:

— Смотри, Трофим, это ж их довоенный. Всю войну не видели.

— Он,— удивленно признал Трофим.— А я думал, что издох вместе с жидами. Я ж его в яму столкнул до них. И землей присыпал. У него жидовское имя было. Помнишь?

— Уж не помню, столько лет прошло, — пожала плечами Настя и озабоченно добавила: — А он весь день сидит, как будто, за нами наблюдает.

— Донаблюдается, — буркнул Трофим и фыркнул в сторону кота. Но тот не шелохнулся.

Когда Хоня возвращался с работы, свет в доме соседа уже не горел, но сам сосед сидел на завалинке и курил, будто поджидая соседа. Хоня, не доходя до соседской избы, собрался перейти на противоположную сторону, но Трофим окликнул его:

— Может, отметим мой приезд? Братан хорошую самогонку привез.

— Не пью, — сказал Хоня и почему-то извиняющееся добавил: — Мне завтра к пяти на работу.

— Как знаешь, — сказал Трофим и неожиданно спросил: — А как кота твоего звать? Сегодня увидел, сразу узнал. Ваш, довоенный. Помнил раньше, как его звали, а теперь запамätовал.

— Лантух, — сказал Хоня.

— Во-во, вспомнил, — сказал Трофим. — Чертенюк, значит, по-вашему. Ох, помню, цыплют он у нас таскал. Моя хотела ему голову скрутить за это. Смотри, что бы опять за старое не принялся. Настя выводок привезла. Будем курей разводить. Предупреди его!

— Он что человек, чтобы предупреждение понимать, — пожал плечами Хоня и добавил: — Ему и без твоих цыплют еды хватает.

— Мое дело сказать, твое дело послушать, — хмыкнул Трофим и затащился самокруткой.

И в эту ночь Хоня спал беспокойно. Опять ворочался и стонал.

Утром, вспомнив слова соседа, он оставил кота дома. Но как только щелкнул дверной замок, кот спокойно вспрыгнул на скамейку в сенцах, а с нее перепрыгнул на бочку с квашеной капустой, а оттуда на маленькое не застекленное окошко в стене, которое было вырублено для того, чтобы соленье, хранившееся в пристройке, не плесневело. Посидев несколько минут на окошке, Лантух осмотрелся по сторонам и прыгнул на забор. И замер, обозревая соседский двор.

Выйдя утром во двор по нужде и, увидев на заборе кота, Трофим, прежде чем сделать свое дело, подошел к скирде с дровами, и, взяв полено, швырнул им в кота. Кот подпрыгнул, пропустив летящее полено под собой, и как ни в чем не бывало опять приземлился на то же самое место на заборе.

Трофим выругался и, под наблюдением кота, сделав свое дело, вернувшись в дом, сказал:

— Опять жидовская морда смотрит! Надо Фрица привезти из деревни.

— Так Авдей не отдаст, он у него сад сторожит, — сказала Настя.

— Да не на все время он мне нужен! Загрызет эту падлу, и вернем! — хмыкнул Трофим и неожиданно рассмеявшись, добавил: — Загрызть не дам сразу, лапы отрублю, пусть на животе ползает. Я, когда малой был, любил такие штучки устраивать. Как в цирке!

Ничего не зная о готовящейся расправе, кот продолжал ежедневно сидеть на соседском заборе. Всякие уловки с камнями и поленьями на него не действовали и только больше изводили соседа. Хоня удивлялся появлению соседских дров на своем дворе, но ни о чем не спрашивал у соседа, собирал их и молча, относил назад. Про проделки Лантуха он не знал, ибо, придя домой находил кота, греющегося на лежанке....

Авдей привез собаку в воскресенье. Это был громадный черный ротвейлер, наверное, единственный во всем районе такой породы. Досталась собака Трофиму, от немцев: майор фон Шульц, отправляясь в отпуск в Германию, поручил Трофиму присматривать за собакой. Но из отпуска он не вернулся: разбомбили поезд, в котором он ехал, и собака осталась у Трофима. А потом Трофим отдал ее брату, в деревню, чтобы от партизан охраняла.

Фрица Тимофеем посадил на длинную цепь, что бы у него была возможность доскочить до забора и схватить Лантуха. Хоня работал и по выходным, ибо в выходные автобусов прибывало и уходило от станции значительно больше, чем в будни. Как всегда, закрыв кота дома, он ушел и, Лантух занял свой пост на заборе. Фрица привезли при нем.

— Вот она, жидовская падла, — сказал Трофим, показывая брату на кота.

Тот, как и Трофим, поупражнялся в метании камней и поленьев в кота, но, как и у Трофима, старания его оказались безрезультатными. Фриц, как только его сняли с подводы, завидев кота, начал метаться и лаять. Но Лантух абсолютно спокойно встретил эти угрозы. Даже стал издевательски изгибать шею и шипеть на мечущегося Фрица. Посадил Трофим собаку на длинную цепь,

чтобы она доставала до забора. Но перепрыгнуть через забор ротвейлер с цепкой не мог. И это понял кот. Он подпускал собаку поближе и буквально перед ней спрыгивал на свою сторону, чтобы через секунду опять вскочить на свое место, доводя собаку до бешенства. Трофим с братом полчаса наблюдали за бесполезными усилиями Фрица добраться до Лантуха, и потом, плюнув, пошли выпивать в дом. За столом не выдержав, Трофим сказал:

— Надо спустить Фрица с цепи. Иначе он его не поймает! Этот кот, хитрый, как тысячу жидов! Но Фриц все хитрики жидов знает!

Брат замахал руками, отговаривая от этой затеи Трофима:

— Назад на цепь не посадишь! Он же Фриц, по-нашему не понимает!

— А я по-ихнему понимаю, — хмыкнул Трофим.

После застолья брат с женой Трофима пошли походить по магазинам, а Трофим опять вышел на двор. Фриц заливался лаем, а кот продолжал сидеть на заборе и издеваться над собакой.

— Как все ваши во рве будешь лежать, жидовский кот, — сказал Трофим и, сняв ошейник с собаки, показал на кота, и скомандовал: — Юдэ! Фас!

Но и без команды, как только Фриц освободился от цепи, он бросился к забору, на котором сидел кот. Взлетел он на забор в мгновение и, именно в то мгновение, когда его зубы вот-вот должны были сомкнуться, перегрызая кота, Лантах неожиданно прыгнул не от собаки, а прямо на нее, пролетел над нею и приземлился за хвостом собаки, уцепившись за него. Фриц взвыл, развернулся и увидел перед собой ухмыляющегося кота, болтающего на собственном хвосте. Он завертелся на месте, пытаясь ухватить кота, и свирепея от криков Трофима, призывающего его разорвать обидчика. И, когда казалось, закрутившись, он уже дотянулся до Лантуха, тот царапнув его по морде, оторвался от хвоста, взлетел вверх и... опустился на голову Трофима. Трофим от неожиданного нападения закричал, схватился за голову, но кот выскользнул из его рук, прыгнув на крышу, а Фриц, ничего не соображая, прыгнул в погоне за котом на Трофима и с яростью вцепился в шею хозяина, разрывая ее...

Трофима увезли хоронить в деревню, а Фрица застрелили на следующий день в нескольких километрах от поселка, устроив на него облаву из местных охотников и милиционеров.

В Краснополье долго говорили о страшной немецкой собаке.

— От Божьего суда не уйдешь, — говорил Хоня, рассказывая коту про случившееся с соседом. — Не напрасно сказано: «И придет День, и каждый получит по заслугам его...»

Кот внимательно слушал, как будто ничего не знал о происшедшем.

Пасхальный гусь

Ах, свобода, ах, свобода.

Ты — пятое время года.

Ты — листик на ветке ели.

Ты — восьмой день недели.

Иосиф Бродский

Сразу после войны гуси в Краснополье были почему-то большой редкостью, а если иногда появлялись на базаре, то стоили очень дорого, и мы не могли позволить себе их купить даже на пасху. Каждый год за пасхальным столом бабушка вспоминала, что всегда перед войной на пасху покупали гуся. В каждом еврейском доме был на столе гусь с яблоками, гусиные шкварки и суп гусиный с манделах. Воспоминания бабушки повторялись из года в год, но гусь на нашем пасхальном столе не появлялся. И вдруг неожиданно для нас всех бабушка принесла с базара корзину цыплят и маленького гусенка.

Раз в году в Краснополье собирался не просто базар, а ярмарка, на которую съезжались продавцы со всех близлежащих районов. И на этой ярмарке для бабушки случилось небольшое чудо: ее еще довоенная знакомая с Костюкович привезла на продажу птенцов и уступила бабушке одного гусенка по дешевке, от радости встречи.

— Увидала меня, так чуть не расплакалась, — рассказывала бабушка, сама, не веря своему счастью, — говорит, что думала, что мы все погибли здесь... Ей кто-то сказал, что мы не успели в эвакуацию уехать и с полдороги назад вернулись, когда чериковскую дорогу начали бомбить. — Бабушка вздохнула и, утерев фартуком набежавшую слезу, сказала: — это она про нашего Шеела слышала, наверное, и подумала, что и мы с ним...

Воспоминание о дедушкином отце, реб Шееле вызывали у бабушки всегда слезы: ей всегда казалось, что она в чем-то виновата, что потеряли его во время бомбежки в лесу, хотя никакой вины ее в этом не было. Бежали евреи из Краснополья буквально в последнюю минуту, все время, веря в непобедимую сталинскую армию. Немцы двигались по пятам, и на чериковской дороге маленький еврейский обоз был уничтожен почти полностью, оставив в живых едва ли каждого третьего. Слава Богу, бабушке удалось с детьми выбраться из этого ада, а реб Шеел отбился от основной массы, потерялся, его искала бабушка, но недолго, ибо все стали кричать, что немцы сбрасывают десант и надо бежать, и все побежали в сторону Кричева, надеясь, что Шеел туда побежит тоже, а он, поблуждав несколько суток один в лесу, вернулся в Краснополье, где уже были немцы...

Вспомнив свекра, бабушка несколько минут сидела молча, не выпуская из рук корзину с птенцом, а потом тихо сказала:

— Это, наверное, Шеел послал нам такую удачу! Он всегда говорил, что пасхальный стол без гуся не стол! Вот и подумал про нас, — бабушка тяжело вздохнула, вытерла опять появившуюся слезу, и, подозвав меня поближе, сказала: — До пасхи еще далеко, гусенку надо вырасти. Присматривай за ним, зуналэ, чтобы, не дай Бог, не пропал, а то в прошлом году у Двойры всех цыплят собака Стешица задушила, да и коршун как-то залетел в местечко: курицу у Нехамы унес, чуть ли не из рук вырвал... Так что, стой на страже, как пограничник Карацупа!

— Хорошо, — сразу согласился я, обрадованный поручением бабушки.

Надо сказать, что за гусенком и вправду нужен был глаз да глаз. Переваливаясь из стороны в сторону, он медленно и важно ходил по двору в отличие от бегающих и галдящих цыплят, но хождение его было не праздное шатание, а поиск щелей в заборе, окружающем двор, чтобы проверить их на возможность побега, и только моя неусыпная бдительность не дала ему исчезнуть из нашего двора в первые же дни. Когда бабушка высыпала во дворе зерно и цыплята стая ей бросались на еду, гусенок спокойно стоял в стороне и ждал, когда насытятся его желторотые товарищи. В конце концов от зерна не оставалось ничего, и гусенок, бросив унылый взгляд на оставшееся место пиршества, шел искать чего-нибудь в закоулках двора. Заметив это, я стал кормить его отдельно, но и при этом цыплята успевали с его стола похватать, что можно, и он уступал им и даже смотрел на меня осуждающе, если я пытался отогнать цыплячью ватагу. В нем была какая-то не гусиная доброта и степенность, как у знаменитого гуся Нильса. С каждым днем он все больше и больше привыкал ко мне и в конце концов стал ходить за мной, как собачка. И я, как собачке, придумал ему имя — Шлема. И он иногда откликался на его, лениво поворачивая в мою сторону голову. Бабушка, оценив наши дружеские отношения, стала разрешать мне выходить с ним на улицу и гулять в нашей знаменитой луже. Во время дождя прямо напротив нашего дома, посреди улицы образовывалась огромная лужа, которая была мне почти по колено, а в некоторых местах и глубже. Вся ребятня с нашей улицы сразу после дождя собиралась в этой луже, счастливая до невозможности. И этим счастьем я, конечно, поделился с гусенком. Несмотря на свою обычную медлительность, к луже гусенок буквально летел, махая

крыльями и гогоча от радости. И потом долго не хотел уходить с нее, плавая и ныряя в ней, как заправский пловец. Каждый раз, когда мы со Шлемой выходили на улицу, бабушка предупреждала меня, чтобы я за ним смотрел в оба, ибо, как говорила бабушка, мамзэйрым, хулиганов, хватает на улице. И надо сказать, бабушка была права: ни дня на улице не проходило без баталий между ребятами с нашей Советской улицы и Садовой. На нашей улице все гусенка любили, но садовцы были для него, конечно опасны, и я, видя их приближение к нашей луже, всегда сразу уходил с гусенком домой, но однажды я зазевался, а они подобрались к нам через огород Каменщиковых, чем дом был напротив нашего, и с криком ворвались на нашу территорию: и гусенок оказался в середине боевых действий. Я кинулся спасать гусенка и буквально налетел на атamana садовцев Яшку Тарзана. Он с налету сделал мне подножку, и я плюхнулся лицом в лужу, и он тут же прижал меня коленкой книзу: мол, глотай, сопли, воду! И тут мой гусенок, всегда мирный и спокойный, загоготал, вытянул шею, зашипел и бросился на моего обидчика. Яшка от Шлемкиного щипка взвился на месте, подпрыгнул, поскользнулся, упал, вскочил, закричал и бросился бежать, преследуемый гусем. Гусь гнался за ним до Банного переулка, и я бежал следом, боясь, что потеряю гуся, но Шлема возле переулка остановился, развернулся и медленно пошел назад к нашему дому, как солдат, выполнивший свой долг.

К пасхе гусенок стал большим гусем и бабушка, неожиданно для меня, где-то за несколько недель до пасхи, сказала, что сейчас гуся надо отдохнуть, а то он с тобою совсем забегался, забрала его со двора, посадила в большой мешок, завязала мешок где-то на уровне шеи, выпустив наружу гусиную голову, и подвесила мешок в доме, в сенцах на балке, пристроив рядом кормушку с зерном и ведро с водой. Я тогда не знал, что так откармливают гусей, чтобы они стали жирнее, и думал, что бабушка и вправду устроила гуся отдых. Шлема первое время сопротивлялся, шумел по ночам, не давая нам спать, а потом привык к своей ленивой жизни и все время торчал клювом в кормушке с зерном, а я все эти дни ожидал, когда он, наконец, отдохнет, и его опять выпустят во двор... И совсем забыл, что когда-то бабушка говорила, что купила гуся для пасхального стола.

В этот год к нам на пасху должны были приехать гости с Москвы, которые у нас никогда до этого не бывали, и бабушка крутилась по дому, десять раз все убирая и готовя вкуснятины к их приезду. Приезжали они в воскресенье кричевским поездом, и папа должен был ехать в Кричев встречать их на райсоюзавской машине, с шофером которой дедушка договорился за месяц до их приезда. Поезд приходил в пять утра и ехать папа должен был в четыре. Я просыпался всегда поздно, но в это утро я проснулся еще до папы, лежал и думал про кино, ибо во воскресеньям у нас в клубе показывали днем детские фильмы и в этот день должны были показывать «Джунгли», о которых говорили все мальчишки уже целый месяц и которые видел мой друг Норка в Могилеве, куда ездил с мамой к врачу. Я лежал и представлял, что я увижу в кино, и в это время услышал разговор папы с бабушкой, который меня потряс: бабушка просила папу, что бы он ЗАРЕЗАЛ гуся, когда я буду в клубе! Я едва не подпрыгнул на кровати, но удержался, внезапно поняв, что криком мне Шлему не спасти. И как-то моментально придумался иной план спасения Шлемы. Я долго лежал в кровати, дожидаясь, когда мама с бабушкой рано побегут на базар, чтобы что-то купить до приезда гостей, потом дождался, когда дедушка пошел в свою контору, как называл он горпо, где он работал бухгалтером, и только потом быстренько оделся и сразу приступил к выполнению своей задумки. Чтобы снять мешок со Шлемой мне пришлось взобраться на табуретку, я долго возился с завязками и, так и не осилив их, принес из бабушкиной швейной машины ножницы и перерезал тесемки, шлепнувшись вместе с мешком со стула. Потом я выпустил гуся из мешка и потащил его во двор. Сам он никуда не хотел идти. Я пытался расшевелить его во дворе, но он не подавался на мои уговоры.

— Пошли, миленький, хорошенький, Шлемочка, — кричал я ему, но он растолстевший и ожиревший от трехнедельной жизни в мешке, стоял на месте, не решаясь сделать ни одного движения.

Тогда я в сарае отыскал корзину, в которой бабушка носила картошку, посадил в нее гуся, приладил ее на ручку папиного велосипеда и, ведя велосипед в руках, быстренько выехал со двора и покатил с гусем к речке, которая была за сушильным заводом. Вез я гуся огородами, чтобы не попасться на глаза знакомым. Возле речки, я вынул гуся из корзины и потащил к воде. Безразличный до этого ко всему, он при виде воды неожиданно ожил, заворочал головой, даже прогоготал и на радость мне бодро пошлепал к реке...

— Прощай, Шлемка, — сказал я сквозь слезы и, подхватив велосипед, умудрившись впервые подлезть под рамку, помчался домой.

В воскресенье дедушка ходил на работу ненадолго, и он вернулся домой раньше бабушки и первым заметил пропажу гуся: я даже не убрал порезанный мешок, и он валялся посреди двора. Дедушка подумал, что гуся украли, пока я спал, и начал кричать, что бабушка всегда не закрывает двери, когда уходит, что у нас не дом, а открытый двор. В это время вернулись домой бабушка с мамой, и подъехал папа с гостями. Прямо на пороге двора, у калитки, дедушка поведал всем о пропаже гуся. И всем стало не до гостей. И тогда папа догадался спросить у меня прямо, куда я спрятал гуся. Я не мог обмануть папу и признался, что отпустил Шлема на речку. Дедушка ойкнул, и они с папой, схватив мешок и почему-то печную кочергу, побежали к сушильному заводу ловить гуся. Я мучился, что признался, где гусь, и страшно боялся, что они вернуться с гусем, но они пришли с пустыми руками. Я от радости едва не запрыгал на месте, но дедушка оборвал мою радость, сказав:

— Наверное, уже у кого-то в супе наш гусь. — И добавил: — И дурак его словит, он же, наверное, и ходить разучился совсем! Вот нам и пасхальный гусь...

От этих дедушкиных слов слезы полились из моих глаз ручьем, я уткнулся в мамину юбку, пряча заплаканное лицо, и тут бабушка сказала:

— Вос ду зогст, Анчэ? Что ты говоришь, Анча? Ты разве не видел, как дикие гуси пролетали? Мы с Лэей видели, они над базаром еще кружились! Все серые, а один среди них белый, наш! Я еще, говорила, а не наш ли Шлема в гуси-лебеди подался!

— И я подумала, что это наш, — подхватила бабушкины слова мама, — у него одно перышко в краске вымазано. Помнишь, как он на крашеную скамейку забрался? Так вот тот белый гусь, что над нами кружил, был с вымазанным пером.

Дедушка посмотрел на маму с бабушкой и неожиданно сказал:

— А вообще-то наш гусь не такой дурак, чтобы кому-то в руки даваться.

— Гусю счастливой дороги, — сказал папа и добавил, — а нам пора за стол, — и мы все пошли в дом.

В тот год мы опять не имели за пасхальным столом гуся, но это была самая счастливая пасха в моей жизни.

ПОЧТИ БЕЗ ВЫМЫСЛА

Андрей Баранов

Полёт на спине у бабочки

Незабываемая прогулка

Никогда не забуду эту прогулку.

Тот день был особенным. В больших семьях случаются такие дни, когда все как-то особенно добры и расположены друг к другу. Как будто над семьёй пролетает тихий ангел и осеняет её своим крылом: папа приветлив, мама весела, братья и сёстры не дерутся и не обзываются — всем как-то по особому хорошо друг с другом, и хочется чтобы этот день не кончился никогда.

Люстра под розовым абажуром освещала круглый стол в центре комнаты ровным мягким светом. За окнами притаился тёплый майский вечер. Форточки были широко открыты, и через них в комнату проникал свежий майский воздух, пропитанный ароматом сирени. Кот Барсик сидел на одной из форточек, демонстративно развернувшись к нам задом — всем своим существом он был там — на улице, в комнате оставался лишь его хвост, мерно раскачивающийся из стороны в сторону. По радио звучала тихая классическая музыка, тикали ходики, наполняя дом спокойствием и уютом.

Мы сидели за круглым столом и пили чай с вишнёвым вареньем без косточек. С нами был ещё дедушка — мамин папа, который приехал погостить из Воронежа. Он приезжал к нам редко, и каждый его приезд был для меня как праздник. Я очень гордился своим дедушкой, прошедшим три войны, трижды раненным, но всё-таки выжившим несмотря ни на что.

За столом текла размеренная беседа о всяких житейских мелочах, и вдруг папа сказал:

— А не пойти ли нам прогуляться?

Все охотно согласились. Я как самый младший в семье был особенно рад, что не надо ложиться спать, что можно продлить очарование этого майского вечера, гуляя по вечернему городу со своей семьёй, да ещё и с дедушкой, которого я так любил, а он так редко приезжал!

Но у мамы были на этот счёт другие взгляды.

Андрей Баранов (1962) — родился в Виннице на Украине. Окончил Ульяновский пединститут и аспирантуру при РГПУ им. А.И. Герцена (Санкт-Петербург). Работал в школах, вузах и издательствах. Автор пяти поэтических сборников и двух книг прозы, публиковался в журналах «Дальний Восток», «День и Ночь», «Нева», «Бельские просторы», «Север», «Нижний Новгород» и др. Живет в Москве.

— Вика, — обратилась она к самой старшей сестре, которая заканчивала уже первый курс политехнического института, — ты же всё равно будешь к экзамену готовиться — уложи, пожалуйста, Андреюку спать, пока мы гуляем.

От такой несправедливости у меня перехватило дыхание. Горький комок полез к горлу.

— Я тоже хочу с вами! — попытался я отстоять свои права.

Понимая, что дело может закончиться слезами, мама решила не обострять ситуацию. Она шёпотом перекинулась несколькими словами с сестрой и потом уже громко обратилась ко мне:

— Хорошо, но на улице сейчас холодно, а твои теплые вещи мы уже спрятали. Пойдите с Викой найдите их и одевайтесь, а мы тебя подождём.

Я с радостью побежал вслед за сестрой в другую комнату, где стоял большой платяной шкаф. Вика открыла дверцу и стала неторопливо рыться в стопках тёплых вещей. От нетерпения я подпрыгивал на месте, лез старшей сестре под руку, пытаясь ускорить процесс — мне казалось, что всё делается ужасно медленно. А вдруг, пока мы здесь возимся, все уже уйдут!

— Слушай, никак не могу найти твою куртку, может быть, ты дома останешься? — через несколько минут, которые показались мне веками, спросила Вика.

Я опешил от такого поворота.

— Давай я вместо куртки два свитера надену — вот же они лежат! — предложил я.

— Мы всё равно теперь не успеем, — возразила сестра, — они, скорее всего уже ушли, давай я тебе лучше книжку прочитаю!

— Как ушли? — не поверил я, — Ты меня обманываешь, они должны меня ждать!

Я распахнул дверь комнаты и выскочил в зал. Дверь в прихожую была открыта, но в прихожей никого не было.

— А где же они? — удивился я.

— Они не дождались, — ответила сестра, — но ничего, сейчас всё равно уже очень поздно. Завтра пораньше пойдут — и погуляешь вместе со всеми.

— Но я не хочу завтра, я хочу сейчас, — сказал я и горько заплакал.

— Не плачь, — успокаивала меня сестра, — таких прогулок у тебя впереди целый миллион!

— Нет, — отвечал я, — такой больше никогда не будет.

Я представлял себе, как все они — мама, папа, бабушка, братья и сёстры идут под золотыми фонарями мимо цветущих кустов сирени в сторону волжского обрыва, лёгкий майский ветерок обдувает их лица, они о чём-то разговаривают, шутят, смеются, а меня с ними нет. Я почти физически почувствовал моё пустующее место рядом с ними, и мне стало ужасно жалко себя, что меня там нет, и их, что они остались без меня, да и вообще всех людей на свете — и слёзы обиды сменились слезами жалости.

Вика стала гладить меня и успокаивать. Я очень любил свою самую старшую сестру, она была мне как вторая мама, поэтому я понемногу успокоился, хотя всхлипы ещё долго сотрясали меня: и когда я ложился в постель, и когда слушал свою любимую книжку — сказки Андерсена.

Наконец я заснул, и мне снилась вечерняя улица, моя семья, бабушка, только во сне я был вместе с ними и чувствовал от этого нестерпимое счастье.

Разумеется, после этого случая было много других семейных прогулок, но я их совсем не помню, а вот ту, несостоявшуюся, запомнил на всю жизнь. Она даже снилась мне по ночам только с тем отличием от реально-

сти, что во сне я в ней всё-таки участвовал и крепко держал деда за руку. Я оказался прав в споре с сестрой — такой прогулки больше никогда не было. Другие были, а такой не было. Всё в нашей жизни случается только один раз — и больше никогда не повторяется.

Хотя нет.

Через много-много лет, в другой жизни и в другой стране, когда я сам стал дедушкой и приехал навестить своих внуков в Америку, произошёл такой случай.

Сын с женой и старшими девочками засобирались вечером на прогулку. Младшей Верочке тогда только-только исполнилось четыре, и невестка сказала:

— А ты, Верочка, оставайся с дедом, он тебе почитает книжку и уложит спать.

Верочка так расстроилась и стала так горько плакать, что я упробил невестку взять и меня и её на общую прогулку.

Мы шли вшестером по вечерней улице одноэтажного американского городка, горели звёзды и фонари, в воздухе пахло, ну не сиренью, конечно, а какой-нибудь бугенвиллией, если только она умеет пахнуть. Верочка цепко держала меня за руку, и я на физическом уровне ощущал поток счастья, который поднимался от её маленького тельца через её руку, и затем через мою руку доходил до моего сердца.

Я шёл и не мог избавиться от навязчивого чувства дежавю. Где же всё это уже было со мной? Где всё это могло быть, если раньше я никогда не бывал в этом маленьком американском городке?

И тут я вспомнил. Конечно же это было со мной тысячу раз в моих снах, только в этих снах вместо Верочки был я, а вместо меня — мой дедушка, а вместо сына с женой — мои папа и мама. Но ведь это не главное. Главное — что это и была та самая несостоявшаяся прогулка, которая, наконец, состоялась.

Полёт на спине у бабочки

Океан небытия обступает меня со всех сторон.

Я слышу шум его тяжёлых волн в ушах, я ощущаю ту тонкую грань, которая отделяет меня от этого страшного и великого хаоса.

Там — вечная тьма, но во тьме время от времени вспыхивают искры. Сначала робко, едва-едва, дунь — и задуешь, но вот они всё разгораются, разгораются, и вдруг из моря хаоса возникает новый мир, новая человеческая личность.

Ясно отдаю себе отчёт в том, что я — всего лишь вспышка в безмерном океане хаоса. Вспышка, которая может погаснуть от любой случайности, и даже если случайности не произойдёт — всё равно погаснет. И меня никогда больше не будет, и никогда больше не будет моего мира.

Очень трудно, почти невозможно установить тот момент, когда я впервые выплыл из океана хаоса. Произошло это явно не сразу. Сначала это были робкие попытки, подобные попыткам доисторических рыб выйти на сушу. Сначала подъём из бездны, затем яркий свет, глоток свежего воздуха — и снова спуск в глубины небытия.

Малыш живёт между двумя безднами и ещё не умеет отличать одну от другой, реальность от небытия, сон от бодрствования.

От этой легендарной эпохи моей жизни сохранилось одно чудесное воспоминание: я сижу на спине огромной бабочки, два огромных бабоч-

киных крыла находятся справа и слева от меня. Бабочка машет этими крыльями — и летит. Я крепко держусь за ворсинки на её спине, чтобы не упасть, но страха не испытываю — только восторг.

Я до сих пор не могу точно ответить себе на вопрос: я правда летал на спине у бабочки, или мне это только снилось? Разум взрослого человека однозначно заявляет, что это был сон, но фокус в том, что этот сон имеет ту же степень достоверности, что и реальные воспоминания.

Всё, что я помню из той поры, имеет ту же яркость, насыщенность и объективность, что и сон о бабочке.

Вспоминая своё раннее детство, я смутно вижу дом на окраине мало-российского городка, утопающий в зелени черешен, яблонь и абрикосов. Вижу большую комнату с сервантом, диваном, венскими стульями и круглым столом в центре. Вижу хрустальную посуду и фарфоровые статуэтки в серванте (лошадка и птичка), швейную машинку с колёсиком сбоку и педалью внизу.

Я выхожу из дома и вижу маму, которая стирает бельё при помощи рифлёной доски. На маме лёгкое летнее платье без рукавов, и я хорошо вижу её смуглые руки в пузырьках мыльной пены по локоть. Мама смотрит на меня и о чём-то спрашивает. О чём? Наверное, о чём-то очень важном, но сейчас я не могу вспомнить, о чём. Я отвечаю, и мама счастливо улыбается.

Я вижу старших брата и сестру, которые шепчутся между собой, подозрительно поглядывая на меня, не услышу ли случайно? Не разболтаю ли? Они в вечном поиске чего-то захватывающего, интересного, но и опасного — вот только меня до этих тайн не допускают, а мне смертельно обидно.

Мама просит брата с сестрой взять меня с собой в посадку. Посадка — это полоса деревьев на другой стороне дороги, пробегающей мимо нашего дома, — место наших игр и прогулок.

Брат с сестрой недовольно переглядываются, но берут меня за руки — и мы выходим за калитку. Пёс Трезор радостно виляет нам хвостом и бежит за нами, но его удерживает металлическая цепь.

Прежде чем перейти дорогу, мы смотрим направо и налево, как научили родители. Видим летящий в клубах пыли грузовик, уважительно пропускаем его мимо, долго смотрим вслед, как он всё уменьшается, уменьшается и наконец исчезает за подъёмом дороги. Меня очень волнует, почему такой большой грузовик вдруг стал таким маленьким и я пытаюсь выяснить это у брата с сестрой, но они только отмахиваются и стремглав несутся через дорогу. Я — за ними.

Дорога вымощена булыжниками, и я как всегда спотыкаюсь об один из них, и опять обдираю коленку — поверх подживающих корок от предыдущих ссадин. Конечно реву. Рёв делает своё дело — брат с сестрой ласково успокаивают меня, лишь бы рёв не услышала мама и не сорвала многочисленные планы на эту прогулку. Брат со взрослой опытностью срывает подорожник, разминает его во рту и прихлопывает к моей коленке.

— До свадьбы заживёт, — со знанием дела говорит он, и я успокаиваюсь, хотя не очень понимаю, о какой свадьбе идёт речь.

Потом мы с соседскими девочками и мальчишками весело играем в разрывные цепи, в салочки, в «птички на веточке», в «гуси-гуси-га-га». Конечно, играют в основном ребята постарше, а я кручусь под ногами, проявляя самую бешеную активность, в общем-то, конечно, мешаю играть, но от меня беззлобно отмахиваются, и я ужасно злюсь, что у меня не получается так же хорошо, как у «взрослых».

Вот тут-то я и замечаю свою бабочку. Она сидит на ярко-жёлтом цветке, вся такая изысканная, радужная, перламутровая, я даже и слов-то та-

ких ещё не знаю, но у меня перехватывает дух от невозможной красоты и грации её королевских крыльев.

Я подхожу к ней всё ближе, ближе, и чем ближе я подхожу, тем больше становится бабочка. Происходит та же метаморфоза, которая только что на моих глазах произошла с грузовиком, только наоборот. В какой-то момент бабочка становится значительно больше меня ростом, и я осторожно вскарабкиваюсь на её мохнатую спину, как вскарабкивался на спину большого строительного «козла», оставшегося в саду после строительства дома.

Бабочка осторожно, чтобы не уронить меня, отрывается от цветка и взмывает в небо. От ощущения полёта сердце ухает в какую-то внутреннюю пустоту, но при этом совсем не страшно.

Я смотрю вниз и вижу наш дом под шиферной крышей, маму над тазом мыльной пены у крыльца, мальчишек и девчонок, играющих в «ручеек» в посадке. Вижу поле пшеницы за посадкой, лес за полем пшеницы, дорогу, по которой, словно проворные муравьи, бегут туда-сюда грузовики.

Дорога вьётся между небольшими домиками, утопающими в зелени садов. Я вижу дома всех соседей, во дворах гуляют петухи и куры, собаки спят у своих собачьих будок, кошки греются на солнышке.

Сделав несколько кругов над нашей улицей, бабочка опускается на ту же полянку, откуда начала свой полёт, садится на тот же цветок, я аккуратно сползаю со спины и бегу к ничего не заметившим детям.

Мама зовёт обедать. Мы неохотно прекращаем игру и идём в обратный путь через посадку и дорогу — к своей калитке.

Я пытаюсь рассказать брату и сестре о том, что со мной только что произошло, но они только отмахиваются и смеются.

Так я и не рассказал об этом случае никому: ни братьям, ни сёстрам, ни отцу, ни матери. Всё равно не поверят!

ДЕТСКАЯ

Наталья Смирнова

Сохла и Мокла

Повесть

Шел я как-то через мост —
Глядь, ворона сохнет.
Взял ворону я за хвост,
Положил ее под мост —
Пусть ворона мокнет.
Снова шел я через мост —
Глядь, ворона мокнет.
Снова взял ее за хвост,
Положил ее на мост —
Пусть ворона сохнет...

(Бесконечные стихи)

Глава 1. Что это за еда такая?

— Вот что, девочки, мне надо отлучиться, — сказала мама. — А это, — она накрыла лапой грецкий орех, — надо расколоть и съесть. Если сообщите как — значит, стали взрослыми...

Сказав это, мама взмахнула крыльями и улетела.

Две маленькие вороны, Сохла и Мокла, проследили, как она скрылась за деревьями, и уставились на орех. Предмет был незнакомый. Мокла обошла его вокруг и клюнула. Тот чуть-чуть пошевелился. Она клюнула два раза, а может, и все три, но орех лишь покачивался. Раскалываться он и не думал.

— Не получается что-то, — посетовала Мокла. — Попробуй теперь ты.

Сохла ка-а-ак налетит на орех, ка-а-ак клюнет, аж в голове загудело. Но орех на это ноль внимания. Качается себе и качается.

— А я знаю! Знаю, знаю, знаю! — запрыгала Сохла. — Мама сказала «расколоть» — значит, нужен камень. Жди меня тут.

Искать на опушке леса камень — целое приключение. Здешние камни все давно в землю зарылись, как солдаты.

Но даже самая маленькая ворона знает, где они водятся.

Правило первое: где мальчишки — там и камни.

Правило второе: где орут, там и мальчишки.

Наталья Смирнова — родилась в Якутске, окончила филологический факультет Уральского государственного университета, здесь же преподавала зарубежную литературу и защитила диссертацию. Работала в ряде издательств, в журнале «Стори». Член Союза российских писателей. Автор книг «Любовные истории цветов и овощей», «Фабрикантша», «Женская азбука» и др. Живет в Москве.

Сохла полетела в посёлок. Вот же удача — прямо у магазина стоял немислимый гвалт, просто тарарам какой-то. Ничего особенного — человеческие дети так играют. Правда, на этот раз было что-то новенькое: пацан в тельняшке тащил огородную тачку, а потом переворачивал — и ап! — мальчишка, что в ней сидел, вываливался.

Все хохотали.

«Круто», — подумала Сохла, подлетела и крикнула «карр» прямо в лицо Тельняшке. Все захохотали, как бешеные. Тельняшка, он же Мишка, он же Миха, оторопел:

— Ого! Ну, ты и нагленькая! Камни тащите, — скомандовал он товарищам.

Те не заставили себя ждать, ведь мальчишки — самые быстрые люди на свете. В Сохлу со всех сторон полетело. Ворона скакала, уворачивалась, перелетала с места на место и дерзко каркала в лицо врагам. Мальчишки, считала она, гораздо лучше котов. Их и дразнить веселей, и орут они громче.

Наконец рядом с Сохлой упал камешек покрупнее.

— Тяжеленный! — обрадовалась она, взлетая с добычей. На опушке Сохла гордо выложила камень перед сестрой.

— Я буду держать этот шарик, чтоб не вертелся, а ты бей по нему.

Что и было сделано.

— Уй-уй-уй! — истошно завопила Сохла, когда камень саданул ей по коленке. — Я же сказала, по шарiku бить, а не по ноге!

— Ой-ой-ой, — заоправдывалась Мокла, — прости-прости-прости, я нечаянно!

— Уй-уй-уй, как больно! Не прощаю тебя, не прощаю!

Они так раскричались, что прилетела Доминика, самая старая ворона в стае. Она оглядела лапу и скомандовала: «Срочно к доктору!» И все отправились в посёлок.

Окно в домике дедушки Паши, которого птицы по ошибке считали доктором, всегда стояло открытым — залетай кто хочешь! Залетали туда все подряд, так что подоконник был весь в птичьих следах-крестиках.

— Начинай страдать, — приказала Доминика. — Жалуйся, да погромче.

Сохла принялась причитать во всё воронье горло.

В тот же миг у окна возник дедушка в очках и спросил неожиданно густым басом:

— Чего кричишь, малышка? Лапу повредила? Дай-ка гляну.

Дед осмотрел Сохлину лапу, покачал головой, пристроил к ноге две щепки и натуго перебинтовал. Нога перестала сгибаться, и Сохла успокоилась. Тем более что дедушка ей булку с изюмом вручил со словами: «Ты кроха, тебе расти надо». Сохла выклевывала сладкий изюм и думала про сестру. Интересно, что там Мокла поделывает?

Мокла времени не теряла: с дерева у дороги следила за чудищами. Эти жуть-машины фырчали, рычали и крушили всё подряд. Лежит себе ветка, никому не мешает, машина по ней проехала — крак! — нет ветки. Мокла подобрала забытый детский совочек и бросила на дорогу. Машина наехала, и совок — крекс-пекс-мекс — разлетелся на куски. Вот это да!

Мокла глядела-глядела и вдруг поняла, какая от машин польза. Она слетала за орехом, положила его на дорогу и села ждать. Тут чудища встали, и на переходе появился Рома Санаков. Обычный такой мальчик в очках, на носу крапинки, но о-очень зоркий. Он тотчас заметил орех и наклонился подобрать, но не тут-то было. Мокла налетела на него, как коршун.

— Это не твой орех! — закричала она. — Положи, где взял! Караул! На помощь! Грябят!

Рома Санакоев принялся отмахиваться от сумасшедшей вороны бейсболкой. Мокла её вырвала, а Ромину голову поцарапала. Она так раскричалась, что на помощь ей поспешили три взрослых вороны.

Роме и одной Моклы очень даже хватило, ещё три было чересчур. Он бросился наутек.

Орех остался на дороге, а гордая Мокла на сосне. Автомобили снова забегали, а ворона принялась наблюдать. Знайте, люди, если вы наблюдаете за птицами, птицы тоже за вами следят. Уж вороны-то точно.

Машины то ехали, то останавливались. Может, ими командует мигающая коробка? Загорится в коробке красный кружок — они встают. Загорится зелёный — едут. Вот они двинулись вперед, и — кррак! — орех раскрошился. Мокла подождала, пока коробка не прикажет машинам стоять, и перетаскала в укромное местечко скорлупки. М-м-м, какой же вкусный был этот орех. Маслянистый, жирный! Кой-какие остатки Мокла припрятала для сестры. Говорила же мама, что тот, кто съест орех, станет взрослым. Вот Мокла и стала. А сестра ещё нет.

Вообще-то у них в семье считалось, что Сохла умница, а Мокла хулиганка. «Но хулиганка может обогнать умницу, очень даже может», — думала Мокла. — Вот и первое доказательство — орех!»

Сохла тем временем изучала мир из окна дедушки Паши. Людей поблизости не было, а для ворон они что-то вроде артистов цирка. Вчера, например, они с Моклой катались на велосипеде. Уселись на багажник, а велосипедистка их даже не заметила. Потом нашли в кустах желтый мячик. Мокла бросала его сверху, Сохла ловила внизу, а тот весело подпрыгивал.

Ворона повертела головой — вдруг в доме есть мячик или ещё что-нибудь хорошее, но тут открылась дверь.

На пороге стоял той самый Тельняшка — дедушкин внук Миха. Заклинатель камешков, которые появлялись по одному его слову. Заклинатель сразу заметил Сохлу. Мальчишки не только самые быстрые люди, они ещё и самые глазастые. Миха эту мелкую ворону сразу узнал.

— Так это же нагленькая... Попалась? — спросил он противным голосом. Сохла перепугалась. Она вжалась в угол и выкрикнула отчаянное: «Ка!», потому что дерзкое «карр» не получилось.

— Ка? Капут вороне? Ха-ха-ха! — расхохотался Миха. — Капут вороне! Хаха!

— Капу... рроне — повторила Сохла. Миха изумленно уставился на птицу. Что ещё за дела? Говорить она, что ли, умеет?

У Сохлы от его зловещего молчания сдали нервы.

— Капурроне! — в панике крикнула она. — Хаха! Капурроне! Хаха!

Неизвестно, чем бы это закончилось. Может, Сохла б с ума сошла от страха, но тут очень кстати появился дедушка. Он мигом оценил обстановку, когда один молчит, а другая вопит во всё горло.

— Что тут у вас? Знакомьтесь? Я бы этим идиотам, что птиц калечат, руки пообрывал, — сказал дед. — Ты, Мехондий, к этому делу, — он кивнул на перевязанную ногу, — случайно руку не приложил?

— Да когда я птиц трогал? Нужны они мне. Ты чо, дед? — возмутился Миха.

Дедушка отрезал: «Не чокай!» — и легонько дёрнул внука за ухо, тот ойкнул, а Сохла некстати выпалила «хаха».

— Дед, а дед, она ведь говорящая, — зашептал Миха, будто боялся, что ворона услышит.

— Вороны — птицы способные. Разум как у пятилетнего ребёнка. Тут некоторым девятилетним, — дед ехидно посмотрел на Мишку, — такого ума не досталось... Соседи, между прочим, опять на тебя жаловались,

Михаил. Сказали, ты тачку их угнал, дружков в ней катал-мотал, а потом у магазина бросил. Смотри у меня, друг любезный, отправлю я тебя к родителям. Досрочно.

Миха засопел. Дожили. Дед уже Михаилом обзывается. Угрожает. Знает же, что домой Михе никак — там младший брат родился. Этот Олежек днем спит, ночью кричит, а родители Миху в упор не замечают. А дед пользуется его безвыходным положением!

Мехондий подождал, пока дедушка уйдет, тяжело вздохнул и поглядел на Сохлу:

— Ладно, птица ворона. Будем с тобой дружить. Только, чур, не насмехаться. Дед Паша надо мной всю дорогу хохо да хаха. Надоело уже.

Миха перешёл на шепот: «Я придумал — мы с тобой станем артистами. Дрессировщик Михаил Капустин и его говорящая ворона. Будем в цирке выступать. Согласна?»

Слов Сохла, конечно, не поняла, но так-то дело было ясное. Дедушка доктор схватил мальчика за ухо, а тот пискнул. Нехорошо. А теперь мальчик с ней разговаривает — хорошо.

Сохла приосанилась, подняла негнущуюся лапу и упёрлась Мехондию в грудь, как будто приняла его в стаю.

— Ух ты, — изумился Миха, — у тебя, что ли, четыре пальца всего?

Глава 2. Птичий разбой

Мокла тем временем обнаружила в посёлке распрекрасный сад. Чего только там не было — и толстые личинки, и жуки, и беседка, а в ней стол с голубой скатертью. А на скатерти — чашки! Маленькие, белые, с золотыми каемками, они так сияли, что сразу хотелось утащить. Только мамин голос и удерживал.

— Опасно, Мокла, очень опасно, — предупреждал голос, да Мокла и сама это видела. Рядом с одной из тётушек, что пили чай в беседке, стояла здоровущая палка. Ну, прям гигантская. И толстая такая. А ещё у этой мадам была шляпка. С красными ягодами и зелеными листьями. Мокла бы с радостью такую утащила, но палка же!

Тут в ухе что-то просвистело, и рядом приземлился незнакомец. Черный как уголь, с синей искрой в перьях. Мокла замерла. Она растерялась, а красавец ворон ни капельки.

— Я Влад, — сказал незнакомец.

— Я Мокла, — ответила Мокла.

— Давай вместе сработаем, — предложил он. — Я их отвлеку, а ты хватай. Добыча пополам.

Мокла даже не успела спросить «а чего вместе-то давать», как ворон уселся прямо на голубую скатерть.

Беседочницы так заверещали, что Мокла перепугалась.

«Шайтан!» — крикнула тётушка в платке. А та, что в шляпке, замахнулась на красавца своей ужасной палкой. Ворон отпрыгнул, а мадам как-ак долбанет по чайнику. Чайник развалился пополам, и крик поднялся совсем невообразимый.

— Теперь твоя очередь, — скомандовал Влад.

Мокла, взлетев, сорвала с мадам шляпку. Через миг грабителей уже и след простыл. Влад летел так быстро, что Мокла едва за ним поспевала.

Они сели на поляне.

— Кх-х, — кашлянул красавец, покосившись на шляпу.

— Красивая, — сказала Мокла. — Хочешь такую?

— Кх-х, — непонятно ответил тот.

— Нужная вещь. Ею можно даже драться, чесслово. Меня сегодня один мальчишка своей шапкой колотил, — заверила Мокла.

— Ты что, никогда не воровала? Первый раз? — спросил он.

— Ага, — беспечно отозвалась Мокла.

— Надо было брошку брать, — пояснил ворон. — Она рядом с чайником лежала. Золотая, с рубинами и алмазами.

Сохла замолчала. Какие рубины? Какие алмазы? Она и слов-то таких не слыхала. Правду говорят, что вороны — птицы ученые.

— Считаешь, я дурочка? — уточнила Мокла. — Дружить со мной не будешь?

— На первый вопрос ответ «нет», — не дурочка. На второй — да, дружить не будем. Шапку оставь себе.

Ну, ладно, размышляла Мокла. Все знают — черные вороны и серые вороны птицы разные. Но зачем так нос-то задирать? Ответа на этот вопрос не было: красавец улетел, не попрощавшись.

Когда Рома Санакоев вернулся домой, то застал бабушку Таню в слезах. Он уж её обнимал-обнимал, утешал-утешал — ничего не действовало, слезы так и бежали по щекам быстрыми струйками. Бабуля всхлипывала и объясняла:

— Позвала соседку Шуру чай пить. Мамину брошь она хотела посмотреть, я и вынесла. А тут нате вам — вороньё. Один наглец уселся прямо на стол, я махнула тростью, хотела напугать, да чайник ненароком разбила. И тут другая налетела! Сорвала мою шляпу — и фью! Но главное, Ромочка, в этой суматохе я мамину брошь потеряла. А это же память!

— Бабушка, я найду твою брошку, честно, — пообещал Рома. — Это было ограбление, а ты пострадавшая и будешь давать показания.

Рома Санакоев давным-давно решил стать следователем, а следовательно нужно оборудование. Кое-что у Ромы уже имелось. Он принес из тумбочки диктофон и нажал кнопку.

— Татьяна Семёновна, — спросил будущий следователь Санакоев, — вы видели нападавших? Сколько их было, и как они выглядели? Опишите их внешность.

— Двое, — бабушка смахнула слезинку. — Одна городская ворона, серенькая. Пацанка длинноногая, мелкая такая. Второй — чёрный ворон с синим отливом. Думаешь, они меж собой сговорились?

— Конечно, — кивнул Рома. — Один отвлекает, другая крадёт. Видела, как они котов дразнят? Одна перед носом прыгает, а другая за хвост щиплет. Это у ворон обычное дело. А где в это время лежала брошь, помнишь?

— Рядом лежала. Может, я сама её и смахнула, когда чай пролила...

— А вдруг она в беседке валяется?

Они прихватили фонарик и вышли во двор. Вдвоём обшарили все углы, выдрали траву вокруг — ничего!

— Все-таки воронье утащило... — расстроилась Татьяна Семёновна.

— Ничего, бабуля. Преступники наверняка появятся снова. А у меня есть бинокль. Я их выслежу.

Татьяна Семёновна этой ночью плохо спала. Вспоминала свою маму, как та здорово пела и казачьи песни, и колыбельные. А теперь мамы нет, цветы на её платьях выцвели, туфли скукожились от старости, письма желтеют на чердаке. А теперь и брошка пропала. Так и уходят из памяти люди — вместе со своими вещами. Татьяне Семёновне от этих мыслей хотелось плакать, и щипало в носу.

Маленькой вороне Мокле тоже не спалось. Она перевернула украденную шляпку колпачком вниз и устроилась в углублении, но все равно из-

вертелась. Мамы нет, сестры нет, в голову лезет незнакомый ворон. Такой шикарный. Чёрно-синие перья прям искрятся. Ничего не боится. Ни людей, ни палок. Хочет приказывать, а дружить не хочет.

«Вот возьму и украду эту брошку, — думала Мокла. — Увидим тогда, кто с кем захочет дружить».

Глава 3. Погоня

Едва порозовело небо, Мокла заняла пост на яблоне в санаковском саду. Проплыло и растаяло в небе облако, заблестела роса. В доме что-то загремело, затопало, и на крыльцо вышел мальчишка в трусах. Да это же тот самый, что хотел украсть мамин орех! На носу крапинки и круглые очки. Жулик зачем-то принялся приседать: то присядет, то встанет. И так три раза. А может, и сто, но Мокла умела считать только до трёх. Потом мальчишка возник в окне второго этажа. В руках у него была черная штукovina. Мальчик приставил её к глазам, и блеснули стекла.

Тут внизу зашуршало. Мокла глянула: ёж, как всегда, что-то тащил на спине. Он выбрался на солнце, и — ахты-ухты! — Мокла аж зажмурилась, так засияли камни на ежовой спине. «Да это же брошка! — догадалась ворона. — Алмазы и рубины. Так вот они какие!».

В тот же миг Рома Санаков кинулся вниз по лестнице. Он тоже заметил брошь. Они с Моклой понеслись к ежу наперегонки. Думаете, кто победил? Конечно, Мокла. Она вылетела за калитку, а Рома, схватив велик, бросился за ней. Ворона свернула в лес, и пришлось бросить велосипед. Дальше преследователь пробирался пешком. Воронье поселение со старыми гнёздами он обнаружил, но там никогошеньки не было...

Мокла искала в лесу местечко, где спрятать сокровище. Она перелетала с места на место, и всё ей не нравилось. Кругом воришки. Сороки, мыши, белки. Ужас, сколько народу. Мокла углубилась в лес и прислушалась. Ну и дела! Этот мальчишка всё время, оказывается, шёл за ней. У него что, нюх собачий?

— Стоп, Мокла, не суетись, — услышала она мамин голос и тут же заметила расщелину в дубе. Мокла затолкала туда брошь, заткнула дыру травой и повернула обратно в поселок. И тут она услышала крик.

— Помогите! — взывал голос. — Эй, кто-нибудь! На помощь!

Мокла повернула на крик. Очкарик с крапинками на носу сидел на земле, держался за ногу и громко стонал.

Мокла устроилась поблизости. Ей было любопытно. Чего он не встает-то? А кричит почему? Может, ему больно? От очередного Роминого «помогите!» Мокла разнервничалась и полетела за старушкой Доминикой. Та дремала на своём любимом орешнике.

— Бабушка Доминика, там мальчик в лесу кричит, — объявила Мокла. — И с земли не встает. Наверное, ходить не может. Он хотя бы не погибнет?

— Погибнет, если стоя ему не поможет, — ответила Доминика.

— А как они узнают, где он? Как?

— Если у него коробки говорящей нет, то никак. Голоса у людей слабые, слух тоже. Издалека они его не услышат.

— Дак как же? Что делать-то? — разволновалась Мокла.

— А ты чего суетишься? — спросила Доминика. — Сама, что ли, его в лес заманила?

— Сама, — призналась Мокла. — Кое-что стащила, он и погнался.

— Значит, сама и выпутывайся, — отрезала Доминика.

— Так мы же вместе... Вместе же мы, — пролепетала Мокла.

— Мы — да, а мальчишка не из нашей стаи. К доктору мы его отправить не можем, а значит, нечего тут крыльями махать.

Доминика отвернулась — больше не хотела разговаривать.

Мокла распереживалась ужасно. В такие моменты любому нужна сестра. И лучше пусть она будет умной, как Сохла. Мокла полетела советовать. Перескакивая с пятого на десятое, пересказала события. И то, что поведала Доминика, тоже. Что мальчик погибнет без стаи.

— Надо, чтобы люди получили сигнал, — рассудила Сохла.

Она показала на мобильный телефон:

— Видишь эту говорящую коробку? Ты только её не бойся. Она совсем как живая. Звонит, поёт, болтает разными голосами. Отнесёшь её раненому.

— Сделаю! А я тебе грецкого ореха оставила, — радостно объявила Мокла. — Чтобы ты тоже стала взрослой, как я!

Сохла про себя улыбнулась, но тут в комнату зашёл Миха и заморгал от удивления — ворон на подоконнике стало две! Что ещё за дела?

Тут Мокла схватила мобильник, и Миха подпрыгнул от возмущения.

— Верни телефон, воровка! — завопил он, но ворона уже вылетела во двор.

«Да что такое с этими мальчишками! Опять погоня! А если и этот упадет?» Мокла решила быть умнее. Что она, мальчишку не проведёт?

Дело нехитрое: летишь невысоко, потом бросаешь эту коробку на землю. Только он подбежит — хватаешь её и наутёк. Потом снова ждёшь, пока догонит. Так они с Мехондием добежали до опушки, и всё шло тип-топ, мальчишка послушно нёсся следом, но тут эта говорящая коробка вдруг затряслась и заверещала, как бешеная. Ой, мамочки! — Мокла от испуга выронила её в траву, и тут же подскочил этот Тельняшка. Коробка объявила грозным басом: «Верни мне телефон, Мехондий! Немедленно!»

— А чё опять я? Я его не брал! — закричал Тельняшка. — Его новая ворона стащила.

— Какая ещё новая ворона? Хорош врать. Считаю до десяти. Не явишься — сам виноват.

Как же этот Тельняшка помчался! Мокла таких мелькающих ног сроду не видала. Бойтся, что ли, своей говорящей коробки? Ой, а ей что теперь делать?

Мокла решила проведать раненого. Тот лежал на спине и смотрел в небо. Соображал, видимо, плохо, потому что, увидав Моклу, разлепил губы и сказал: «Пить». Что вот это значит? Чего-то просит, раз клюв разинул. А чего? Жука, червяка, воды?

Мокла огляделась — у ручья валялся пластиковый стакан. Она зачерпнула воды и вылила на раненого. Вода плюхнулась на лицо, а в клюв не попала. Мокла снова метнулась к ручью. И опять вылила всё мимо. «Ещё», — сказал мальчик и облизал воду со щеки. Мокла летала к ручью раза три, а может, и сто, а тот так и твердил своё «ещё». Устала она до невозможности, присела рядом с Ромой, поджала лапы и закрыла глаза.

На лес опускались сумерки, на охоту выходили ночные хищники. В тишине Мокла услышала шорох.

Это был он, красавец ворон. В слабом свете луны его оперение отличало голубым.

— Тебе нельзя здесь оставаться, — сказал он.

— А тебе?

— Это моя забота.

— Помогать? — с надеждой спросила Мокла.

— Провожать в иной мир.

Вот теперь Мокла перепугалась по-настоящему. Так вот почему вóроны такие! Они попутчики смерти. И это не вóроны ни с кем не дружат. Это

ИХ все боятся. Маленькой вороне вдруг стало холодно и страшно, как перед грозой. Она спросила:

— Тебе нужна ещё та брошка с алмазами? Ну, помнишь, которая в беседке?

— Да.

— Я её принесу в обмен на этого — она показала на мальчика. — Хочу, чтобы он оказался дома. Живой.

Мальчишка пошевелился и застонал, а ворон тихо рассмеялся. Или Мокле показалось?

— Хочешь его спасти, давай сама, а я посмотрю, как ты это сделаешь.

Сама, сама, загоревала Мокла. Вот и Доминика то же самое говорила. А как она спасёт? Она в жизни никого не спасала. Не умеет.

— Тебе сколько лет? — спросила Мокла.

— Много, — ответил ворон.

— А мне и одного нет. Посоветуй хоть что-нибудь.

— Если хочешь совет, отдай брошь, — ответил ворон.

— Жди тут, — сказала Мокла.

В тёмном лесу ухала сова и шуршали кусты. Кто-то пронёсся под ногами, и послышался жалобный писк. Мокла, изо всех сил стараясь не трюситься, еле-еле нашла дуб с тайником и вернулась с брошкой.

— Теперь слушай, — сказал Влад, забрав сокровище. — Возьми у раненого его вещь. И отдай вожаку человечесьей стаи. Стая пойдёт за тобой, а ты приведёшь их сюда.

Мокла почувствовала, как быстро забилося сердце и откуда-то появились силы. Она подошла к Роме. Ну, конечно! Вот же эта шапка, которой он дрался за орех.

— Шапка подойдет? — обернулась она к Владу.

Но того уже и след простыл.

Мокла с бейсболкой устремилась в посёлок. Ночь ведь, темно, все спать должны... Так нет же! Всюду толпились люди, тарахтели машины, мужчины с палками и огоньками топтались возле магазина. А у домика с беседкой вытирала платочком щёки Ромина бабушка Татьяна Семёновна. Стая потеряла мальчика, поняла Мокла. Ей очень хотелось отдать бейсболку плачущей, но это было бы неправильно. Нужен вожак. Да где у них вожак-то?

Хоть бы подсказал кто!

И тут она услышала густой бас, что звучал из говорящей коробки. Тот самый голос, от которого Тельняшка помчался быстрее ветра. Голос принадлежал маленькому дедушке, что лечил Сохлу. Тот нацепил очки, развернул большую бумагу и водил по ней пальцем. Вокруг него склонилась куча голов.

Мокла пробралась между сапог и кроссовок и цапнула дедушку за штанину. Он отодвинул карту и увидел Моклу с бейсболкой в клюве.

— Иди-ка сюда, малышка. Дай это мне.

Мокла положила шапку и отступила.

— Это ведь Ромкина? — спросил дед, поднимая бейсболку.

— Его, точно его, — загудели все.

— Тогда действуем так, — повернулся дедушка Паша к людям. — Вы пойдёте за мной на расстоянии, чтобы птицу не пугать, а я за ней.

Мокла летела невысоко. В темноте нужно спать, говорила мама. Поэтому что ни черта не видно. Ей помогал только свет дедушкиного фонаря. Когда свет пропадал, Мокла каркала, и луч снова её находил. Время от времени она присаживалась на пенёк или куст, а старик доставал из кармана что-нибудь вкусное и протягивал Мокле. «Веди меня к Роме, малышка, давай, вперед!» — бормотал он.

Когда они добралась до места, Мокла слетела Роме прямо на грудь и громко крикнула: «Вот он, вот он! Я, я его спасла!»

Тот лежал тихо, даже «ещё» не просил. Вожак тотчас достал говорящую коробку и бутылку с водой. Подмога прибыла быстро. Ликовала и охала вся стая. Мальчика сперва тащили на руках, потом уложили в машину, а дальше проследить не получалось — глаза у Моклы закрывались, а крылья не поднимались вообще.

Вожак, заметив это, посадил ворону за пазуху.

— Пойдем, малышка, переночуешь у меня.

Так Сохла и Мокла вновь оказались вместе.

Глава 4. Зачем человек вороне?

Наутро весь посёлок обсуждал чудесное спасение Ромы Санакоева, ночные поиски и ворону, что додумалась принести его бейсболку. Поступок этот казался всем необыкновенным и даже немного волшебным.

До обеда Рому навещали дачники. На столе в беседке громоздились весёлая горка яблок, пирог с малиной, коробка сока, книжка про Северный ледовитый океан и старинный компас, что указывает стороны света, если ты заблудился. Рома качался в гамаке и думал над вчерашним происшествием. Думал он по пунктам.

Пункт первый. Ёж нашёл в саду бабушкину брошку.

Пункт второй. Ворона стащила у ежа брошку и полетела прятать.

Пункт третий. Я погнался за вороной, упал, растянул связки, в медпункте наложили гипс, сказали «ничего страшного» и «полный покой».

Пункт четвертый. Какой тут покой, если

а) когда я просил пить, ворона таскала мне воду. Она что, человеческий язык понимает?

б) зачем она отдала брошку черному ворону? Я же своими глазами видел!

в) когда я думал, что каюк, замерзну или с голоду помру, ворона привела деда Пашу.

И самый главный вопрос. Зачем вороне меня спасать? Что я ей хорошего сделал?

Думать дальше Роме помешала бабушка. Она принесла мороженое с вишневым вареньем и сказала тихим голосом: «Я очень тебя прошу: не ищи больше эту брошку, не надо».

— Но бабушка! Я же обещал...

— А ты новое обещание дай — что ты не будешь её искать. А я обещаю, что не буду расстраиваться из-за какой-то там брошки.

— Но ты же расстраиваешься!

— Если б ты знал, как я расстроилась, когда ты пропал! Пролила ведро слёз и выпила два пузыря валерьянки.

Рома нехотя пообещал. С «ведром слёз» особо не поспоришь. Да и как теперь искать эту брошку на одной ноге?

Они с бабушкой сели играть в карты. Потом пришёл Миха.

Вчерашний день Мехондий провёл в делах. Обустраивал шалаш, что они с Ромкой построили на берегу речки. Сломанное автомобильное кресло выпросил у дяди Егора, детское одеяло — у продавщицы Любы. Вечером занимался с вороной, учил её говорить. Утром опять учил. А в обед дед вдруг объявляет: «Ты бы Ромку навестил, что ли. Он в лесу ногу подвернул. Всем поселком вчера искали, еле нашли».

— Как это так? — поразился Миха. — А я? Почему меня никто не разбудил? Это же мой друг потерялся!

— Ты же, братец, дрыхнешь, как медведь зимой... — махнул рукой дедушка.

Из-за этого деда, который его не разбудил, Миха всё и пропустил.

Рома, увидев друга, вытащил из-под стола загипсованную ногу и похвастал: «Смотри. Почти не болит. Тукает только, и наступать нельзя».

— Ром, а правду дед рассказывал, что тебя ворона спасла?

— Чтоб мне жабой стать, — поклялся Рома.

— А как? Как она тебя спасала? — у Михи от любопытства зачесались ладошки.

— Вначале воду из ручья мне таскала, потом с чёрным вороном разговаривала. Брошку бабушкину ему отдала. Ворон с брошкой улетел, а она схватила бейсболку и в посёлок отнесла. Ну, все увидели бейсболку и ка-ак рванут за ней! А тут я лежу...

— Ерунда какая-то, — не поверил Миха. — Сам подумай. Лежал в лесу и заснул. Вороны рядом раскаркались — вот тебе разговор. Нога болела? Болела. Я когда болею, мне ещё и не то в голову лезет. Пурга всякая.

— Сам ты пурга, — обиделся Рома. — Она меня точно спасала. Одно непонятно — зачем вороне спасать человека?

— Да низачем, — махнул рукой Миха. — Спроси ещё, зачем ей брошка? Разбогатеть хотела? Тупые птицы, вот и все. Это только дедушка считает, что у них есть разум.

— А что, — оживился Рома, — дед Паша так считает?

— Считает. Только я с ним не согласен.

Домой Миха возвращался в сомнениях. Может, Ромка умом повредился? Это ж не шутки — в лесу полночи проваляться. Всякое может померещиться. Нет, ну зачем вороне спасать Ромку? Смысл-то в чем? Надо бы деда хорошенько расспросить. У него целая полка книг про птиц. Дед называл эти книжки словом «хобби» и трогать не позволял. А там ведь наверняка много чего написано. Дома Миха долго гипнотизировал книгу с непонятным названием «Орнитология», но сведений в голове не прибавилось. Посмотрел на подоконник — а там опять две вороны! Хромоножка поглядела на него и сказала «хаха».

— Миха! — поправил он и ткнул себя в грудь.

— Миха, — повторила она. Другая, наклонив голову, сверлила мальчишку недоверчивым глазом.

— Дед, а дед, — позвал Мехондий, — а вторая ворона у нас откуда?

— Вторая? — дед сдвинул очки на лоб. — Это и есть главный герой. Притащила в поселок Ромкину бейсболку, когда уже все с ног сбились искать. А потом к нему привела. Ум прямо выдающийся!

Мехондий от изумления чуть не сел на пол. Ничего себе! Значит, Ромке не померещилось. А он-то другу не поверил. Вернее, поверил, но самую малость. Нет, ну откуда у птицы выдающийся ум? Ум — это мозг, а где в птичьей голове мозгу уместиться? Но сомнения оставались, и Миха подозрения решил проверить. Он посадил перед собой Сохлу.

— Миха! — говорил он, тыча себя в грудь. Потом тыкал в Сохлу и спрашивал: «А ты кто?»

— Тыкто, — старательно повторяла Сохла. Мишка громко хохотал. Ну и где тут ум? Ничего эти птицы не понимают. Ни-че-го-шень-ки! И он вручил Сохле награду — кусок сахара.

Мокла смотрела и завидовала. Сахара ей, конечно, тоже хотелось, а вот за мальчишкой повторять — нисколько. Тем более он на неё вообще внимания не обращал. Только Сохлой и занимался.

Потом Тельняшка собрал рюкзак, затолкал в него Сохлу и куда-то с ней отправился. Дедушка тоже ушёл. Мокла погрузилась в думы о сахаре. Са-

харница так и манила, но крышка на ней сидела, как приклеенная. Поддеть клювом не удавалось, тогда Мокла подсунула под край ложку и надавила. Край слегка приподнялся. Мокла подналегла на ложку — и опа! Крышка подпрыгнула, перекувыркнулась и снова улеглась на место.

— Ах ты, дрянь, дрянь такая! — не вытерпела крышкиного коварства Мокла.

Её прервал шорох. Мокла оглянулась — на подоконнике стоял Влад.

— Чего шумим? — спросил он.

— Да вот... — Мокла показала на сахарницу. — Не открывается...

Влад перелетел на стол и с силой долбанул клювом по крышке. Та подскочила и грохнулась на пол. По кухне разлетелись осколки.

— Ух ты, — Мокла залезла в сахарницу. Схватив кусок рафинада, она зажмурилась от наслаждения. Ещё вкусней, чем орех! Гораздо вкусней.

Влад тем временем оглядел комнату.

— Часы в доме есть?

— Чего? — удивилась Мокла.

— Часы. Штука, которая тикает.

— Тикалка есть, а тебе зачем?

Влад подошёл к Мокле и посмотрел ей прямо в глаза. У той от его взгляда ёкнуло и покатилося сердце.

— У дедушки на тумбочке ночью тикает, — пролепетала она.

— Возьмешь часы и опустишь в скворечник. Вон туда, — Ворон показал на липу за окном. Там и правда был прибит скворечник.

— Зачем это? — не поняла Мокла.

— Ты теперь в команде, — сказал ворон. — Так что выполняй.

— А команда — это стая? — спросила Мокла.

Вместо ответа он слегка клюнул Моклу в щёку и вылетел в окно.

Мокла обрадовалась. Уррра! Она в команде! Ворон принял её в стаю! И вдобавок поцеловал. Наверное.

Дедушка Паша, вернувшись вечером домой, наступил на осколок крышки и разбушевался. Он стучал кулаком по столу и кричал: «Черти бы взяли этого мальчишку!» Мокла на подоконнике испуганно притворялась, что спит.

Михаила ждала крупная выволочка, но он об этом не подозревал. Только открыл дверь, как дедушка взял его в оборот:

— Кокнул сахарницу? Ну, держись у меня...

— А чё сразу я? — возмутился Миха. — Я, если б разбил, то мусор подмёл по крайней мере. Я ж не такой дурак...

— И кто тогда? — озадачился дедушка.

— Она, — Миха ткнул пальцем в Моклу. — Выдающийся ум. Кто ж ещё. Я когда эту, как её, Тыкву... дрессировал, она на сахар смотрела. Завидовала.

Дедушка погрозил Мокле пальцем:

— Набедокурила, матрёшка?

Мокле стало тревожно. Зачем вожак кричал на мальчика? А от неё чего ему надо?

Дед сходил в чулан и вернулся с длинным шнуром. Один конец привязал к Моклиной лапе, другой — к оконной ручке.

— А если кто-то думает, — сказал он с намёком, — что можно будет и дальше всё на эту пигалицу валить, то ошибается...

— Да не я это! — завопил разобиженный Миха. — Не я! Ты, дед, из-за какой-то крышки готов человека известить... Людям не веришь!

— Верю я людям. Но не всем. На месте виновника, — продолжал дедушка, — я бы признался и прощения попросил. Может, я бы его и простил...

— Чего? — обиделся Миха. — Какого-такого виновника? Меня, что ли? Ты бы меня простил? Ты — меня? А вот я тебя не прощаю!

Глаза у Мехондия сверкали, он готов был расплакаться. Нет, не дожждётся этот дед его слёз. Он схватил рюкзак и выбежал из дому, хлопнув дверью.

Миха брел куда глаза глядят, в рюкзаке ворочалась маленькая ворона. Найти бы поскорее цирк и устроиться туда на работу. А что ещё делать человеку, которому не верят? Ну, вообще не верят.

Глава 5. Незнакомец у реки

Хорошо хоть, что у него есть запасной дом. Шалаш с креслом и одеялом, рядом речка. Можно переночевать, можно костер запалить. В рюкзаке — бутерброд, в кармане — еда для вороны. Нормально всё.

До жилища оставалось совсем чуть-чуть, как вдруг между деревьями блеснул свет костра. Что ещё за ерунда? А вдруг это бандиты? Или беглые преступники какие-нибудь?

Миха подошёл поближе и спрятался за деревом. До него долетал дым и слабое тепло огня. Над костром висел котелок, в нём что-то булькало, а человек помешивал варево. Волосы длинные, борода черная, на лбу платок. Похож на Джека Воробья.

Джек Воробей отодвинулся от костра и разложил на земле кусок фиолетовой ткани. Потом принялся вынимать из карманов вещицы. В отблесках огня они вспыхивали, как золото пиратов. Мишка смотрел как заворожённый. Незнакомец разложил сокровища на две кучки. В левой были кольцо, женские часики и брошка, в правой — ножницы для ногтей, чайная ложка, заколка для волос.

— Вот так-то, брат, — заговорил пират. — Все эти штуки блестят. Но не всё, что блестит, имеет цену. Поэтому вот твоя награда. Смотри внимательно! Запоминай, что почём.

Пират вытащил из-за пазухи пакетик с семечками и высыпал рядом с кольцом и часами целую горку. А рядом с ножницами и заколкой положил всего чуть-чуть.

— Ты всё понял, брат?

Миха едва не кивнул в ответ. Он мигом смекнул, что у костра сидел дрессировщик. Только вот кого он дрессирует? Дым от костра и тени деревьев не давали разглядеть этого брата.

Мехондий переступил, под ногой хрустнул сучок. Что-то зашумело в кустах, словно вспорхнула птица, и пират поднял голову: «Эй, кто там, выходи!»

Миха вышел на свет.

— Привет! — незнакомец улыбнулся, но улыбка Мишке не понравилась. Странная какая-то улыбка. То ли кривая, то ли невеселая.

— Привет! — он дрыгнул ногой, в которую впился комар.

— Ужинать будешь? — спросил пират. — Садись, — он протянул Михе ложку. — Давай прямо из котелка. Суп с картошкой. Хлеб бери.

Миха взял ложку, зачерпнул из котелка и принялся дуть на суп.

Суп был острый, горячий и вкусный.

— Ты с кем живёшь? — спросил незнакомец.

— С дедом, — Мехондий скривился, вспомнив недавнюю ссору.

— Поругались, что ли?

— Я от него ушёл, — опустил голову Мишка. Обида на дедушку снова поднялась, как волны в шторм.

— Ну и правильно. Взрослых надо воспитывать, — сказал пират.

Миха удивился. Кто ж рискнет с дедом Пашей связываться? Попробуй сунься — тебе же хуже будет.

Мехондий перевёл разговор.

— Это вообще-то мой шалаш, — он кивнул на свое убежище.

— Извини, брат. Пока я тут буду жить. Недолго, не беспокойся. Дней, может, пять, а потом дальше двину.

— Ну-у, — протянул Мишка. — Дней пять ещё можно. А с кем вы тут разговаривали?

— Я? Разговаривал?

Тут Миха понял, что его беспокоило. Рот у пирата вовсю улыбался, а глаза нет, глаза совсем не улыбались. Миха сказал спасибо за суп и отправился к Роме Санакоеву. Хотел ему рассказать про Джека Воробья, который врет с улыбочками, но при виде Ромы сразу обо всём забыл. Тот читал «Орнитологию»! Вот, значит, как. Дедушкина книжка про птиц! Мишке её даже пальцем трогать не позволено. А Роме, значит, можно?

— Скучная? — с надеждой спросил Миха.

— Неа, — помотал головой Рома. — Теперь даже не знаю — следователем стать или орнитологом. Ну, это учёные, которые птиц изучают...

Тут Миха хлопнул себя по лбу. Он же совсем забыл про Тыкву!

Он вытащил помятую птицу из рюкзака.

— Миха! — сказала та с упреком. Рома так удивился, что аж глаза выпучил.

— Говорящая ворона? — с завистью спросил он.

— А то! — похвастал Миха. — Сам учил!

— Бабушка, — закричал Рома, — иди посмотри, тут говорящая ворона.

Татьяна Семёновна Сохле не обрадовалась — птица была прям копия той, что стащила шляпку. Мальчиков она напоила чаем с вареньем и уложила спать на веранде. А на ворону больше и не взглянула.

Наутро их разбудила рыжая велосипедистка Анька, девчонка лет двенадцати. Трещала она как сорока, все новости знала. Улыбалась во весь рот, хотя новости были, прямо скажем, так себе.

У Перекатовых пропали обе ложки, прямо даже есть нечем. Продавщица Люба потеряла ключи от магазина. У Петровича увели очки, а он точно помнит, что те на подоконнике лежали. У Нasti Гороховой часики пропали. У Надежды Евгеньевны, дачницы, кольцо прямо с тумбочки испарилось... А у тёти Шуры — ножницы и браслет с камнями!

— Ну и дела! — удивился Мехондий.

— Значит, не я одна пострадавшая, — вздохнула Татьяна Семёновна. — Не вовремя ты, Рома, ногу подвернул. Работы вон привалило для следователя.

— Бабушка, — оживился Рома, — Можно, я буду искать брошку, не сходя с места? Вон Миха мне поможет. Да, Миха?

Мехондий кивнул. Да поможет, конечно. Ещё как поможет!

Татьяна Семёновна хмыкнула и ушла в огород, а мальчики принялись составлять план.

— Мы же знаем, у кого брошка. — рассуждал Рома. — Осталось выследить чёрного ворона. А если в поселке пропало так много вещей, значит, есть сообщники.

— Ну, одну сообщницу я знаю, — заявил Миха. — У нас дома теперь живёт. Та, что тебя спасла. Дед её к оконной ручке привязал, чтобы чего не вытворила. Всё потому, что ум у ней выдающийся, — с горечью добавил Мехондий.

— Это не она, — замотал головой Рома.

— Ещё как она! — заспорил Миха. — Все время возле моей Тыквы крутится. Дедушкину мобилу стащила, еле догнал. Это раз. Брошку воро-

ну отдала, это два. Ты же сам рассказывал, что отдала. А где она её взяла, спрашивается? Точняк она его подружка. Всё прёт, что плохо лежит. И сахар ворует.

— А вот и нет, — заспорил Рома, — я же все видел! Брошку нашёл ёж, а она у него стащила. Её кто-то с толку сбивает...

— Ты её защищаешь, потому что она тебя спасла, а она воровка, — стоял на своём Миха.

Он даже начал сердиться на Рому. С дедом разругался, ещё не хватало из-за какой-то вороны с другом поссориться. Надо вывести эту нахалку на чистую воду.

Миха ходил-ходил по поселку, думал-думал и наконец придумал хитрый план. Ещё увидим, у кого тут ум выдающийся.

Глава 6. Попались!

Хотя дедушки дома не было, Мишка всё равно залез через окно. Вытащил из рюкзака Сохлу, посадил на подоконник, где привязанная к ручке бандитка грустила возле пустой миски. Положил в миску размоченную корку хлеба, птицы поклевали. Тут Мехондий взял — и освободил Моклу.

«Вот тебе, дедушка. Скоро узнаешь, кто в доме посуду бьёт. Ещё извиняться будешь».

Мокла поклевала шнурок, прыгнула с подоконника и направилась в дедушкину спальню. Про Миху она забыла: он сидел неподвижно, шума не производил, ногами не дрыгал и вообще ничего опасного не делал.

В спальне на тумбочке тикали часы. Вождь забыл свою тикалку, вот радость-то! А то Мокла ужас как переживала, что не может выполнить приказ чёрного ворона. Сидела, как собака на верёвке, а тут такое... Да она... Да как щас она... Для Влада она готова была в лепёшку разбиться. Мокла схватила с тумбочки наручные часы и выбежала из спальни.

Мехондий следил за ней, не дыша. Ага! Потасила! Сейчас-сейчас. Мокла с часами взлетела на подоконник, потом метнулась на улицу. Мехондий на цыпочках прокрался на крыльцо. Он уже приготовился к слежке с погоней, но нет: птица опустила часы в скворечник и уселась поблизости. Миха замер, как ящерица на солнце. Он отлучился с наблюдательного поста лишь раз — на цыпочках принёс из чулана мешок из-под картошки. Ну, а дальше он просто ждал. Вороне-то хорошо — она спустилась с дерева, погуляла по траве, поклевала, а Миха застыл как памятник.

И тут, блеснув чёрно-синим, на траву опустился ворон. Крутая птица! Клюв — мама не горюй. Такой долбанёт — слезами умоешься. Ворон подошёл к мелкой, и они вроде бы заговорили. Кехекали. Умники нашлись. Но Мехондий их план уже разгадал. Бандитка крадёт вещи и оставляет в тайнике, а синий ворон их забирает.

Пока птицы разгуливали в траве, Миха бесшумно обошёл дом, теплицу, взобрался на липу и устроился на ветке за скворечником. Это дерево он знал лет с шести, каждый сучок и выступ.

Тут ворон подлетел к птичьему домику, засунул голову в скворечник — и рраз! — Миха накинул на него мешок. Как же этот гад дрался! Он проклевывал мешок до дыр, он раз двадцать тюкнул клювом Миху, но тот всё заворачивал и заворачивал птицу в плотный мешок и сжимал со всей силы, пока ворон не перестал биться. Мокла летала вокруг и отчаянно вопила, а со всей округи с тревожным карканьем слетались вороны. Гвалт стоял — зашибись!

Но Мехондий, хоть и исклеванный, слез с дерева победителем. Он затолкал добычу в рюкзак и понесся к Ромке.

— Эй, люди, — закричал он, — я поймал вора! Татьяна Семёновна, я нашёл, кто украл вашу брошку!

Татьяна Семёновна вышла из дому с полотенцем. Рома в беседке вытянул шею. Миха победно водрузил на стол рюкзак.

— А сейчас — внимание! Опасный преступник, главарь бандитской шайки по кличке Синий!

Мехондий чуть-чуть расстегнул рюкзак, и тотчас оттуда показалась голова. Ворон посмотрел Михе прямо в глаза, и у того холод пополз по позвоночнику, такой это был ужасный взгляд.

— И что? — Татьяна Семеновна, едва взглянув на ворона, упёрлась руками в бока. — Ну, поймал. Под суд его отдашь? Или допрос устроишь? Так он ничего скажет, уж поверь мне. Лучше отпусти его. Чёрный ворон, от них добра не жди!

— Какого ещё добра? Это же мафия! Весь посёлок ограбил! — возмущился Миха. — Он за дедушкиными часами охотился. И прикинь, Рома, часы в скворечник засунула твоя спасительница. Она точно общница.

— Слышать ничего не хочу. Вон со двора эту птицу! — приказала Татьяна Семёновна.

— Ты что, бабушка? — упрекнул Рома. — Мишка же для тебя старался. Побитый теперь и в синяках. Ворона нельзя отпускать, надо узнать, где он краденое прячет.

— Как ты это узнавать собрался? А я тебе скажу — никак. И даже не думайте. Чтобы через пять минут этой мафии тут не было.

С этими словами Татьяна Семёновна удалилась, поставив друзей в затруднительное положение.

Вот так некоторые всё и портят, подумал Миха.

— Может, это... В тюрьму его пока посадить, а потом придумаем... — предложил он Роме. Ты покарауль его, я за клеткой смотаюсь, у нас в чулане есть.

Мехондий сбежал за клеткой. Пока ворона пересаживали, тот дрался, как бешеный. Досталось и Мишке, и Роме, от картофельного мешка клочки во все стороны летели. Мальчишки стали красными, как после хорошей драки. Оказавшись в клетке, птица принялась терзать клювом прутья.

«Ну, поймал вора. А дальше что? — раздумывал Миха. — Ромкина бабушка права. Этот разбойник даже если б говорить умел, всё равно бы не сказал, где награбленное».

Мехондий не хотел признаваться, но ворон ему нравился. Ну, не то чтобы совсем нравился, а так, немного. Дерется, как супергерой.

— Надо с дедом Пашей посоветоваться, — нарушил молчание Рома. — Вдруг он знает, где вороны тайники делают.

Мехондий обиженно дернул плечом.

— Не буду я с ним советовать... Ни в жизнь! Крышку от сахарницы ворона разбила, а дед на меня подумал. У него один я во всём виноват. Всё на меня валит, прям засада... — Мишка шмыгнул. — В общем, я от него ушёл. Только ночевать теперь негде. Шалаш дрессировщик занял... Говорит, что пять дней проживёт. А мне куда теперь?

Мишка, вспомнив ссору с дедом, так расстроился, что не понял, с чего Рома вдруг прицепился к дрессировщику. Вместо того чтоб посочувствовать, принялся вопросы задавать. Мужик этот, Джек Воробей, супом его накормил, втолковывал другу Мишка. Турист, наверное, на Копайкину гору собрался, там скал много, все лысые и крутые. Гора туристов манит, точно мёдом намазанная, как дед говорит.

— А с чего ты взял, что он дрессировщик? — не унимался Рома.

— Так он же... Он же... — И тут Мишка хлопнул себя по лбу. — Со всем забыл, вот я дурак! Он же вещицы выложил, кольца там всякие, и учил, как отличать их по ценности.

У Ромы округлились глаза.

— А кого учил?

— Я не видел, — ответил Миха. — Этот второй в кустах сидел, а потом смылся.

По Роминым глазам было видно, что мысли у него забегали, как муравьи.

— Есть версия, — зашептал он. — Это хозяин черного ворона. Подумай сам, Мишка, зачем птицам ложки и брошки? Ими преступник руководит, точно тебе говорю. Тем более если он дрессировщик.

У Мехондия вспотели ладошки.

— Жуть, — сказал он. — Кошмар кошмарецкий. А если бы я его спалил? Раскрыл, в смысле? Он бы меня со скалы скинул? Или в речке утопил?

Картинки проносились в Мишкиной голове одна страшнее другой. И как он в реке тонет, и как в скалах окровавленный валяется. Он бы и дальше фантазировал, но его перебил Рома:

— Надо всем про этого Джека Воробья рассказать. Что он тогда нам сделает?

— Да мы ему ракетками навалием! Сам побежит в реке топиться. Ему не жить! — обрадовался Миха.

Они принялись хохотать и хлопать друг по плечам. Они уже видели себя героями, как вдруг скрипнула калитка, и появился дед.

Глава 7. Явился не запылится

— Михаил, — сказал дед Паша. — Подойди, спросить что-то хочу.

— Чего спросить? — проворчал Миха, неохотно выбираясь из беседки. Клетку с вороном он предусмотрительно задвинул ногой под лавку.

— Ты часы мои не видел? Запропалились куда-то.

— Видел.

— Так верни.

— Пусть кто взял, тот и возвращает. Ты, дед, сам воровку в дом притащил.

— Да понял уже, — дед сморщился. — Отвязалась она, и сразу часы пропали. Думал, может, ты найдёшь, ты искать-то мастер. Уж извини, если что не так.

Да всё не так, думал Миха. Это извинение, что ли? Не извинение, а гулькин нос.

— Ты домой-то когда? — спросил дед. — Хромоножка без тебя скучает.

Миха обиженно сопел. Даже ворона заскучала, а дед ни капельки. Мехондий деду зачем? Только ворчать на него да, если что потерял, найти. Больше ни на что не годится. Часы потерял, вот и явился.

— Давай, дружок, возвращайся, — гнул своё дед. — Я шашлыков намариновал, мангал заведу, кока-колы купим. Рому с Татьяной Семёновной пригласим и выкурим трубку мира. Вчетвером. Лады?

Кто бы отказался от дедовых шашлыков? Дураком надо быть. Миха оглянулся на Рому, тот радостно закивал.

— Ладно, — Миха приосанился. — Только у меня условие — мясо на шампуры я сам буду нанизывать.

Дома их встретила одинокая Сохла. Той, что часы украла, и след простыл. Знает, гадючка, что натворила. Мишка слазал на липу со скворечником и принёс деду часы.

— Спасибо, дружище, — поблагодарил тот. — Что бы я без тебя делал? Настроение у Михи мигом исправилось.

Они вытащили на улицу стол со стульями, раздули угли в мангале, потом Мехондий протыкал кусочки мяса шампурами. Когда все было готово, он взял велосипед и покатил за Ромой. Клетку с вороном он незаметно спрятал за сараем. Когда подошла Татьяна Семеновна, аромат стоял на всю округу. У дедушки маринад был особый, с иноземными травами, как он говорил.

Только все расселись, в калитку постучали. Мехондий открыл и оторопел — за забором стоял Джек Воробей собственной персоной.

— Привет, колобок, — тот улыбнулся. — Можно войти?

— Какой ещё колобок? — нахмурился Мехондий.

— Ну, ты же от дедушки вроде ушёл? Вон от того?

Незнакомец нахально заглянул во двор, но Миху взял и со всей силы захлопнул дверь перед незнакомцем.

Гость снова нагло постучал.

Дед, отодвинув Мишку, сам открыл калитку.

— Заходите, милости просим к нашему столу.

Незнакомец двинулся прямо за стол. Миху за его спиной строил страшные рожи Роме. Посылал другу сигнал тревоги.

Это пират мало того что уселся, так тут же принялся ко всем подмазывать: то соус передаст, то салфетки, то колы нальёт. Вроде как всё нормально, зашёл познакомиться. За шалаш на берегу поблагодарить, а то палатка совсем развалилась... Татьяна Семёновна с дедом и ухом не вели, как будто так и надо, но оказалось, что они просто затаились. Когда гость в пятый раз похвалил шашлык, Татьяна Семёновна спросила:

— Как вас звать-то, скажите уже. И зачем к нам пожаловали?

— Василий, — Джек Воробей подал руку сперва Татьяне Семёновне, а затем деду. Роме он небрежно кивнул. — Место ищу для тренировочного лагеря. Альпинистского. Копайкины горки уж очень хороши, а вот где лагерь разбить, ещё думаем.

Дальше пират завел про стоянку, вывоз мусора и прочие дела, а потом заявил: «Ребят ваших тоже можем потренировать».

В голове у Михи мигом выстроились картинки — как они с Ромой висят на скале, обдирая пальцы в кровь, а потом, сорвавшись, падают вниз, как два мешка.

Дед покачал головой, словно сомневался, а Ромина бабушка сказала: «Зачем им? Они и без Копайкиных гор приключений найдут. Не на речке, так в лесу. Да вообще на пустом месте. Нога в гипсе, думаете, почему? За вороной погнался...»

— За вороной? — заинтересовался пират. — А что она натворила?

— Откуда вы знаете, что она что-то натворила? — строго спросил будущий следователь Санакоев.

— Обычное дело... — пожал плечами гость, но тут из-за сарая раздалось громкое «карр», такое раскатистое и требовательное, что невозможно было его не услышать.

Джек Воробей поднялся из-за стола и шагнул к сараю. Но дорогу ему загородил дед Паша.

— Там у меня мастерская, — сказал он.

— Разрешите, я гляну, что там за птица, — попросил незнакомец. — А то я недавно потерял одну...

— У вас есть своя птица? — удивился дедушка.

— Подружился тут с одним боевым вороном. Он сперва мне палатку изорвал и телефон поцарапал, а потом ничего, нашли общий язык... Голос вроде бы его...

Незнакомец попытался обойти деда Пашу, но всякий раз, как гость делал шаг в сторону, дед Паша тоже делал шаг. Так они и переминались, пока дед не сказал: «Лучше вам уйти»

— Прогоняете? — уточнил гость.

— Можно и так сказать, — миролюбиво согласился дедушка.

— Не пожалеете? — уточнил гость.

— Вряд ли, — ответил дед Паша.

Рома с Михой смотрели на них во все глаза. Это было ну очень похоже на драку, но без криков и кулаков. Вежливую такую драку. Вроде они ссорились, а вроде и нет, непонятно. Гостю пришлось отступить, но возле калитки он подмигнул Михе: «Жду в гости, колобок». Было в этом подмигивании что-то такое нехорошее, что Миха тяжело вздохнул и закрыл глаза. А когда открыл, то поймал дедушкин сочувственный взгляд. Миха тогда взял и обнял деда изо всех сил.

— Ну-ну, боец, не переживай. Мужик этот тебе не по нраву. Мне тоже. Давайте-ка обратно за стол, мы с Татьяной Семёновной выпьем по рюмочке, а вы нам расскажете, кто там за сараем каркает. Только чтобы всю правду и по порядку.

История вышла долгая. Рома поведал про брошку, погоню и растяжение связок, а Миха — про шалаш на берегу, обучение Джека Воробья, часы, скворечник и драку с синим вороном.

Дедушка то кивал, то удивлённо хмыкал, а Татьяна Семёновна охала и всплескивала руками.

Под конец дед Паша хлопнул себя по коленям: «Во жизнь у парней! Кражи, погони, слежка, опять же подраться можно. Не то что у нас, Танька. Эх, где мои девять лет!»

Рома с Михой переглянулись. Они не могли понять, кто такая Танька, а Татьяна Семёновна немного покраснела. Потом Миха сообразил, что за сараем давно стоит тишина. Все отправились поглядеть на ворона. Но там их ждал сюрприз — дверца клетки была распахнута, внутри никого не было.

Глава 8. Птичья месть

— Тэк-с, — подвел итог дедушка. — Что мы имеем? А имеем мы не иначе, как воровскую шайку. Дрессировщик Василий, синий ворон и его сообщница, мелкая городская ворона, разгуливают на свободе... Да и пусть бы себе разгуливали, но есть одно некрасивое обстоятельство... Вот мы, Мехондий, с тобой считай богачи, потому что у меня пенсия хорошая, можем кока-колу распивать и на новый велосипед копить. А люди в посёлке совсем не богачи. У Петровича очки пропали, надо в райцентр ехать, новые заказывать, а это ба-альшие расходы. Ключи от магазина потерялись, новый замок надо ставить, а стоимость замка вычтут из зарплаты продавщицы Любы. Я уж не говорю про Татьяну Семёновну, у ней память о матери отнята. Значит, не такие уж это мелкие жулики, раз от них такой урон. Ну, и какие будут предложения?

— Искать брошку и все остальное, — сказал Рома. — Я бабушке обещал, что найду, а сам не могу с ногой этой...

— Ничего-ничего, — успокоил дедушка. — Тут полная деревня энергичных пацанов. Слушайте план. Мы ведь знаем, где этот Василий обосновался?

Следующий день в посёлке выдался странным. Вроде бы ничего подозрительного и не было, но к полудню всеми овладело беспокойство. Петухи своё пропели, коровы отмычали, и вдруг наступила такая тишина, что

захотелось уши проверить — не вата ли там? Что-то было непонятное в этой беззвучности. Но что? Так бы они и гадали, пока продавщица Люба не открыла всем глаза. «А ребята-то наши где?» — спросила она недоуменно. И тут до всех дошло, что не слышно криков с футбольного поля, никто не плюхается с тарзанки, не носится на великах и не орёт «по-о-оберегись»... Всех поселковых крикунов словно корова языком слизнула. Ну, то есть где-то эти мальчишки были, блинчики со стола пропадали, но всё так тихо и незаметно, что даже тревожно.

Мальчишки являлись домой уже в сумерках, и вид у них был таинственный и гордый, потому что у них появилось ДЕЛО. С утра они разбивались на пары, Митя с Никитой шли к шалашу и наблюдали, что поделяет Джек Воробей. Потом их сменяли Данила с Серегой, а потом Саня Соловьев и Петька Губин. Думаете, Митя с Никитой шли потом домой? А вот и нет. Они отправлялись обшаривать пустые скворечни, потому что там могли быть воровские схроны. В общем, весь мальчишеский состав представлял собой единый отряд.

Но воришки как сквозь землю провалились. Боевой пыл охотников за три дня угас совершенно, и всё пошло как всегда — крики на тарзанке, синяки от футбола, порванные штаны и всё это мальчишечье...

Зато вдруг переменялся дедушка. Разве ж мама спустила бы Мишке, если б тот скатился на попе по мокрой тропинке к реке? Да ни в жизнь. Внушала бы про безопасность три часа. А дед сказал: «Ладно, Мехондий. Штаны постираем, а радость эту ты не забудешь». Какой-то добрый стал. Детство вспоминает да к Татьяне Семёновне в гости ходит. Сидит у ней по вечерам, чай пьёт, а Мишке без него одиноко. Зато Тыква молодец. Вчера крикнула дедушкиным голосом: «Матрррешка!» Мехондий даже вздрогнул. Он как раз в тишине замыслил новый план. Ему не давала покоя фиолетовая тряпица с сокровищами. Где её Джек Воробей прячет? Наверняка в шалаше, где же ещё?

Миха сидел-сидел да и побежал к Рома. А Рома как раз про то же самое думал. У него тоже возник план.

— Ловушка для ворон! — поднял Рома вверх палец. — Кладём что-нибудь блестящее, отставляем открытой дверцу. Как в мышеловке.

Миха помотал головой:

— Не-а. Не пойдёт. Хоть всех ворон перелови, а брошка не вернётся.

— Зато больше ничего не пропадёт.

— А ничего и не пропадает, — развел руками Михаил. — Искать надо, говорю тебе. Найти эту фиолетовую тряпку.

Сохла сидела рядом с мальчишками. Нога у неё зажила, дедушка Паша отвязал дощечки — лети куда хочешь. А куда? В доме хорошо, много еды, только вот Мокла куда-то пропала.

Но Мокла не пропала, у ней образовались дела. Она ведь ого-го как отличилась! Освободила Влада из клетки. Всего-то и надо было крючок зацепить и поднять. Весь день они провели вместе, а вечером полетели к реке. «Там нас покормят», — пообещал Влад. Но бородач на берегу только увидел их вдвоём, сразу заорал: «Проваливай отсюда!» Ещё и ботинком в Моклу швырнул. Мокла разозлилась не на шутку. Надо его самого отсюда выгнать. Он уйдет, а они с Владом останутся. Да только вот как? Как прогнать эту бороду?

Мокла крутилась возле шалаша и думала-думала-думала. Хотела забраться внутрь, но вход был плотно закрыт досками. И ни одной щели!

Она сердито раскачивалась на ветке. Толстая ветка вдруг треснула и слегка надломилась, Мокла едва не кувыркнулась вниз, прямо на шалаш. И тут её осенило. Надо сломать эту ветку совсем! Пусть она этот шалаш разнесет.

Легко сказать... Ветка оказалась толстая и твёрдая, клюв заболел, она же не дятел, да и мама все время предупреждала: «Осторожно, Мокла, это опасный человек». — «Я его не трогаю, — спорила с мамой Мокла. — Я только дом ему сломаю. Пусть убирается из нашего леса».

Утром бородатый собрал рюкзак и ушёл. К вечеру собралась гроза, небо почернело, а Мокла, хоть и дрожала от страха, всё не улетала. Нахохлившись, она мрачно следила за веткой и вздрагивала, когда грохотал гром. Ветер налетал с такой силой, что лес скрипел и стонал... С неба посыпались капли, всё чаще и чаще, застучал дождь. Тут блеснула молния, и Мокла увидела тень. Тень подкралась к шалашу, отодвинула доску и нырнула внутрь.

Ворона поглядела на ветку, та наклонилась низко — вот-вот грохнется. «Эх ты, недотёпа, — пожалела Мокла. — Куда ж ты полез-то? Раздавит тебя этот дом». В ту же минуту налетел бешеный ветер, и ветка с грохотом рухнула на шалаш. Дождь вдруг хлынул стеной. Мокла закричала. Где-то вдалеке отозвалась стая, но шум дождя и ветер уносили звуки. Мокла вгляделась: в шалаше, у которого один бок провалился, а другой выстоял, что-то зашевелилось. Из-под веток выбрался Тельняшка. К груди он прижимал сверток, а дождь тёк прямо по лицу.

«Так тебе и надо, — подумала Мокла. — Это тебе за то, что ты Влада в клетку посадил».

Внезапно гроза стихла. Замолчал гром, дождь прекратился, и из-за туч выплыла луна. А у шалаша выросла огромная фигура в плаще до пят. Великан сделал три прыжка и схватил Тельняшку.

— Ну-ка, постой, колобок!

— Отстань! Отпусти, — Миха, закусив губу, пытался вырваться, но Василий держал его крепко.

— Ты зачем мне шалаш сломал?

— Не ломал я, — дёрнулся Миха, пытаясь освободиться.

— А это что? — Джек Воробей заметил сверток. — Давай сюда. Быстро!

— Это не ваше! Оно ворованное, — буркнул Миха.

Бородач сильно надавил ему на плечо, и Мехондий волей-неволей уселся на землю.

— Отдай сверток и катись на все четыре стороны. А то все ноги переломаю.

— Какие ещё все? — огрызнулся Миха. — У меня их только две.

— Ты, я вижу, шутить намерен? А я не шучу.

И Мехондий получил по уху. Сильно.

— Что, детей бить? — возмутился Миха, изо всех сил сдерживая слёзы, но они уже сами потекли.

Бородач схватил его, поднял над землей, как пушинку, отнял сверток и толкнул. Мехондий поднялся с земли и побежал. Поскальзываясь и падая в грязь, он добежал до дома Татьяны Семёновны. Они там с бабушкой и Ромкой пили чай. Дед, побледнев, поднялся из-за стола и спросил: «Что случилось, Михаил?» Тот в ответ разрыдался.

Выслушав Мihu, дед бросился домой, а Татьяна Семёновна схватилась за телефон: «Помоги, Егор, прошу тебя. Павел за ружьём побежал». Потом повернулась к мальчикам.

— Ну и заварили вы кашу! Ну и заварили! Господи, лишь бы Павел не убил кого. Или сам не убился.

Татьяна Семёновна сердито поглядела на Мihu:

— Ты, Михаил, зачем на берег отправился? Кто тебе разрешил в одиночку геройствовать? Сидишь тут теперь, сопли размазываешь. А старый человек из-за тебя головой рискует.

Мишка так удивился, что сразу перестал всхлипывать. Это она про дедушку Пашу, что ли? Он, что ли, головой рискует? И с чего вдруг он стал «старый человек»? Он вообще не старый.

Мехондий секунду подумал и рванулся на выход.

— Сидеть! — Татьяна Семёновна схватила его за рубаху. — Побегай у меня ещё. Держи его, — приказала она Роме.

— Не буду, — отказался тот. — Это мой друг.

— Нашёл время дружить, — и Татьяна Семёновна снова вцепилась в телефон.

Мальчики переглянулись.

«Нет, — Рома помотал головой и шёпотом добавил, — от бабушки не сбежать».

Глава 9. Тем временем на берегу...

Дед Паша с подросевшим на подмогу Егором застали тренера Василия за работой. Тот, включив большой фонарь, чинил шалаш, прилаживая к нему сломанную ветку.

— Что случилось, мужики? Вы никак с ружьями? — спросил он.

— Тебе, парень, уезжать отсюда надо, — не заметил вопроса дед Павел.

— С чего бы? — удивился бородач. — Земля государственная, имею право жить где хочу.

— Детей бить тоже право имеешь?

— Это вы про колобка? «Я от дедушки ушёл, я от бабушки ушёл...»? Следить надо, граждане, за детьми. Он мне шалаш сломал. Ветку подрезал. Ну, я и поддал разок, чтоб не буянил.

Дед Паша посмотрел на ветку, что держал в руках бородач.

— Глянь на ветку, Егор. Что скажешь?

— Это не Михаил. Он бы подпилит. Тут птицы расклевали, а потом уж она обломилась, — пояснил Егор.

— Инженерный ум у этих ворон! — заметил дед. — Вы, гражданин тренер, зря их обижаете. У них память на лица хорошая. А шалаш вообще не ваш. Его пацаны строили. Так что выселяйтесь отсюда.

— Я подумаю, — бородач задумчиво разглядывал слом на ветке. — Но не обещаю.

— День тебе на раздумья, — предупредил Егор.

— А то что? — усмехнулся бородач. — Тут на днях моя команда подтянется, лагерь разобьём. Посидим, выпьем, договоримся как-нибудь.

— Нет, — сказал дедушка Паша. — Не договоримся. И вещички надо вернуть.

— Какие вещички? — удивился бородач. — Обвиняете в чем?

— Предупреждаю. Пошли, — Павел Петрович кивнул соседу.

— Ой, пощадите, люди добрые, — занял им в спины Василий.

— Вещи вернешь, может, и пощадим, — пообещал Егор.

Бубнили, бубнили, ничего интересного, думала Мокла, обсыхая после дождя на елке. Интересное случилось уже потом. Если тихо сидеть, что-нибудь да вымотришь. Мокла, например, проследила, куда Борода сверток прикопал после того, как вождь и здоровяк убрались восвояси со своими палками. Надо узнать, что он там прячет. Любопытство поборолось со сном и проиграло: Мокла где сидела, там и заснула.

Наутро, напившись из реки, маленькая ворона отправилась в овраг. Нашла место, где Борода лопаткой орудовал, и вырыла фиолетовую тряпицу. А там — т-а-а-кое! И много, и блестят, и часы, и колечко, и брошка та са-

мая, что она для Влада стащила. И цветные камешки на резинке. Мокла развесила красоту по сучкам и полюбовалась. Потом всё собрала и перепрятала. Брошку — в пенёк со мхом, кое-что под куст, кольцо засунула в дупло, очки бросила в речку у берега, там их никто не заметит. Только с цветными камушками на резинке расставаться не хотелось. Недолго думая, сунула внутрь голову, и камешки забрякали прямо на груди! Мокла не вытерпела и полетела хвастаться к сестре.

Миха, как только увидел Моклу в бусах, сразу крикнул: «Дед, смотри, явилась! Нет, ну и наглая! Это же браслетка тёти Шуры. Смотри, нацепила и красуется, — Миха презрительно фыркнул. — Совсем балда, щас она получит!»

— Ни-ни-ни! — запретил дедушка. — Ни в коем случае.

И тут начался натуральный цирк. Дед ка-ак хлопнет в ладоши. «Голубушка! Как хороша! Какие щёчки, что за глазки!» — взвыл он актёрским голосом и принялся подкрадываться к вороне. Он взял птицу на руки, качал её, кружил, подносил к зеркалу, снимал бусы, снова надевал, любовался и говорил стихами.

Мехондий, как ни старался, не мог понять, что дед задумал. А ведь тот точно что-то задумал. Полчаса уже пляшут, и ворона, вот дурындуся, довольна страшно, жмется к деду, а ведь он её обведёт вокруг пальца. Точно обведёт.

Дед наконец успокоился, сел за стол и поставил перед Моклой две пустые коробки. Снял с неё браслет, положил в коробку, сверху насыпал немного засахаренной клюквы. Мокла попробовала и застыла в блаженстве. Как же это было вкусно. Она съела всю клюкву, даже на Сохлу не оглянулась.

Дедушка подвинул Мокле другую коробку, пустую, положил туда конфет. Мокла хотела цапнуть, но дед прикрыл их рукой и сказал: «Очки!».

Мокла уставилась возмущенно. «Очки!» — требовательно повторил он. Потом снял с себя очки, положил перед Моклой и постучал: «Очки!» — «Ну вот же твои стекляшки, — рассердилась Мокла. — Чего от меня-то надо?»

«Ещё очки», — потребовал дед. «Ещё? Какой такой Ещё? «Ещё» у ней просил мальчишка в лесу. Воды, что ли, надо?» Тут она вдруг вспомнила, что стекляшки у неё есть. Лежат в воде у самого берега. «Этот вождь следил за мной! — запаниковала Мокла. — Он знает мои тайники!».

Тут хитрец снова вынул горсть засахаренных шариков и показал Мокле. И только она потянулась, сжал кулак. «Ещё очки!» — потребовал он. Мокла рассвирепела и спрыгнула со стола. Она бегала по комнате и громко возмущалась: «Чего ему надо? Чего он дразнится?»

И тут все повернулись к Сохле. Задрав голову, она громким дедушкиным голосом выкрикнула: «Ещё очки! Ещё очки! Ещё очки!», потом перешла на вороний язык: «Есть у тебя очки. Ты их спрятала! Я за тобой слежу. Видела, как ты часы у дедушки украла. Отдай ему очки!».

Мокла оторопела. Вот оно что, оказывается. Сохла тоже за ней следила! И всё тишком, молчком. Ну, погоди у меня... Мокла бегала и бегала по комнате, не зная, как поступить. Может, послушать умную Сохлу, принести очки? Нет уж, фигушки. Мокла собралась было удрать, но тут дед ухватил её лапу. «Карр, помогите!» — завопила ворона, но вождь прижал ей крылья, надел на шею бусы и поднёс к зеркалу. «Ну, малышка, ну, красавица моя, совесть есть у тебя или нет? Ну, я тебя прошу! Ещё очки!»

В комнате вдруг повисла тишина. Даже Тельняшка перестал сопеть. Мокла тоже притихла. «Да ну их, эти очки. Принесу», — решила она и тихонько клюнула деда в щеку.

— Ну, вот и договорились. Лети, моя красавица.

— Я его об землю стукнул. А он... А он...

— А он мёртвым прикинулся. Пойдем-ка глянем.
Мишка залез под ель и пошарил руками. Синего ворона и след простыл. Ну, вот откуда этот дедушка все знает?

Глава 10. Прощай, Джек Воробей

Наутро Павел Петрович погладил брюки, надел пиджак с чистой рубашкой и отправился на автобусе в райцентр. На все Мишкины вопросы отшутился.

А когда тот спросил, почему дед от него что-то скрывает, ответил:

— Потому что ты добряк, Мехондий.

Миха из этого сделал вывод, что дед задумал недоброе, и побежал к Татьяне Семёновне. Пожаловался, что дедушка куда-то испарился. Та простодушно объяснила, что вчера Павел заявлений о пропажах по посёлку насобирав и отправился в районную полицию «прижимать» тренера Василия.

Вот как это называется? Самое интересное Мишка пропустит, это раз. А два: старый человек, как Татьяна Семеновна дедушку называет, головой рискует, а он что? Мехондий, не сходя с места, придумал новый план. В последнее время эти планы, как сорняки, прорастали в его голове со страшной силой.

Он отправился на берег.

Возле шалаша сидел на корточках Василий и распутывал какую-то сетку. Миха подкрался к нему со спины и гаркнул: «Здрассьте». Лучше бы он этого не делал, потому что тут же был сбит на землю толчком локтя.

— Чё дерётесь-то? — спросил Миха, вскочив и отряхивая штаны.

— А, это ты, колобок. Прости, я не нарочно. Есть хочешь? Присаживайся, скоро каша будет. — Он кивнул в сторону костра.

— Эх, жаль, поесть не успеем, — вздохнул Миха.

— А кто нам помешает?

— Кто-нибудь точно помешает.

— Ты какой-то загадочный. Говори уж, не томи. Что, соседи ружья достали?

— Хуже, — сообщил Миха.

— Выкладывай, — потребовал Джек Воробей.

— Скажу, но только в обмен, — прищурился Миха.

— Ого! Торговля пошла. Ладно, чего хочешь?

— Вещи краденые хочу. Брошку, кольцо...

— Да брось. Они ж копеечные, — улыбнулся пират. — Я тут с вороном подружился, кормил его, вот он их и таскал. В благодарность...

Миха слушал и верил каждому слову пирата. Смотрел на его руки, ловко распутывающие сетку с застрявшим в ней чёрным пером. И вдруг вспомнил, как он этого Джека Воробья впервые увидел. Как тот у костра учил невидимку отличать ценные вещи от пустяков. Так вот кого он учил! Синего ворона. Вначале, значит, он его этой сеткой поймал, потом дрессировал, а теперь на него всё валит... Вон оно как, значит!

— Отдайте вещи, да и всё, — продолжил Миха. — Тем более раз они копеечные.

— Так у меня их нет, — усмехнулся пират.

— Как это нет? — не поверил Миха. — Врёте вы всё. Всю дорогу вранье, ещё взрослый человек называется. Альпинист — тоже враньё?

— Альпинист, может, и враньё, — согласился Джек Воробей. — А про вещички чистая правда. Бородой клянусь. Когда мой ворон пропал, я пошёл его искать. Какие-то нехорошие люди его в клетку заперли. Припоми-

наешь? Ну а день спустя он объявился, да не один, а с подружкой. Оручая такая, клюв вообще не закрывает, везде нос сует. Я её прогнал, а она — можешь не верить, но так и было — вещицы сперла. Тряпка осталась. И следы.

— А доказательства где? — потребовал Мехондий.

Они спустились в овраг, и там перед ними предстало место преступления. Фиолетовая тряпка и отчётливые четырёхпалые следы.

— Да знаю я эту ворону! Сахарницу кокнула, мобильник украла, часы дедушкины тоже хотела увести...

Мехондий захопнул рот. Потому что Василий улыбнулся. Как всегда, одним ртом, а глаза не улыбались.

— Ну, давай продолжай. Ты, кстати, хотел меня о чем-то предупредить?

— Я так, соврал, — отвёл глаза Мишка.

— Да ты и врать-то не умеешь. Говори, что дед задумал? В полицию пошёл? В глаза мне посмотри.

Мишка посмотрел ему в глаза. Те были светлыми и невесёлыми.

— Значит, в полицию, — заключил Джек Воробей. — А она мне ни к чему. И встречаться мне с ними неохота.

— Значит, вы преступник, — твёрдо заявил Миха.

— Ничего это не значит, — отверг Василий. — Не преступник и никогда им не был.

— А тогда кто?

— Искатель.

— А чего тут ищете?

— Волшебный Грааль.

— Чего-чего? — не понял Миха.

— Ничего. Шучу. Пора собираться. Шалаш твой я починил, спасибо за приют. А насчет вещичек — вокруг поищи, вдруг найдутся.

Василий пошёл к шалашу, Мехондий поплёлся следом. Минут десять он наблюдал, как ловко Василий упаковывал рюкзак: складывал вилку, ложку, нож, топорик, удочку, скатывал коврик, рассовывал по карманам зубную пасту и щётку, привязывал котелок. Затянув узел и взвалив на себя ношу, пират подмигнул Михе и направился в сторону Копайкиных гор. У поворота он остановился и свистнул. Из леса вылетел ворон и уселся ему на плечо. Так они и исчезли за поворотом — человек и птица.

Мишке вдруг стало так грустно, как будто у него целый кусок жизни отобрали. И главное, большой такой кусок, интересный...

Дома он поставил перед Моклой коробочку с одной засахаренной клюквой.

— Ещё очки! — потребовал он, но Мокла на угощение даже не взглянула.

— А твой сообщник — фью! — тебя бросил, — злорадно объявил Мехондий и, чтобы этой бандитке всё стало ясно, вытащил из кармана черное перо с синим отливом. Мокла посмотрела и спрятала голову под крыло. Не захотела разговаривать.

Михе опять стало грустно. Даже не просто грустно, а грустно-прегрустно. Почти невыносимо. Тут, правда, вернулся дед, но вид у него был сердитый.

— Бездельники в этой полиции сидят, — сказал он. — То заявления не по форме, да пусть пострадавшие лично привезут... Где у людей время к этим бюрократам таскаться...

— Дед, а он ушёл, — перебил Миха.

— Кто ушёл?

— Ну, этот Василий, тренер. Шалаш починил, рюкзак собрал и...
— Вот те на, — удивился дед. — Ну, то есть слава богу.
— Он с собой синего ворона унёс, — пожаловался Миха.
— Ворон птица вольная, — отрезал дед. — Значит, сам захотел.
— Дед, а этот Василий, он кто? Чего он ищет? Сказал, что какой-то Волшебный Грааль.

Дед презрительно фыркнул.

— Волшебный Грааль, дружок, это сказки. Здоровый мужик, без дела шляется. Ворон ему какую-то безделушку притащил, а этот и давай птицу неразумную науськивать. Пожилится стариковским добром, крохобор, и ноги унес. — Дед снова фыркнул.

— Он стариковское добро не забирал, — сказал Миха. — Я видел, как он рюкзак складывал, не было там ничего, я проследил.

— Мехондий, ты человек доверчивый. Так тебе и положено по возрасту. Но дураком тоже не будь. Он за скалу повернул, рукой под камень залез — и вот оно, наше добро. С миру по нитке — голому на рубашку.

Ага. Голому, как же! Мишка припомнил швейцарский ножик, козырные ботинки на шнуровке и удочку, на которую дедушка будет сто лет копить... Они сели обедать — дед наварил картошки, засыпал её зелёным луком, открыл малосольные огурцы и налил себе стопку.

— Хочу за тебя выпить, Михаил. Вырос ты за лето и повзрослел. Остался, несмотря ни на что, добрым, да и храбрости накопил. Прямо до отчаянности.

— Правда? — не поверил Мишка.

— Точно тебе говорю. В общем, на будущий год жду тебя, как всегда.

— Какой ещё будущий год? — ахнул Мехондий. — А сейчас-то что случилось?

— Завтра родители приезжают.

— Ну уж нет! — вскочил Миха. — Ни за что! Позвони им сейчас же. Скажи, что до школы ещё времени полно.

— Тридцатое августа сегодня, — сказал дедушка. — Послезавтра первое сентября. Ещё собраться надо, дневник купить, рубашку, ботинки

Мехондий этой новостью был просто убит. Только жизнь наладилась, дед над ним больше не смеётся, ворона Тыква по-человечьи болтает, храбрости накопил, и что? В город, к брату Олежеку, который день и ночь вопит, а ты ему соску с полу поднимай?

— Не нужен я этим родителям, — сжал губы Миха. — Они на меня даже не смотрят. У них теперь другой сын есть.

— Втемяшится же такое, — удивился дед. — Когда ты младенцем был, вся жизнь вокруг тебя крутилась. Забыл? А я-то помню. Сам твоих сосок наподбирался. А ты их, хохоча, раскидывал. Игра такая у тебя была. Спать тоже не любил. И кричал басом, прям гудел непрерывно. Уже через неделю после роддома все с ног валились. Об одном только и мечтали — поспать бы.

— Вранье, я таким не был, — опроверг Миха.

— Младенцы все одинаковые, что с них взять. Зато ты теперь человек солидный, брата на девять лет опередил. Вот на тебя и смотрят как на мощника. А ты что, обратно в младенцы желаешь?

Миха замотал головой. Но тут зазвонил телефон. Дед тут же включил громкую связь.

— Мишечка, — зажурчал мамин голос. — Мой хороший, ты нас, пожалуйста, прости, мы завтра за тобой не приедем. Ты как, в порядке?

Миха хотел закричать «Уррра!», но решил, что выйдет как-то неудобно.

— В порядке.

— Дедушку не обижаешь? А то он на тебя жаловался...

— Я? — возмутился Мехондий. — Это я дедушку обижаю!?

Он взглянул на улыбающегося деда.

— Передай матери, что с неё орден причитается за тебя.

— Мне орден с тебя причитается за этого деда, — быстро переиначил Миха.

— Папа! — упрекнула мама. — Что за шуточки, когда тут такое... У Миши в школе карантин, они только с 14 сентября на учёбу выходят.

— Урра! — не выдержал Миха.

— Я рада, что вам там хорошо, — обиделась мама.

— Вернусь, буду тебе помогать с этим... с братом, — пообещал Мишка.

— А я тебя расцелую тысячу раз. А если ты брата по имени начнёшь называть, так миллион. Соскучилась уже. Давай, обе ноги правые.

— Только одна! — ответил Миха.

Такая у них с мамой была шутка, потому что однажды в магазине Мишка всех уверял, что у него обе ноги правые. Ну, не хотелось ему левый ботинок примерять...

— Что, неохота в город? — спросил дед.

— Дело одно есть, — сообщил Миха. — Поможешь?

— Новое дело?

— Да нет, старое. Василий сказал, что вещи, который синий ворон нагребил, наша балда стащила.

Дед оглянулся на Моклу.

— Эта. Выдающийся ум, — подтвердил Мишка.

— Она может, — согласился дед. — Звезда, не чета твоей подружке, та только болтать горазда.

Миха хотел обидеться за Тыкву, но не успел. В его голове снова начал произрастать увлекательный план. Ну его, деда, раз он Тыкву дразнит, Мишка справится и без него. С Ромой.

Глава 11. Брошка и всё такое

Назавтра Сохла с Моклой поссорились чуть не до драки. Во всем Тельняшка был виноват. Прямо с утра принялся их донимать. Не покормил, затолкал обеих в рюкзак и на велосипед взобрался. Орал, эгегейкал, потом ещё друга своего посадил, ну, которого Мокла в лесу спасала. Хорошо хоть очкарик догадался рюкзак приоткрыть, а то это же с ума можно сойти — трясешься в полной темноте по ухабам...

Прикатили они туда, где сестры с Владом дрались. Моклу Миха привязал к себе за ногу на длинном шнурке, а Сохлу выпустил. И ну командовать: «Ещё очки, ещё очки!» Прямо припер ножом к горлу, а сам в кулаке держит сахарные шарики.

Мокла решила, что ладно, так и быть, очки она на клюкву поменяет. И только сунулась к берегу, как Сохла тут как тут. Стекло блеснуло, она и увидела. Хвать — и потащила. Ну, уж нет! Мокла как бросится на неё, как крикнет: «Это мои очки, это я их спрятала!»

— Плохо спрятала! — закричала Сохла, а сама тащит очки. Мокла налетела на сестру и толкнула её в грудь. Но тут Миха дёрнул за шнурок, и Мокла кувыркнулась. Потом Тельняшка забрал очки и отдал Сохле клюкву. А перед Моклой поставил пустую коробочку и приказал: «Теперь брошку». Мокла возмутилась: «Карр! Ещё чего!»

— Не знает она, что такое брошка, — улыбнулся Рома, который сидел на горке, отставив в сторону загипсованную ногу. — И конфет ей тоже дай, а то обидится. Она ж хотела очки отдать, но в драке проиграла.

Миха подумал и дал Мокле одну конфету. Та проглотила и посмотрела требовательно.

— Заработаешь — получишь, — пообещал Миха. Но Мокла от него отвернулась и пошла искать в траве жуков.

— Гордая, — засмеялся Рома.

Тогда Миха принялся за Сохлу. «Ещё брошку», — сказал он. «Брррош-ку», — повторила Сохла.

— Ищи, ищи брошку, — настаивал Миха.

— Брррошку, — снова повторила Сохла.

— Вот дурындуся, — вскипел Миха.

Мокла стояла поблизости и тихо разевала клюв. Смеётся над нами, подумал Мехондий. Рома тоже всю веселился. Миха бросил на него сердитый взгляд.

— Я придумал, — сказал Рома. — Надо искать рядом с местом, где все было закопано. Давай, ты ищешь, а я за птицей наблюдаю. Она же свои тайники помнит, начнет суетиться, когда ты близко подойдешь.

Мысль показалась Мишке правильной. Он взвалил друга на спину и доволлок до оврага. Сам принялся лазать по кустам, Мокла тут же перестала искать жуков и насторожилась. Обе вороны внимательно следили за мальчишкой. Вот он раздвинул кусты, и Мокла не выдержала. Это же тайник! С громким криком она бросилась на Тельняшку.

— Пошла отсюда! — он замахал руками, как мельница. — Пошла вон! Убирайся!

Но тут неизвестно откуда вылетевшая Сохла клюнула Мехондия прямо в ухо. Он на секунду ошеломенел, но потом вытащил из кармана горсть засахаренных шариков и бросил в траву. Вороны бросились на конфеты.

Миха посмотрел на Ромку: «Что делать-то?» Тот показал на куст — ищи там. Мишка залез под куст, и — победа! — в траве блеснули женские часики. Он крепко зажал их в кулаке и побежал к Ромке.

— На, спрячь, пока вороны не видят. Злые, блин, как собаки.

Миха старался говорить тихо.

— Чего ты шепчешь? — спросил Рома. — Думаешь, они понимают?

— Кто их знает, дурындуси бешеные. Тыква совсем с ума сошла. Учишь её, учишь, кормишь-кормишь, а она потом на тебя же кидается.

— Они же стая. Своих защищают.

Друзья переглянулись.

— Что теперь? Дальше искать?

Рома показал на шалаш: «Пошарь внутри. Я там перчатки рабочие и шапку сушиться оставлял, когда дождь был. Надевай. Если эти раскричатся, взрослые вороны прилетят. А это капец как страшно».

Мехондий полез в шалаш. Нашёл Ромину шапку, перчатки и сетку для птиц, которую Василий так до конца и не распутал.

Шапку с перчатками нацепил, а сетку засунул в карман.

— Так пойдет? — спросил он Ромку. Тот кивнул.

— Там вон в дереве дупло, — сказал Рома. — Сможешь влезть? И шишек мне подгони на всякий случай. Я буду их отвлекать.

— Шишки вот, а ещё сетка. Если ворона близко подлетит, накидывай сверху, да и всё.

Разговаривали они тихо, хотя обе вороны спокойно шарили в траве и не обращали на них никакого внимания. Но как только Мишка обхватил руками дерево, обе повернули головы, как по команде.

— Я тучка, тучка, тучка, — забормотал Мехондий, — я вовсе не медведь...

Рома понял, что пора действовать, и швырнул в ворон шишкой. Те дружно взлетели. Рома бросил ещё. Мокла облетела его и приготовилась напасть со спины, но будущий следователь был начеку. Швырнул шишку

через голову, но тут ему в плечо внезапно ударила Сохла. Рома быстро набросил на неё сетку. Та забилась и закричала.

— Поосторожней там! — крикнул с дерева Мехондий. — Она же гонимая!

Он как раз добрался до дупла, сунул туда руку, и — опля! — вытащил кольцо.

— Есть! — закричал Миха. — Нашёл!

Только зря он это крикнул. Мокла налетела на него, как коршун. Шапка оказалась толстая, но как же она царапалась, зараза! Миха принялся отмахиваться, не удержался и рухнул с дерева. Ворона шарахнулась, а Миха, вскочив на ноги, вдруг увидел, что Сохла, всё сильнее запутываясь, бьётся в сетке, а Рома крепко сжимает птице клюв.

— Убери от неё руки, — рассердился Мишка.

— Раскричится, — предупредил Рома, — стая прилетит.

— Пускай. Отобьемся.

Мокла бродила рядом и не понимала, что происходит. Почему Сохла ворочается? Что они с ней делают?

Рома медленно разжал пальцы. Сохла молчала.

— Давай распутывай! — приказал другу Мишка. Рома принялся освобождать птицу от сетки. Миха присел на корточки — помогать. Они пытели оба — Сохла крутилась, как бешеная, и мешала. Потом случилась полная дрянь. Одна ячейка порвалась, птица сунула туда голову, и леска перетянула ей горло. Сохла хрипло вскрикнула.

— Задохнется, — заволновался Мишка.

— Щас. У меня нож есть. — Рома вытащил из кармана перочинный ножик и одним движением перерезал леску.

— Всю сетку режь, — командовал Мишка.

Рома распластал сеть, Сохла поднялась на ноги и сказала: «Миха». Мехондий взял её на руки и погладил.

— Не бойсь, всё норм. Молодец, хорошая Тыква.

— Ещё очки, ещё очки, — вдруг запричитала птица. Звучало это как «щечки, щечки».

— Да фиг с ними, с очками этими, — утешал её Мишка. — Забудь про очки. Главное, жива осталась, задохнуться могла.

Он прижал к груди птицу. От неё пахло страхом.

— Ещё очки! — снова возвала Сохла.

«Да принесу я, принесу. — отозвалась Мокла. — Тельняшка этот воображает, что сестра с ним разговаривает! Ха!»

Жалко, конечно, такую красоту отдавать. Хоть бы клюквы дали, грабители.

Мокла слетела на пенёк, расковыряла мох и вытащила брошку. Самый лучший тайник был, да что делать, сестра очень просит.

— Вот вам, жадины!

Она швырнула брошку прямо в них. Та ударилась о Ромин гипс и отскочила в траву. Рома пошарил рукой — вот же оно, бабушкино сокровище! Приятели на радостях стукнулись кулаками.

— Я думал, она камнем в меня запустила, — сказал Рома.

— Каким камнем? Это же звезда, — прищурился Миха. — Выдающийся ум! Драгоценностями швыряется.

Они расхохотались.

— Слушай, а конфет нет у тебя? Я все потратил.

— Что-то есть, — Рома вытащил из кармана жвачку.

— Да ей ведь жевать нечем! Звезде этой. Ладно, по дороге купим. Всё равно бандитка за нами увяжется.

И он осторожно уложил в рюкзак Сохлу.

Дед сидел дома. Миха этот торжественный момент уже десять раз по дороге отрепетировал. Он так небрежно выложил на стол фиолетовую тряпицу, так равнодушно предложил деду её развернуть. Дед развернул, очки сползли на нос, а брови поехали вверх.

— Ну, ты, брат, даёшь!

Только это и сказал, зато сразу все понятно было.

А главный салют зазвучал, когда они пошли раздавать отвоёванные сокровища. И всякий раз, когда хозяева принимались охать, ахать и благодарить, дед сиял от гордости. Вернулись они не домой, а к Татьяне Семёновне. Там и просидели весь вечер за чаем с пирогами, вспоминая все подробности краж, погонь и драк.

Дома Мехондий сел напротив окна и уставился на двух ворон. Совсем неразличимые стали. Прямо близнецы какие-то. Он их так долго гипнотизировал, что Сохла не выдержала и сказала «Миха». Ладно, дурындуси, решил он, завтра смастерю вам гнездо на липе, живите тут, а мне скоро домой. Но следующим летом чтобы обе были тут. Поняли?

БЕЗ ВЫМЫСЛА

Сергей Боровиков

Запятая-22

(В русском жанре — 82)

””

Алексею Н. Толстому была чужда и даже смешна сосредоточенность Бунина на неизбежности конца жизни (см. «Запятая-19», «Знамя», 2023, № 7). А тему продолжу М. Горьким, которому был столь же чужд и забавен бунинский страх в разжевывании любовного экстаза героя непременно со смертельной начинкой.

«Бунин переписывает «Крейцерову сонату» под титулом “Митина любовь”» (из письма К. Федину, 1925). Ехидно, зло, но точно: повесть Бунина ни грамма не добавила к уже сказанному Львом Толстым в повести об убийстве мужем жены из ревности.

Отношение Горького к любовным делам я бы определил как снисходительность самоуверенного самца, а к прошедшим женщинам, даже Андреевой, он бывал и беспощаден.

Вспоминая своего друга, доктора Алексина, Алексей Максимович писал: «Его очень любили женщины, он щедро платил им тем же, и на протяжении двадцати с лишком лет моей с ним дружбы ни один из его романов не окончился драмой. У него была очень развита здоровая брезгливость к излишествам лирики и «психологии».

— Избыток хотя бы и драгоценных камней — уже пошлость, — говорил он.

Но в то же время он обладал тонко разработанным чутьем эстетики сексуализма, и, когда говорил о любимой женщине, я всегда чувствовал, что он говорит о партнерше, с которой ему предречено спеть дуэт по славу радости жизни».

Бунин же при всей внешней суровости оставался по натуре одолеваемым похотью легко ранимым юношей.

””

Одним из московских скандалов конца 70-х был переезд в Москву наследницы Аристотеля Онассиса, странным образом вышедшей замуж за неказистого и одноглазого советского инженера. В литературной среде муссировалась история о том, как для её поселения в писательский дом в Газетном переулке отняли квартиру у советского поэта, главного редактора издательства «Современник» Валентина Сорокина.

Сергей Боровиков (1947) — критик, эссеист. Автор множества книг. С 1985 по 2000 год — главный редактор журнала «Волга». Цикл «В русском жанре» публикует с 1995 года в журналах «Знамя», «Новый мир», «Волга», «Урал». Живет в Саратове.

«— Мы только заселились в свою двухкомнатную квартиру, у меня все документы были на руках, а нас из неё выселили, импортный кухонный гарнитур выбросили из окна, а нашу квартиру отдали Онассис, она там жила несколько лет, — вспоминает писатель Валентин Сорокин. — Через несколько месяцев нам дали квартиру в другом месте».

Много разнообразных деталей о московском замужестве греческой миллионерши содержится в интернете, а я вспомню то, чему был очевидцем.

Надо сперва сообщить читателю нового времени, что в СССР любое выборное действо предварялось собранием т.н. *партизанных групп*, где коммунистам предлагалось открыто высказаться о кандидатурах на выборные должности, а потом голосовать хоть и тайно, но правильно. Верила власть в совесть коммуниста, а? Не были исключением и писательские съезды, и там, конечно, не обходилось без выступления какого-нибудь смельчака против какого-нибудь кандидата.

Если Онассис обженилась со своим Каузовым (какая-то чеховская фамилия) в 1978 году, то моё воспоминание относится к 1980-му, когда состоялся 5-й съезд писателей РСФСР, к его завершающей стадии — выборам членов правления и делегатов назначенного на следующий год съезда писателей СССР. Помнится, как долго против кого-то бурчал Елизар Мальцев, а потом не вскочил, а выскочил к сцене с президиумом некто даже не взволнованный, не взвинченный, а распаленный, видно, весь ещё в прошедшей ночи, когда готовился к своему акту, и стал выкрикивать по фразе, из которых складывалось, что он предлагает снять кандидатуру Сергея Михалкова, который отгородился от писательской массы, а в угоду сионистствующим силам изгнал из квартиры поэта Сорокина, чтобы там поселилась иноземная миллионерша. Дядя Стёпа в президиуме развернулся в сторону от крика, а сидящий рядом с ним в первом ряду Альберт Беляев из ЦК поднялся и сказал, что это провокация. Вскоре сам провокатор бегал у дверей меж выходящих из зала, непритворно хватаясь за грудь, и рядом уже стояла женщина в белом халате, и резко пахло валерианой, и кто-то хлопал героя по плечу, и висела какая-то общая неловкость. Из большого временного далека сообщу, что никаких кар не было, их, я думаю, никто и не предполагал, а меня поразила не сама храбрость, а реакция храбреца на содеянное. Его колотило, явно заболевший не напоказ, с сердечным приступом, литератор, для которого выступление против другого литератора стало чем-то исключительным в жизни, знаковой отметиной. Даже в брежневские спокойные годы любое нарушение установленных правил по-прежнему было пусть не караемым, как раньше, но событием, которое требовалось пережить как болезнь.

Владилён Иванович Машиковцев (26 сентября 1929, Тюмень, Уральская область — 24 апреля 1997, Магнитогорск, Челябинская область) — советский, российский поэт, прозаик, фантаст, публицист, общественный деятель. Автор более чем полутора десятков художественных книг, изданных на Урале и в Москве, в том числе — историко-фантастических романов «Золотой цветок — одолень» и «Время красного дракона». Атаман казачьей станицы Магнитной, почётный гражданин Магнитогорска, кавалер серебряного креста «За возрождение оренбургского казачества». (Википедия)

В хвалебной о нём статье Валентин Сорокин цитирует:

Не из Ганга аллигатор,
Не из нильской прелести, —
Это наш родной сенатор
Раздвигает челюсти.
Большевик и плоть от плоти
Парторганизации,
Три завода он проглотит
Без приватизации.

Улыбнется и при этом,
Одурь и нахалина,
Горько всхлипнет под портретом
Товарища Сталина.

””

Бедно отпечатанная книжица в растрепавшемся переплёте, уж не помню, как ко мне попавшая, а интерес к ней возник с премьерой качественного телефильма «Адъютант его превосходительства» (1969). Издана в 1927-м и называется «Адъютант генерала Май-Маевского», и сейчас легко узнать и о её библиографической редкости, и об авторе Владимире Макарове.

«Павел Васи́льевич Мака́ров (18 марта 1897, Скопин, Рязанская губерния — 16 декабря 1970) — русский революционер, подпольщик, партизан Гражданской и Великой Отечественной войн. Личный адъютант командующего белой Добровольческой армией генерал-лейтенанта В.З. Май-Маевского. Брат Макарова, Владимир, руководитель севастопольского большевистского подполья, был казнён врангелевской контрразведкой в 1920 году. Мать, Татьяна Саввична Макарова, была казнена немецкими оккупантами в 1941 году за родственную связь с командиром партизанского отряда П.В. Макаровым. Автор мемуаров о Гражданской войне на юге России и партизанском движении в Крыму во время Великой Отечественной войны. Является прототипом Павла Кольцова в фильме «Адъютант его превосходительства». (Википедия)

«Однако выполнял ли он при этом задание чекистов или просто был удачливым авантюристом, исследователи не могут определить до сих пор. Так или иначе, впоследствии Макарова заподозрили в связях с большевистским подпольем, и ему пришлось бежать. Затем Макаров примкнул к «зелёным», во главе отряда которых провёл успешный рейд в тылах белых, за что был награждён красными. После занятия Крыма красными Макаров поступил на работу в ЧК и опубликовал книгу «Адъютант генерала Май-Маевского», где рассказал о себе как о разведчике-чекисте. Именно эта книга ляжет в основу написанного Игорем Болгариным и Георгием Северским сценария. Однако у авторов и Макарова случился конфликт, и писатели стали отрицать, что прототипом Кольцова является Макаров. Надо сказать, что в годы Великой Отечественной войны Павел Макаров был одним из организаторов партизанского движения в Крыму, и этот героический период жизни бывшего генеральского адъютанта никто не оспаривает. Макаров умер в 1970 году, не получив и малой толики той славы, которая обрушилась на фильм». (АиФ, 20.12.2012)

И это всё вышло из уездного скопинского детства!

А детали вроде той, что, «как писал в мемуарах очевидец, белый генерал Борис Штейфон, главной функцией Макарова при Май-Маевском была «добычка вина», и относился к Макарову генерал так, как относятся к денщику, а не к офицеру? Действительно, Макаров сыграл известную роль в спаивании Май-Маевского». Сам Штейфон при немцах командовал русским охранным корпусом в Югославии и перед самой победой умер во сне. А Макаров успел послужить в ЧК, сесть в тридцать седьмом и умереть при Брежневе.

Когда-нибудь сможем ли мы хоть что-то понять в судьбах тех, кто воевал в Гражданскую?

””

Перелистывая своё прошлое, я крайне редко обнаруживаю в нём то, что можно назвать счастьем, и оно связано с Волгой и выпивкой. Году в семьдесят пятом мы с Борисом Дедюхиным плыли на старом теплоходе «Парижская коммуна» (бывш. «Петроград»), построенном в 1914 году в Коломне. Он в

Горький, я — в Казань. Дополнительным и возбуждающим обстоятельством стала война с директором ресторана. Не помню, с чего началось, кажется, с замечания за унесённую нами в каюту посуду, и, как и в любом путешествии, события и отношения развивались стремительно. На каком-то этапе Дедюхин преподнёс мне урок правовой самозащиты, когда в Балаково к нам в каюту поступал вызванный с пристани директором дежурный милиционер, которого мой товарищ выгнал с порога, объявив с редакционным удостоверением в руке, что тот нарушает конституционное право на неприкосновенность жилища. Из-за спины растерявшегося лейтенанта выглядывал директор, указывая тому на беспорядок в каюте, где брызги от положенных в раковину под струю бутылок залили пол. Милиционер ушел, а директор теперь знал, что мы работники редакции журнала «Волга», а мы узнали его фамилию — Подсосов. Апогей противостояния случился на завтра, перед обедом, у туалета, из которого выходил Подсосов. Дедюхин стремительно прижал директора туалетной дверью, отчего у того из кармана вывалилась, но не разбилась бутылка коньяка. «А знаешь, — сказал потом Дедюхин, — зря я, ведь это он к нам шел мириться с коньяком». Но встречи в сортире ему показалось мало, и он решил преподнести мне пример мщения, доступного на борту. Мы поднялись на верхнюю палубу, где по соседству с капитанской каютой была радиорубка, где он потребовал бланк для радиogramмы. Радист, прочитав текст, заартачился было, но моему спутнику удержу уже не было. Дал он две радиogramмы. Одна была в Горький, главному редактору речной газеты, органу находившегося там ВОРП, чья аббревиатура обозначалась на всем плавающем: Волжское объединенное речное пароходство. Текст был примерно такой: «Дорогой Дима! Направляюсь твой славный город со спецзаданием борту т/х «Парижская коммуна». Везу материал злоупотреблениях директора ресторана Подсосова. Твой Б. Дедюхин». Вторая телеграмма была на адрес редакции «Волги», Ольге Гладышевой: «Люблю. Целую. Скучаю. Твой Боря». Затем последовал долгий антракт, случившийся потому, что он заснул, а я очень долго и счастливо сидел у окна, мимо которого плыл высокий правый берег с лесами, оврагами, деревнями и пристанями, имея перед собой на столике бутылку коньяка и большой астраханский арбуз. Я тогда понял, что такого мгновенья в моей жизни не было и не будет. Хорошо было всё: и плывущий берег, и союз коньяка и арбуза, и то, что мой буйный спутник утихомирился. Но всему хорошему наступает конец, и он явился ко мне толчками: «Вставай, Казань!» Уже было темно, я покорно последовал за Дедюхиным в ярко освещённый вокзал, где он устроил меня на ночлег в многокоечную комнату гостиницы. Наутро, страдая и еще не привыкши похмеляться, я из последних сил явился в татарский союз писателей на улице Баумана, чтобы отметить командировку, и самолётом отбыл в Саратов.

””

В пустых залах Дома архитектора негромко раздавался томный итальянский голос Эроса Рамазотти, сопровождая выставку, привезённую в Поволжье его земляками из Ломбардии.

«Стул ведьмы», «Кресло допроса», «Жаровня», «Дыба-подвес», «Колесо», «Гаротта», «Аист, или Дочь дворника», «Нюрнбергская дева», «Якорь», «Эльзасский сапог», «Коленодробилка», «Испанская щекотка», «Вилка для еретика», «Скрипка сплетниц». Создатели пытошных орудий обладали своеобразным чёрным юмором.

В выходные — сказала служительница — залы не пустуют: на выставку приводят группы учащихся. А мне почудились другие экскурсанты — молчаливые мужчины с внимательными глазами, в начищенных сапогах, кто в чёрных мундирах, кто в гимнастёрках с голубыми петлицами.

Страшно? Вроде бы нет, ведь обстановка светлая, чистая, не подземелье, не крики жертв, а сладкий голос певца, орудия пусть и точь-в-точь, но изго-

товлены специально по немногим сохранившимся образцам, а ещё более по чертежам и рисункам, крови не видели, они криков не слышали. Мысли всё же кружат вокруг предмета экспозиции.

Вот славная штучка под названием «Жаровня», очень напоминающая раскладушку, только покрепче, да кандалы на цепочках по бокам приделаны, чтобы клиент не трепыхался, когда под ним разгорается костерок, а давал бы чистосердечные показания о связях с дьяволом. Аккуратные тисочки для зажима больших пальцев сопровождаются пояснительной страничкой, из которой, во-первых, можно узнать, что «Дробление суставов подследственного — один из самых простых и действенных методов пытки», во-вторых, увидеть симпатичный старинный чертёжик тисочков, который воспроизводится, как любезно сообщается в той же сопроводилке, из «Криминальной Конституции Терезии» — «справочника процедур допроса и пыток, написанного австрийской эрцгерцогиней Марией-Терезией и опубликованного в Вене в 1769 году. Позвольте, 13-летний Моцарт там концерты уже даёт, а хозяйка империи такие справочники сочиняет! Ещё сообщается, что через 7 лет сынок венценосной изобретательницы Иосиф II пытки запретил. Спасибо, утешили! А то бы Моцарта слушал, а в глазах тисочки, а в тисочках пальчики...

Выставка укрепляет патриотизм. В 1768 году наша матушка Екатерина II, даже несколько отступая от своего Наказа в связи с турецкой войною, всё же предписывала применять пытки к колодникам «с крайней осторожностью и рассмотрением». Притом, что телесные наказания для дворянства были уже отменены вовсе, а к низшим сословиям стали ограничиваться. Были и казни, и клеймение, и ноздри рвали пугачёвцам, но даже такие негативно пристрастные к России писатели, как Валишевский, не приводят столь широкого пыточного спектра, какой являли в те же времена страны Западной Европы. Ранее других цивилизовались в этом смысле Англия и Пруссия, зато германцы, итальянцы, французы, а уж испанцы! — вовсю тешились над соплеменниками. Знаменитая «Гаротта», стул с железным ошейником, на котором казнили осуждённого ввинчиванием в череп железного клина, последний раз официально применялась при Франко в 1975 году. Впрочем, большинство выдумщиков, судя по выставке, обретались в немецкоязычных государствах.

Как ни впечатляют все эти брёвна, цепи, заклёпки, шипы, более всего раздумий вызывает висящая на стене, словно бы в сельском сарае, обычная двуручная пила. К ней старинная картинка: один висит вверх ногами, а двое пилят. Думаешь: когда его душа уже летела на высоте много тысяч метров над уровнем моря, чем в это время занимались пилыщики? Ну, вымыли от кровавых кишок и прочего полотно, ну, сами умылись... Выпили, наверное, в трактире, закусили, о чём-то таком поболтали, и по домам? Детей воспитывать, жену приласкать. Или не так? А почему же не так? Ведь те, которые поближе, в чёрных мундирах или гимнастёрках с голубыми петлицами, после трудового дня, когда пусть и не двуручной пилой, но тоже ведь приходилось некоторые физические действия производить в контакте с врагом рейха или советского народа... они не в истерике же ежедневной бились, и уж точно не лбом об пол стучали в храме, а в шашки играли, в домино, водочку с соседом пили, чаёк, то да сё. Можно это всё понять?

Передвижная выставка из Милана ездит по разным странам с 1984 года. Называется Exhibition of medieval torture instrument, т.е. средневековые орудия пыток, в Саратов прибыла из Нижнего Новгорода, оцените тамошний её адресок: Нижегородский острог, пл. Свободы, 2.

””

Любая, хоть какая, но причастность к властным структурам сказывалась в сознании даже условно причастного, как я, что было стыдно, смешно, а сейчас грустно от всей нелепицы, касаясь которой я тоже ей заражался.

Что такое телефон-вертушка? Номер был подключен к ограниченному количеству людей, минуя обычных у руководителя секретарей. Я сдуру попросил в обкоме, зав. отделом культуры Зоя Ларионова озабоченно сказала: «Да-да, хорошо напомнил, тебе и директору обойной фабрики». Какое отношение отдел культуры имел к производству обоев? Но не поставили.

Другой раз у неё же попросил помочь купить мебель. «Да-да, надо в порядке исключения, мы недавно так Валентине Петровне помогли».

Валентина Петровна Ермакова — народная артистка СССР, известная своим учеником Евгением Мироновым.

””

«Паустовскому все же сегодня выдан некролог в «Правде» с портретцем, в «Изв[естиях]» — без. Писатель он безусловно плохой, но все же хоть человек старой веры литературной, благоговевший перед ней — литературой, что не только недоступно людям, привыкшим заведовать ею, но и предосудительно, как пережиток язычества после введения православия. Ему не простили выступления на Дудинцеве (о «Дроздовых») и подписей <в защиту> Яшина — «Рычагов» и «Вологодской свадьбы».

Оба покойника подряд завещали хоронить себя вне Москвы. Яшин на родине, Паустовский в Тарусе, которую он приспособил себе под некое «Мон-репо», хотя по биографии ему бы юг, Одессу». (Твардовский. Из рабочих тетрадей.)

””

Я наконец знаю точно: у Чехова, конечно, был учитель, был, был, но только один, и только автор «Записок охотника».

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Михаил Гундарин

Образы провинции

*Обзор книг-финалистов премии
«Ясная Поляна» — 2023*

Списки книг-финалистов наших крупных литературных премий напоминают часы из рассказа Марка Твена: в течение дня они то отстают, то уходят далеко вперед, но полночь бьют по точному времени. Вот и читая книги, вошедшие в короткие списки что «Большой книги», что «Ясной Поляны» (а также в финальные списки покинувших нас — навсегда или на время — «Надбеста» и «НОСа»), прямо диву даешься: откуда оно тут взялось? Но! При этом побеждает, как правило, самая приличная книга из числа финалистов!

На мой вкус, точно так же произошло и в нынешнем сезоне «Ясной Поляны». Ну, не будем голословными — посмотрим, что же выросло на этой поляне нынче.

Травма с колоритом

Роман Екатерины Манойло «Отец смотрит на Запад» (издательство «Альпина. Проза») — очередной представитель «литературы травмы», на этот раз в молодежном изводе. Да что в молодежном, что не в молодежном, все одно и то же: отразившиеся

Михаил Гундарин (1968) — поэт, прозаик, литературный критик. Родился в городе Дзержинске. Окончил факультет журналистики МГУ им. Ломоносова. Кандидат философских наук. Автор нескольких книг стихов и прозы. В соавторстве с Евгением Поповым написал биографии Василия Шукшина («Василий Макарович») и Фазиля Искандера («Фазиль», 2022). Печатался в журналах «Дружба народов», «Звезда», «Новый мир», «Урал».

на всей последующей жизни травля, абьюз, сексуальные домогательства, просто гадкие лица и унылые провинциальные пейзажи, окружающие трепетную героиню. Которая от всего этого была вынуждена убежать в столицу, но вот, опять же, по делу вернулась ненадолго в родной городок, затерянный в пограничных с Казахстаном степях, — и сразу же попала в привычный оборот. Тут ее чуть не изнасиловали, а потом чуть не убили, уж не говоря об эстетической травме, которую она получила от местности и аборигенов.

Екатерина Манойло получила за это сочинение премию «Лицей» и множество критических похвал, которые у нас, как всегда, разнообразнее и находчивее порицаний. Мне понравился вот такой комплимент: «многослойная история поисков собственной идентичности». Между тем, на мой взгляд, тут все ровно наоборот: один слой, нутряной, земляной, провинциальный, замешанный на смерти и экзистенциальном ужасе, из которого героиня истерически выкапывается, чтобы убежать подальше. В этом «сюда я больше не езду, но приезжать, увы, приходится» и заключается вся ее идентичность бывшего провинциала. Полагаю, тех, кто думает аналогичным образом, немало — миграция из провинции в столицы не прекращается.

Ну а тут в дело вступает известный «комплекс эмигранта» — желание видеть оставленную тобой местность в как можно более дурном свете. С этим у Манойло все в порядке. Масла в огонь подливает то, что описанный кошмар творится в азиатском мире, со всеми этими дикими персонажами, носящими непривычные для нашего уха имена, косными обычаями, помноженными на нищету и грязь, заполняющую все в прямом и переносном смысле. (Героиня, Катя, — полукровка, что ее травму еще усугубляет.) Отмечу попутно, что удачное, броское название — это местная такая идиома, означающая просто «умер». Много, много кто умер на страницах этой тонкой книжки! Или до начала действия, или прямо при нас. Ибо мы в аду.

Все это мы читали, повторю, не раз. Однако эта книжка посимпатичнее многих аналогичных (тех же со-

чинений Оксаны Васякиной, где дело тоже происходит в степи — то есть на краю географии, в глуши и ужасе рубежа между жизнью-цивилизацией и смертью-провинцией). Книга Манойло какая-то очень детская. Одно дело, когда свои травмы навязчиво демонстрирует нам профессионалка (будто мы ее просили); другое — когда румяное дитя тычет кулачком с обиженным взвизгиванием. Вы, вы, вы все виноваты! Плохие, плохие! Есть надежда, что дитя все же вырастет, повзрослеет, поймет, что «чем кумушек считать трудиться, не лучше ль на себя, кума оборотиться». Но, конечно, велика вероятность, что этот наивный, инфантильный эгоизм войдет в привычку. Станет не естественным этапом взросления, а, так сказать, Profession de foi. Способом заработать.

Книга за счет бойкого стиля и невеликого объема вполне читабельна. Вот мир двоюродного брата-азиата героини, которого «мучила жажда. Он порыскал по машине в поисках воды, но нашел только упаковку теплых жестяных банок с пивом. Открыл одну и с удовольствием выглотал омерзительный хмель. Громко отрыгнул и улыбнулся. Теперь дорога будет приятнее. Остальные банки он осушил так быстро, что опомнился, только когда дорогу ему перекрыли рыжие пятна — большие коровьи бока. Вспомнилась Буренка, ее худая туша с торчащими ребрами. У каждой коровы из этого медленного стада был проломлен череп. У одних на лоскуте скальпа болтались рога, у других, будто страшные колокольцы, болтались беззубые челюсти». Все радости дикой провинции в одном абзаце.

Конечно, при известной близорукости «Отца» можно принять за социальный роман. Глушь, бедность, актуальный азиатский колорит (в Казахстан двинули, как известно, многие «релоканты»). Но все эти мрачные картинки не более чем декорации для внутреннего мира героини, конкретика которых связана, как можно предположить, с биографическим опытом автора (она из тех же краев, что и Катя, почему пишет типа «о себе», типа «искренне»). Героиня точно так же обижалась бы на мир и в Зимбабве, и в Париже. Оренбургская область не лучше и не хуже.

Атака маниловых

Принципиально иная провинция предстает перед нами в книге сорокапятилетнего Евгения Кремчукова «Волшебный хор» (также изданная «Альпиной. Проза»). Ее можно назвать вязкой, рыхлой — но при этом весьма благодатной. А сам роман — это чрезвычайно лирическое высказывание по актуальному, причем довольно острому поводу. Лирика плюс политика? Почему бы и нет. Но не в данном случае. И не в том беда, что у Кремчукова этот микс вышел неубедительным. Просто лирика в «Хоре» словно развела ткань прозы, сделав неубедительным само существование романа как цельного произведения. Провинциальный город, в котором происходит дело, его обитатели беспощадно искажены поэтической оптикой автора (он и вправду, кстати, поэт). Все персонажи не говорят, а изрекают или прямо декламируют. Все с пафосом, все на котурнах. Их замысловатые рассуждения и воспоминания полны блаженных благоглупостей. Как будто над областным центром взорвалась литературная бомба, и все сразу превратилось в каких-то маниловых уездного масштаба, витийствующих поодиночке и хором при полном сочувствии автора.

Итак, на дворе 2018 год. Начинается все с того, что немаленького ранга чиновник, руководитель культуры и туризма провинциального города Баврин, находится в Японии и прямо-таки истекает лирическим соком по поводу японской культуры и действительности. Тем временем его школьный друг, учитель истории Протасов, арестован по обвинению в оправдании нацизма. Потом подтягиваются и другие обвинения... в общем, кончается для Протасова все плохо. История неоднозначная, кажется, требующая хоть какого-то осмысления персонажем, хоть каких-то действий с его стороны. Ведь он чиновник — а вина Протасова (ну конечно, как иначе!) сомнительна. Завязка интриги? Политическое высказывание? Как бы не так!

В лирическом мире книги ничего не происходит в принципе, а с этой многообещающей коллизией и подавно. Баврин не оценивает прямо ни Протасова, ни действия властей, вме-

сто этого он пускается в длительные воспоминания об их общем детстве, а также о временах и нравах в целом, ибо, как афористично замечает персонаж, он озабочен «не прошлым самим по себе, конечно, а тем прошлым, что одно только и способно, кажется, дать ответ о будущем, о том, что же мне делать дальше...». Все понятно? В книге именно так и говорят.

Все идет по законам идиллии или даже оперы в прозе, где важно не движение сюжета, но лирические излияния по ходу.

Во второй части недлинный роман несколько неожиданно входит в режим «поколенческой» прозы. Все, что происходило с поколением Баврина и Протасова, закончивших школу в начале 1990-х (а одного их школьного приятеля, например, убили в Чечне), философски понимается и принимается. Невесть откуда появившийся схимонах Вениамин изрекает герою, пришедшему к нему за советом, нечто поучительное. В это стоит вчитаться: «Горюю и горю я разве одно о том, что зачастую человек землю населяет, ровно будто гриб. Что был, что не был — вырос в свой сезон да времени на прокорм пошел. И не задумался даже — а для чего же была дана ему на краткий его срок искра духа священного? Искони оно так — живот в тепле живет, а дух прозябает». «Ровно будто»!

После таких советов ретроспекции главного героя становятся уже совсем непрекращающимися. Рождение в финале у героя ребенка, так сказать, факт торжества жизни ради самой жизни, закрепляет и ставит печать: мир оправдан. Баврин продолжает философствовать обо всем и ни о чем без остановки, и, кажется, даже окончание книги его не способно остановить.

Впрочем, и несчастный Протасов хорош. Каким-то образом он переправляет другу детства из своего жилища длиннейшее письмо, наполненное велеречивыми рассуждениями о смысле истории и бытия. Вот, например, так: «Долгое время я пытался понять, мне ли единственному принадлежит все совершившееся между людей время, но так и не встретил, не разглядел среди живущих моего со- владельца. Это страшно и прекрасно,

но, похоже, так и есть. Я один хозяин этого мира. Неважно, каким он был. Он будет таким, каким я его скажу. Каким я его проживу».

Нельзя сказать, что книга (в этом сезоне помимо «Ясной Поляны» вошедшая и в короткий список «Большой книги») совсем беспомощна, но... Как тут не вспомнить слова Гоголя о Манилове: «В первую минуту разговора с ним не можешь не сказать: «Какой приятный и добрый человек!» В следующую за тем минуту ничего не скажешь, а в третью скажешь: «Черт знает что такое!» — и отойдешь подальше; если ж не отойдешь, почувствуешь скуку смертельную». Так и здесь.

Большая пустота

Третий вариант провинции, в известном смысле примиряющий два первых, мы встретим в романе Эдуарда Веркина «снарк снарк» (ему также покорились короткие списки и «Ясной Поляны», и «Большой книги»). Роман издан Inspiria в двух огромных томах (каждый по 700 с лишним страниц, всего их около полутора тысяч). Огромное текстовое пространство, в котором, в общем, ничего не происходит. При этом книга отнюдь не рассыпается, читать ее не скучно. А это, между прочим, требует от автора недюжинного умения. В профессионализме ему точно не откажешь: сорокавосьмилетний Веркин известен как автор примерно 40 (!) книг для детей, написанных преимущественно в фантастико-приключенческом жанре. Да еще и взрослого антиутопического романа «Остров Сахалин», вызвавшего сочувственные отзывы критики. Так что для него написать еще 1500 крепких страниц, очевидно, не так и сложно. Но тут вопрос в читателе: ради чего ему осиливать этот гигантский по нынешним меркам труд?

Итак, перед нами маленький провинциальный Чагинск, куда герой-рассказчик Виктор попадает в 2001 году (первый том) и 17 лет спустя (второй). Впрочем, и до этого он бывал там в детстве. Герой вполне реалистичен и узнаваем (и многим из читателей, чтобы его узнать, достаточно посмотреть в зеркало) — немного писатель, немного политтехнолог,

медийщик, халтурщик, впоследствии организатор спецмероприятий и так далее.

Креативный класс. Имеющий (кажется) потенциальный, но точно не реализованный талант. Это важно, поскольку город Чагинск служит для Виктора своего рода полем реализации. Он придумывает, додумывает его. И реальность охотно ему поддается, прогибается и словно вибрирует, не выпуская из себя, но давая намек на существование некой «темной долины».

Вот эта натянувшаяся пленка глобо провинциальной жизни, сквозь которую мелькают некие мрачнейшие тени, дана Веркиным эффектно — в абсурдистско-сатирическом ключе. Тут и яркие детали «свинцовых мерзостей провинциальной жизни», и персонажи, словно сошедшие со страниц фельетонов районных газет и локальных блогов... Действительно, среди них легко можно представить и злобных персонажей Манойло, и благостных героев Кремчукова. Но за всем этим маячит нечто Иное. Скажу сразу: оно (или так, по-кинговски: ОНО) в наш мир не прорвались, даже если и существовало, а не мнилось. Поэтому, собственно, ничего в толстенном романе и не происходит, а все готовится и готовится происходить... Эта обманка как раз составляет как сюжет, так и все содержание книги. То есть мы имеем дело, по сути, с талантливо устроенным аттракционом.

Полагаю, современному читателю комфортно будет и в плане авторского стиля. Тут вспоминаются прежде всего Стругацкие с их блестящими «постхемингуэзовскими» диалогами в «Гадких лебедях» и, например, в «Пикнике» — из этих диалогов, вкупе с немногословными описаниями, у них возникал хоть и условный (даже «условно западный»), но вполне узнаваемый мир. Веркин идет следом. Вот цитата: «Я сказал, что погода для поисков самая подходящая. Хазин закурил и заявил, как все это невыносимо глупо и бездарно, что Ромик прав — погода сомнительная, сейчас солнце, а потом как ливанет, что надо всего лишь вызвать пару вертолетов и реальную поисковую группу с собаками — и они быстро все найдут, а вот это стадо на площади затопчет все

следы — это раз, потеряется само — это два, а те, кто не потеряется, будут неизбежно зажалены свирепыми местными клещами прямо в муди, и это еще не самое худшее».

Но там, где у братьев 200 страниц, у него во много раз больше. И это, несмотря на мастерство автора, на многочисленные фабульные неожиданности, остроумные намеки то на «Твин Пикс», то на Стивена Кинга (а кому-то и Крапивин вспомнится и много, много что еще), со временем начинает утомлять.

Ну ладно, нереализованность героя, ну да, бедная, смешная, но потенциально опасная провинция, ловко обрисованные карикатурные персонажи местных неудачников, ментов, олигархов, даже легкий сквозняк inferno... Но сколько можно? Кажется, в какой-то момент огромная машина начинает работать вхолостую, производя рубленый картон. Впрочем, возможно, таким и был концептуальный замысел автора, и перед нами не текст о реальности/нереальности, а текст о тексте. Или об авторе. Вот версия: а может, сам Веркин, трижды лауреат «Заветной мечты», дважды — премии «Книгуру», автор, включенный в почетный список Международного совета по детской книге (IBBY Honor List), — и сочинитель 40 томов почтенного трэша, — чувствует, что своего, главного, не написал? И чудовищной толщины роман это не оно, главное, а памятник ему, не состоявшемуся?

В общем, «снарк снарк» это неэурядная для нашей литературы попытка создать огромный, прямо в натуральную величину (да больше, больше, в гипернатуральную!), муляж романа. Обрамить большую пустоту. Как бы ни была сомнительна цель, получилось интересно.

Тагил мистический

Если у Веркина сверхъестественные существа так и не удостоили провинцию своим посещением, то в романе сорокапятилетнего Алексея Сальникова «Оккульттрегер» (АСТ, «Редакция Елены Шубиной») они ее плотно населяют.

Роман вышел больше года назад. Он популярен у интеллигентной ау-

дитории и рецензентов, успел получить премию в сфере фантастики «Новые горизонты», объявиться в шорт-листах и «Ясной Поляны», и «Большой книги». У книги своя — и удачная — судьба. Так что, строго говоря, говорить о книге здесь смысла большого нет. Поэтому скажу только о главном — а интересующихся подробной оценкой книги отсылаю к развешенным рецензиям там и сям.

Все же напомним, в чем суть. Дело происходит в условном Нижнем Тагиле в 2019 году. Мы узнаем, что в нем — как и на Земле вообще — вместе с людьми обитают фантастические существа, мир которых, включая подробную спецификацию каждого вида, описан автором, я бы сказал, с тихой детской радостью. Существа эти ведут себя как люди (почему-то всех поражает, что херувимы — это, натурально, божжи и алкаши). Оккульттрегеры, как главная героиня Прасковья, — это сущности, призванные взаимодействовать с людьми.

В самом романе деталей и подробностей этого, как говорят нынче, сеттинга превеликое множество. Автор тут проявляет и находчивость, и изобретательность — это вообще, на мой взгляд, самое интересное, что есть в книге. Хотя хватает и критиков — некоторые, например, видят тут злую пародию на христианство, некоторые указывают на недостаточную продуманность ангело-демонической иерархии. Но главный вопрос очевиден: зачем автору нужен этот «романообразующий» прием?

Конечно, бытовая — и вполне банальная — морально-этическая проблематика, составляющая собственно идейную опору книги (что можно, чего нельзя; какую цену допустимо платить за нарушение привычного порядка; есть ли счастье в жизни и т.п.), вовлечением в нее всяческой демонологии заостряется. Кому, в конце концов, интересно читать в очередной раз про простую/непростую бытовую/личную жизнь не очень юной, скажем так, девушки — то есть той же Прасковьи (есть, конечно, нишевая литература — как раз про и для таких дам, но мы о другом). А вот если она мистическое существо, оккульттрегер, и все ее друзья-соседи таковы же, то дело другое. Да, этим приемом про-

блематизация резко снижается — все это не с нами, а с иными происходит... Но и это тоже для читателя неплохо: если не с нами, то читать интересно и уютно, и никому не обидно.

Несомненная аналогия (о чем пишет, кажется, каждый первый рецензент) — это останкинский цикл романов Владимира Орлова. Скорее даже не «Альтист Данилов», а «Аптекарь». Признаюсь: в связи с «Оккульттрегером» я специально перечитал эту не самую короткую книгу. Удовольствие получил невеликое. Обыденный мир предперестроенной Москвы в «Аптекаре» невыносимо однообразен, и появление (неудачное) в нем «демонической женщины» эту тоску только подчеркивает. Она исчезла — нудный советский быт остался. Столь же однообразен и скучноват быт и у Сальникова. Но ведь и в реальной Москве 1982 года, и в Нижнем Тагиле 2019-го столько невидимых глаз страстей, столько подводных течений, столько интриг и хитросплетений... И здесь введение в наш мир мира демонического есть классический «запрещенный прием» — что у Орлова, что у Сальникова. Не умея или не желая убедительно играть шахматную партию известными фигурами, они вводят на доску некую новую суперфигуру. Ну, так можно шахматами и в «Чапаева» сыграть, но как-то совсем нечестно будет.

Стиль у Сальникова совершенно адекватен всему действию — он такой уютный, округлый, убаюкивающий — умиротворяющий. И здесь мы поневоле видим параллели с ровесником автора и конкурентом по короткому списку «Поляны» и «Большой книги» Кремчуковым: «Прасковья слышала, что в области есть города с покладистыми херувимами, которые сочетают алкоголь, семейную жизнь, чуть что, бегут к оккульттрегеру; где симпатия и ненависть между херувимами и бeсами выражены не так энергично, так что не нужно бояться, что они начнут сожительствовать, вступать в брак, что херувим может порезать беса. Неизвестно, от чего это зависело. Может, эти города отстояли дальше от проклятого областного центра, может, там было больше солнечных дней в году, словом, неизвестно, почему все обстояло так, но Прасковья не хотела

менять свой город на какой-нибудь другой».

В процитированном фрагменте отчетливо видна мораль книги — менять ничего не надо, не дай бог разрушить свой не очень благоустроенный, но родной, милый мирок...

В общем, перед нами ярко выраженный буржуазный (а можно сказать, и «мещанский») роман — глубинным содержанием которого, как учат нас марксисты, является утверждение существующего порядка вещей как единственно возможного и, при всех недостатках, справедливого. Происходит признание абсолютной приемлемости нашей так называемой реальности, которая ведь на самом-то деле ничуть не объективна. Ведь и в самом романе это конструкт, слепленный из осколков поп-культуры, сериалов, соцсетей, политической пропаганды, бытовых предрассудков и т. п. Но для автора иного не существует.

Сальников пошел даже дальше: он распространяет милый ему порядок и на «ноуменальный», «мистический» уровень. Так сказать, что наверху, то и внизу. Тем, кто принимает такой «терапевтический» подход, роман и вправду понравится (тем более что сегодня к этому добавляется и мощная нота ностальгии — о блаженные доковидные, не говоря о прочем, времена!). Ну а, так сказать, критически мыслящим гражданам, пожалуй, читать «Оккультрегера» будет скучновато.

«Нигде» и ничего

Но если «Оккультрегер» и правда кому-то может показаться скучноват, что, надо думать, автора не обрадует, то книга «Его последние дни» тридцатидесятилетнего Рагима Джафарова (издательство «Альпина. Проза») как будто специально нацелена на то, чтобы вызывать у аудитории скуку. Ибо здесь не происходит ровно ничего, причем это принципиально — перед нами лишенная и внешнего действия, и примет окружающего мира камерная психодрама. Пожалуй, больше всего она похожа на сценарий артхаусной ленты этакого постбергманского толка.

Судите сами: некто попадает в психиатрическую лечебницу для того,

чтобы написать роман от имени пациента. Однако выясняется, что всё не так просто. И насчет психического здоровья, и насчет писательства, и насчет самой личности героя со временем возникают сомнения. Собственно, вся книга построена на серии сюжетных твистов. Перемена А, через 10 страниц перемена Б, еще через сколько-то страниц перемена В и так далее. Прием годный, если умело используется, но в такой линейной подаче однообразный и утомительный.

И в результате парадокс: несмотря на все «перемены» фабулы, в книге ровно ничего не происходит. Нет развития ни характера, ни истории. Герой занят исключительно тем, что долго и обстоятельно беседует с врачами, с пациентами, сам с собой. Тут еще одна проблема — книга лишена авторской индивидуальности, она написана «грамотным», то есть стертым языком, полным обыденных штампов и банальных конструкций.

Вот для примера фрагмент бесконечного диалога: «зачастую психиатрия работает в несуществующей области. Вы можете привести массу контраргументов, но, если мы не об органических поражениях говорим, вы не знаете, где болезнь находится, что ее вызывает и что именно ее лечит. Похоже на правду?

— Да, бывает и такое, — почему-то не стал спорить он».

Тут надо вспомнить, что Джафаров еще и автор книги «Сато», которая тоже состоит преимущественно из разговоров с психиатром. Написанная, пожалуй, всё же более живым, офисным сленгом (хотя в том же неоднозначном жанре камерной психодрамы), «Сато» получила немало литературных регалий. Большой соблазн для молодого писателя. Можно предположить, что Джафаров, не мудрствуя лукаво, решил пойти по тому же пути...

Видимо, в погоне за универсальностью истории автор лишил ее почти любых примет времени, помещая происходящее в условном «нигде». Разве что упоминается азербайджано-армянская война начала 1990-х (с азербайджанской стороны). Кстати, один из врачей имеет фамилию Гусейнов. Может, Джафаров отправил нас в Баку? С тем же успехом мог и в Ереван, стен лечебницы герои все равно

не покидают и об актуальном не говорят. Конечно, тем самым автор обезопасил себя от вопросов о деталях и подробностях больничного дела.

Но голый «универсализм» обедняет любое произведение. Тем более если он помножен на столь же безликий стиль. Приведу еще один фрагмент диалога:

«Даже если мы опустим тот факт, что спасение утопающих — дело рук самих утопающих, то в любом случае мы придем к вопросу о личной ответственности каждого отдельного индивидуума в рамках сформировавшегося общества. — И чем быстрее мы к этому вопросу придем, тем лучше, — вставая со стула, заметил Даниил. — Надеюсь, что мы все как можно быстрее будем задавать себе вопросы, связывающие нас с результатом».

Трудно назвать такую цитату увлекательной и даже удобоваримой для публики. Но вот парадокс — именно книга Джафарова получила приз зрительских симпатий «Ясной Поляны»! Нахожу, честно говоря, такой исход голосования на сайте премии странным.

Зыбкий мир

Нет смысла держать интригу — полагаю, уже всем читателям известно, что премию «Ясная Поляна» получил роман Саши Николаенко «Муравьиный бог» («АСТ», «Редакция Елены Шубиной»). Признаюсь: по моему мнению, жюри сделало действительно правильный выбор.

В некотором смысле «Муравьиный бог» воплощает и углубляет тенденцию книг-финалистов: действие в нем происходит не просто в провинции (как во всех, кроме джафаровской, книгах списка), но в глухой деревне, да еще и в давние, советские времена. Другое дело, что внешний мир здесь настолько зыбок, настолько связан с внутренним миром героев (который тоже устойчивым никак не назовешь), что определять его какими-то твердыми координатами бессмысленно.

Замечу к слову, что всякому читателю книг Николаенко понятно, почему их автор — Саша, а не Александра: в «Саше» есть и намеренный инфантилизм, и половая неопределенность, все, находящееся в состоянии вечного

перехода-перетекания — как и тексты автора. В зависимости от настроения можно сказать, что речь идет о перетекании из пустого в порожнее — или ни много ни мало из Вечности в Вечность.

Итак, «Муравьиный бог» — это в некотором смысле модернистский вариант бестселлера «Похороните меня за плинтусом» (в издании Санаева Николаенко — она еще и художник — была иллюстратором). Там и тут дело происходит в советские времена. Маленький мальчик ежечасно и тотально, весьма изобретательно при этом, унижается своей властной бабушкой, при слабом и недееспособном (в отличие от санаевской книги — буквально недееспособном, не зря его называют просто — «Покойник») дедушке.

Вдобавок на стороне бабушки Веры сам Господь Бог, которым она шпыняет ребенка направо и налево. А еще она обвиняют Петю в смерти его родителей (если без спойлеров, то в некотором смысле он и правда выступил в роли посредника Рока). Дело происходит в течение одного лета в деревне, наполненной насекомыми и странными людьми, в том числе хорошими. Хорошие умирают. Мальчика жалко. Бабушку читатель ненавидит. Вообще мир скорее плавает во Зле, чем нет. Впереди натуральный Армагеддон. Для муравьев он уже наступает... Но! В самом финале автор дает нам понять, что есть и другой Бог — понимающий. Страдающий. Добрый. И это хорошо.

Можно также сказать, что уже попадавшая в финал «Ясной Поляны» за позитивную историю о мальчике («Небесный почтальон Федя Булкин»), написанную в схожей манере, Николаенко здесь создала ее своеобразный негатив. Но это не так важно.

А важно вот что: «Муравьиный бог» написан стихами. То есть вроде как ритмизованной прозой, но — степень ее ритмизации крайне высока. Мы уж не говорим о том, что текст книги включает в себя совсем уж «настоящие» стихотворные вставки (к примеру, стихи И. Евсы). Сама эта как бы проза местами переходит, например, в натуральный анапест. Вот каково: «По воздуху клубничного варенья плывут к огням веранд рогатые жуки, оса в янтарном мёде вязнет, смерть сладка,

над бархатным ковром демисезонных примул, в какие Пётр-апостол уронил от Царствия Небесного ключи, гудят устало пчелы. Вечерний звон посуды, вечерний разговор, вечерний свет».

Почему-то такое авторское решение многих читателей и критиков изрядно смущает, а то и возмущает. Но, во-первых, ведь были Андрей Белый, Ремизов, Набоков. Многие, включая тезку автора «Муравьиного бога» — Соколова. Ритмизацию текста, стирание граней между прозой и стихами не Николаенко выдумала. Во-вторых, более-менее в такой манере Николаенко писала всегда, даже Русского Букера получила за «Убить Бобрыкина» (где поэтическая стихия, правда, разыгралась не так буйно).

Интереснее другое: почему «Муравьиный бог» все же остается прозой. Возможно, потому, что главной тут остается История, на нее «насажены» характеры, пусть и довольно карикатурные.

От стихов взято активное использование «вторичной конструкции» текста, этакого дублирующего позвоночника в дополнение к традиционному для прозы нарративному. Я говорю о переплетении мотивов, возникающих то тут, то там, сплетающихся и перекликающихся. Ну и нельзя не заметить особое внимание к звуковым характеристикам героев. Подчеркнуто, нарочито диалектная речь бабушки, усиливающаяся ее речевыми дефектами, это, собственно, уже почти не речь, а звуковая конструкция. Такой «голос гобоя» в общей музыкальной картине. Исполнено все это виртуозно.

Конечно, более пристальный и тем более пристрастный взгляд увидит там и тут обидную для автора тень Вассисуалия Лоханкина, нашего отца сти-

хопрозы. Местами Николаенко «пережимает», циклится на одной эмоции, утомительно кружится на месте. Имеется манерничанье и красоты ради красот. И как у того же Санаева — элементы манипуляции «слезинкой ребенка». Но все же в тексте есть развитие, движение, причем устроенное сложным образом — как мы можем говорить о «сюжете», например, в симфонии. Безусловным плюсом является цельность авторского восприятия мира. А цельность — это ведь залог искренности. Такое ощущение, что Николаенко и в жизни говорит примерно так, и на мир смотрит схожим образом. А искренность — неременное условие читательского доверия.

Да, мы верим автору, вовлекаемся в его тревожное муравейное братство, и это такая редкость в нашей современной литературе, что становится неважно, как написан роман. Да хоть азбукой Морзе!

Все-таки не случайно все финалисты премии «Ясной Поляны» оставляют в стороне столичную жизнь. Для понимания нашей жизни провинция подходит куда лучше. Она в этих книгах очень разная — и пугающая, и фантастическая, и грустная, и вполне комфортабельная. И место ссылки, и место обитания, населенное монстрами и хорошими людьми... У прочитавшего все тексты, вошедшие в короткий список, возникает развернутая, интересная и глубокая картина нашей сегодняшней жизни, с заходами в прошлое, предвиденьем будущего. Значит, миссия премии, по крайней мере в этом году, выполнена.

КНИГА О «БОЛЬШОЙ» И «МАЛОЙ» ИСТОРИИ

Леонид Юзефович. *Поход на Бар-Хото*. — М.: АСТ: РЕШ, 2023.

Совсем не «Игра престолов»

Новая повесть Леонида Юзефовича представляет собой воспоминания о службе в Монголии вымышленного героя, бывшего офицера русской армии Бориса Солодовникова, которые он записывает спустя двадцать лет, находясь в ссылке. Критики уже откликнулись на книгу первыми рецензиями. Для Михаила Пророкова «Поход на Бар-Хото» стал повестью о неизбежности войны и благотворности мечты («Коммерсант»); Юрий Сапрыкин увидел в книге «утешение» для тех, кому приходится жить в темные времена («Кинопоиск»); Арен Ваня пишет в своей статье о воссоздании отнятого войной смысла («Горький. Медиа»). В центре внимания этих и других рецензий — «большая» история, свидетелем и участником которой герой был в прошлом. Но есть в повести и «малая» история, происходящая с ним в настоящем, в ссылке. Главы о прошлом и настоящем в книге чередуются, однако для критиков именно история похода кажется более важной. Хотя сюжет этот не является новым для Юзефовича — в романе «Князь ветра» (завершающем серию детективов о сыщике Путилине) история осады монгольской крепости была уже описана, причем более подробно, красочно... и саркастически. Там больше героев, эффектных сцен и ярких деталей, яснее видна панорама боевых действий, запутаннее политические интриги, острее национальные и религиозные вопросы. Вообще, перечитывая сейчас «Записки Солодовникова» из «Князя ветра», ловишь

себя на мысли, что из истории первых лет независимой Монголии могла получиться колоритная сага вроде «Игры престолов»: здесь столько контрастов, противоречий, каких-то совершенно диких и ярких личностей, безумных интриг и козней. И конечно, борьбы за власть. А ведь на сцене еще не появился барон Унгерн! Кстати, капитан Солодовников вполне мог с ним встретиться: он находился в Монголии в 1912–1914 гг., а Унгерн в первый раз посетил Халху в 1913-м. Но Солодовников о нем не упоминает вовсе, хотя пишет свои записки в середине 30-х годов и знает, конечно, кому обязана Народная Монголия своей независимостью от Китая. В общем, Солодовников из «Похода на Бар-Хото», в отличие от Солодовникова из «Князя ветра», не военный историк, а писатель.

Счастливая «малая» история

И пишет он поразительно трезвую, глубокую и прозрачную прозу.

«Сентябрь едва начался, дни стоят ясные, теплые. Воздух прозрачен, ветра нет. Тишина такая, что слышно, как с деревьев падают листья. Это время года создано для воспоминаний. Если сравнить память с живописцем, то осенью, особенно ранней, она работает в духе старых мастеров с их вниманием к мельчайшим подробностям бытия, а в другие сезоны — широкими мазками, как современные художники. Одиноким человеком в глухом забайкальском поселке хорошо это чувствует».

Солодовникову важно рассказать о том, что происходит «сейчас», показать контекст, в котором пишутся воспоминания. Несмотря на ссылку, это счастливый контекст. Осенний туман, поднимаясь с реки, скрывает убогую действительность поселка. Бронзовая богиня милосердия Белая Тара, которую герой спас от переплавки, смотрит на него с подоконника третьим глазом (еще по паре глаз у нее на ладонях и ступнях — чтобы видеть страдания всех живых в трех мирах). Любимая женщина, встреченная героем неожиданно на шестом десятке в глухом забайкальском поселке, в условиях, не благоприятствующих никаким личным отношениям, оказалась

по-настоящему родственной душой. «Мы с ней обнюхались, установили, что принадлежим к одной породе, и с тех пор радостно виляем хвостами при встрече» — записывает он в тетради. Они встречаются урывками, тайно. Конечно, это любовь без будущего: «Мы — как птицы небесные — живем одним днем». Счастье, которое вдруг случилось с героем, настолько хрупко и невозможно в сложившихся обстоятельствах, что кажется чем-то волшебным (не случайно он часто вспоминает сказку о Снежной королеве). Совсем скоро оно закончится: «большая» история, в отличие от богини милосердия, не имеет даже одной пары глаз — и безжалостно сметает все на своем пути. Видимо, неизбежность скорого финала и заставляет Солодовникова задуматься о прошлом. Найти в нем неявные аналогии — не только исторические, но и личные. Ведь в Монголии двадцать лет назад он тоже был счастлив и влюблен и находился на волосок от гибели.

Свет и тьма Востока

Солодовников увлекся Востоком еще в Петербурге. Разочарованный в русском империализме и западном либерализме, он «сблизился с кружком молодых мужчин и женщин, веривших, что свет — с Востока, что буддизм — религия будущего, что в глубине Азии бьют источники первозданного жизнотворчества, в Европе давно заваленные мусором». В 1912 году капитан Борис Солодовников отправился в качестве военного советника в Монголию. Урга (прежнее название Улан-Батора) неприятно поразила и одновременно очаровала героя. Несмотря на грязь, нищету, дикие нравы (тут не было отхожих мест, а покойников просто выбрасывали на съедение собакам), безумные суеверия и традиции, здесь была своя поэзия, на которую отозвалось чуткое сердце книжного интеллигента.

В 1911 году Монголия объявила независимость от Китая — однако никто не воспринимал всерьез легитимность нового государства. Стране необходимо было отстоять свой суверенитет: не только территориальный, но и моральный. Среди монгольской

элиты звучат речи о «Великой Монголии», а вернуть «величие» можно, только показав военные успехи. Для этой цели и затевается поход на Бар-Хото — отдаленную крепость, исторически принадлежавшую монголам, но находившуюся под управлением китайцев. Племя тордоутов, живущее в этих землях, давно породнилось с ними и совершенно не нуждалось в освобождении от «китайского гнета». Конечно, как это часто бывает, за патриотическими лозунгами о необходимости восстановления границ Халхи таились финансовые и политические интересы, однако захват Бар-Хото все же имел скорее символическое значение, чем стратегическое.

Как военный советник, Солодовников должен был подготовить цыриков (солдат-всадников) к боевым действиям. Но очень скоро убедился, что в этом походе «ничего общего с современной войной» быть не может. «В мире, где я очутился, походы Чингисхана и Хубилая закончились не далее как вчера».

Когда приходит время штурма крепости, решающими оказываются не техническая оснащенность и боевая готовность армии, не военная хитрость (примеры которой монголы черпают из древних легенд), а суеверия и иррациональный ужас, который наводит на всех астролог (и отчасти, видимо, шаман) Зундуй-гелун. Главный идеолог «монгольского величия», во время похода он неожиданно захватил командование над бригадой, убедив всех, что является воплощением бога войны Чжамсарана. А когда армия уже готовилась к отступлению, Зундуй-гелун вышел вперед и сплясал перед цыриками жуткий обрядовый танец на ковре из кожи, снятой с китайского офицера. Потрясенные монголы, забыв о своих страхах, захватили неприступную крепость.

Интеллигенты на войне

Солодовников не участвовал в штурме Бар-Хото. Он был тогда влюблен и мечтал лишь поскорее вернуться в Ургу, потому и весь этот поход вспоминает не как участник, а как сторонний наблюдатель. Опомился военный советник лишь в самом конце, когда обычно ленивые и беспечные

монголы неожиданно показали себя агрессивными дикарями, начав жестокие расправы с пленными. Через некоторое время отчете Солодовников и от любовного наваждения: по возвращении в Ургу он поймет, что совсем не знал женщину, которую так любил.

Однако человека, близкого по духу, он все же встретил в Халхе. Это был молодой монгольский офицер Дамдин. Потомок аристократического рода, прекрасно образованный (окончил Читинскую гимназию, потом учился в Париже), он вернулся на родину, как только Монголия провозгласила независимость. Он мог бы работать в Министерстве иностранных дел, но предпочел военную службу. Дамдин — книжный идеалист, цитирующий Ницше и знающий монгольские обычаи по книге французского этнографа Брюссона (как оказалось позже, многое в своей книге автор выдумал). Дамдина очень точно охарактеризовал помощник и переводчик Солодовникова, бурят Цаганжапов, услышав однажды в темноте его шаги: «Камешки пинает. Монголы так не делают». Желая доказать себе и другим, что он больший монгол, чем кто бы то ни было, и достоин называться потомком знаменитого Абатайхана, интеллигент Дамдин начинает проповедовать крайний (архаичный) национализм. В какой-то момент он становится сообщником безумного Зундуй-гелуна — но лишь до первой казни.

Когда начинаются расправы с пленными, Дамдин единственный (кроме Солодовникова) пытается уговорить солдат прекратить убийства. Причем делает это три раза (как в песне): сперва ссылаясь на буддистские заповеди о милосердии, потом пытаясь испугать их мезтью китайских духов. Когда и это не помогает, он обращается к фольклору: Дамдин поет старинную песню, от которой «в Монголии плачут даже камни», прибавив к ней куплет: «Велико различие (...) между монголом, пасущим скот на родной земле, и китайцем, поедающим свинину и пришедшим на его землю с востока, но в стремлении сохранить жизнь и породить потомство их путь един».

К сожалению, даже самые красивые слова — это всего лишь слова, не имеющие никакого значения там, где

льется кровь. И только люди книжной культуры (неважно, Ницше они читают или Толстого) продолжают верить в обратное... Дамдин покончит с собой, а Солодовников всю жизнь будет помнить его искаженное от ужаса лицо, когда тот «прозрел»: «Лицо его было таким, будто прекрасная нагая дакия, к которой он, очарованный, протянул руки, повернувшись к нему спиной, показывая кишечник со всем его содержимым, с пузырями газа и ленточными глистами. Такова, в сущности, и война — с той лишь разницей, что вначале мы видим ее со спины, с парадными и развернутыми знаменами, а потом она оборачивается к нам осклавленным ртом трупа».

История негероической жизни

После завоевания Бар-Хото опустеет: ни тордоуты, ни китайцы, ни сами монголы больше не будут здесь жить. Дамдина забудут. Зато Зундуй-гелун, приказавший сжечь заживо всех пленников (потому что «другого выхода нет: монголы вызывают у соседних народов презрение, а должны внушать страх»), станет национальным героем в Монгольской народной республике, ему припишут подвиги против угнетателей и сделают жертвой царского режима.

История постоянно порождает мифы, и они давно занимают Леонида Юзефовича. В «Самодержце пустыни» он пишет, что мифы рождаются самим «духом времени», поэтому и верят в них всегда больше, чем в факты. В мифах есть тот символизм, которого лишена реальность. К ним тянутся за смыслами, эмоциями, духовной поддержкой. Зундуй-гелун стал героем легенд. При жизни он всегда ходил босиком — из-за грибка на ногах; после смерти эту особенность растолкуют в буддистском смысле: якобы он не надевал обувь, чтобы не причинять страдания земле. Спустя двадцать лет даже Цаганжапов, свидетель преступлений безумного астролога, встретившись с Солодовниковым, станет яростно его убеждать в том, что действия Зундуй-гелуна были правильными и необходимы. Мифы истории не только притягательны, они постоянно требуют подтверждения — и ожесточают людей.

«Поход на Бар-Хото» отличается от других произведений Леонида Юзефовича: если в прежних книгах внимание писателя было сосредоточено на «большой» истории и на мифах, которые она порождает, в новой книге на первый план выходит история личная. О чем пишет Солодовников в своих тетрадах? О войне — немного, больше — о себе. О том, как искал на Востоке свет и стал свидетелем возрождения темного архаического зла. Как хотел верить в мечты Дамдина о просвещенной Монголии, в которой будут школы, университет, кладбища. Как обнимал его, плачущего от бессилия перед лицом необъяснимой жестокости. Как смотрел на главную «достопримечательность» Халхи — величественное звездное небо. Как ездил на лошади удивительной породы, прозванной «першинской жирафой»: красивая и неприспособленная к жизни из-за длинных ног и короткой шеи, она не доставала головой до земли и не могла прокормить себя самостоятельно. Как «любил и был счастлив» в дикой и нищей Монголии, несмотря на то что «страдал от зноя, холода и дурной воды, вшивел, покрывался фурункулами, болел дизентерией». Несмотря на Зундуй-гелуна и обманутую любовь, здесь он оставил свое сердце.

Ничего особенно примечательного в жизни Солодовникова не было (кроме того, что он был участником забытого всеми похода). «Птицей невысокого полета» называет он сам себя. Он и правда не равен другим героям Юзефовича: генералу Пепеляеву и барону Унгерну, по дерзости Солодовников уступает даже авантюристу Григорию Мосцепанову из предыдущего романа Леонида Юзефовича «Филэллин». Таких людей мифы обходят стороной — но именно поэтому он нам близок и понятен. Ведь в Солодовникове есть то, чего часто лишены «гении и злодеи». То, что безошибочно угадал он в Дамдине, признав в нем родственную душу. То, что мало ценится в «большой истории» и без чего не бывает «историй малых», в которых большинство из нас и живет. Мы называем это человечностью.

Анна КУЗЬМИНА

«ЧИСТОЕ НАСЛАЖДЕНИЕ ДВИЖЕНИЕМ»

Дмитрий Данилов. Пустые поезда 2022 года. — М.: АСТ, РЕШ, 2023.

Небольшая новая книга Дмитрия Данилова — сборник очерков, законченный цикл, посвященный путешествиям автора на поездах по России. Название каждой главы — обозначение маршрута, например «Подольск — Нахабино — Курский вокзал» или «Петербург — Выборг — Приморск — Петербург». Причем поездки носят якобы бесцельный характер, то есть у героя Данилова нет задачи добраться в пункт назначения, есть просто намерение ехать — «для чего-то это нужно». Для чего же?

Уже в первой главе узнаем, что цель героя — «погружение в особое неподвижное состояние». Поезда для него, с одной стороны, как карусели в детстве — покатайся, ради удовольствия движения как такового. С другой же, он превращает такие поездки в своеобразную практику, регулярную и даже духовную. Практику, которая может дать утешение, заменить поход к психотерапевту: «так называемая реальная жизнь ослабляет свою мертвую хватку», и у героя наступает «блаженное состояние» все равно. Почему? Потому что «во всей этой серии поездок очень ощутимо присутствует пустота», а она успокаивает, отвлекает «от мучительного ощущения себя и собственной жизни».

Важна отрешённость героя, дистанцированность его от других пассажиров; если они и есть, главное — чтобы не мешали, не нарушали его сосредоточенности. Забота повествователя только о своем внутреннем наблюдателе, его культивирование, успокаивание, наращивание. А растет и крепнет он именно в движении, под перестук колес полупустых провинциальных поездов.

«Потом женщина, говорившая о хосписах, вышла, и женщина, сидевшая рядом, тоже вышла, и женщина, сидевшая напротив, тоже вышла и пожелала при этом «счастливого пути». Как-то так, очень отчётливо.

Отсек освободился. Можно сидеть как угодно. Это очень отратно.

И началось блаженное ничто. Ради чего и следует отправляться в такие путешествия».

Собственно, главным героем книги Данилова можно назвать именно этого внутреннего наблюдателя. Взгляд его не пристальный, а скорее расфокусированный, отрешенный, не подразумевающий эмоциональной реакции, но фиксирующий многое. Установка «что вижу — то пишу» (визуал, моментально воплощенный в слова) проявлена в изобильном использовании назывных предложений. «Рядом со станцией — автостанция. Кафе (так это называется). Можно (и нужно) пообедать. Солянка, мясо (кажется, бефстроганов), картошка, черный хлеб. Еда».

У героя привычный навык ловить себя на той или иной мысли, не просто рефлексировать, но старательно осознавать происходящее, воздерживаясь от оценочности («внутри возникла ленивая, короткая мысль-эмоция: «вот те самые волнорезы»). Сидеть в неподвижности и оцепенении герой Данилова всегда предпочитает у окна, но совсем не для того, чтобы любоваться пейзажами: «Как всегда бывает в подобных поездках, смотреть было особо не на что. Тем не менее сидеть у окна все равно имело смысл — было приятно расфокусированным взглядом смотреть на мелькающий лес, редкие поля, деревеньки и поселочки. Ничего интересного, ничего примечательного, смотреть не на что — важен и нужен сам факт вот этого скользящего равнодушного зрения».

«Пустые поезда» обладают подзаголовком «взгляд из окна вагона», но при этом скромны на дорожные описания и впечатления — почти в каждом маршруте, наоборот, «ничего интересного». Пожалуй, единственное исключение — описание построенного к зимней Олимпиаде 2014 года железнодорожного вокзала в Адлере. Идеальное же путешествие выглядит так: «За окном темно, смотреть не на что. Делать, к счастью, тоже нечего. Думать в данный момент тоже не о чем. К счастью. Просто — ехать. Чистое наслаждение движением».

Но вот за окном встаёт солнце, и Данилов начинает рассуждать, что, мол, можно было бы описать «красоту и величие степи», но не нужно,

не нужно; есть ведь и знаменитая повесть Чехова, и много прочих описаний, зачем же добавлять к ним ещё одно? «Добавить к этому в общем-то нечего», — резюмирует он. И в этой его принципиальной установке на отказ от расветного пейзажа — ключ к методу. Смотрим на следующее предложение: «Одиноким мощным самосвалом стоит посреди (бескрайней, зачеркнуто) степи на подъезде к станции Курсавка». Фиксируя картину «так называемой реальности», Данилов даёт пару эпитетов самосвалу, но наглядно отнимает общеупотребительный эпитет у степи, ибо он здесь избыточен. У Данилова прекрасна вовсе не степь, а — на следующей странице — «тихая стремительная езда» («тихая» в смысле, что пассажиры были молчаливы). Или вот в другом маршруте замечание в скобках: «можно приставить к слову «турист» слово «заправский», но не нужно». Общеизвестные эпитеты не нужны.

Стиль Данилова якобы проще простого; краткий, даже очень краткий, почти скупой, склонный ограничиться названием и перечислением: «хотелось побывать» — «ну вот, побывал»; «Вагон моментально наполнился людьми. Их было очень мало, а стало очень много». Как писатель, Данилов широко известен своими пьесами (прежде всего «Человек из Подольска») и недавним романом «Саша, привет!», но, говоря о жанре и стиле новой книги, хотелось бы вспомнить его сборник 2016 года «Сидеть и смотреть». Тогда автор собрал однотипные записи май 2013 — май 2014, сделанные им в разных городах (не только русских); герой обычно сидел на скамейке в людном месте и фиксировал увиденное в режиме реального времени: «Высокая стройная блондинка прошла. На доме написано непонятно что...» Но уже там присутствовали две записи, сделанные в поездках: Тель-Авив — Хайфа, 6 февраля 2014 года, 16.2.2 и большое приложение «146 часов» — это поезд Москва — Владивосток, оно было написано несколько раньше. Так что можно сказать, что «Пустые поезда 2022 года» со своим «ехать и смотреть» зародились внутри «Сидеть и смотреть» и несколько дополнились «слушать и чуть-чуть вспоминать».

Однако если в сборнике 2016 года автор (хоть как-то) определял свой экспериментальный жанр, называя его «серией наблюдений», то теперь он это делать отказывается, оставляя эту работу критикам. Так как называть подобные тексты? Может быть, проза фиксации? Ведь речь идет о попытке фиксации момента, себя в этом моменте, причем фактически с отказом от описаний. Так, например, описания отсутствуют в эпизодических образах попутчиков: это люди тихие и вежливые или же, наоборот, громкие, шумные. В основном Данилов просто фиксирует их наличие и действия: дядька-тетенька, зашли-вышли, говорила-замолчала.

Автор очевидным образом отдает предпочтение «малодеятельным железным дорогам и тихим пустым (полупустым) поездкам». Именно это и отражено в названии. Любопытно, что всегда попутно отмечается тип поезда (разновидность тепловоза и вагонов). По маршруту Бологое — Осташков в выходные идет ретропоезд с паровозом, с новыми вагонами, специально сделанными на Тверском вагоностроительном заводе «в олд-скульном стиле, как старые советские сидячие вагоны». А от Выборга до Петербурга ходит «коротенький поезд (три вагона) РА2 — “рельсовый автобус”». На платформе в Новом Афоне автор видит древний электровоз ВЛ8, серийный номер 1162 и прослеживает по базе railgallery.ru год его постройки и историю работы на разных дорогах. На станции Савелово — знакомство с тепловозом ДМ62-1738 и опять-таки его трудовая биография. В некий момент речь пойдет и о разнице локомотивов маневровых и магистральных, и даже о разнице между гравитационными и вакуумными вагонными туалетами.

И паровоз (или тепловоз), кстати, оказывается чуть ли не живее иных пассажиров-попутчиков. В образе старого паровоза присутствует явное одушевление: «подышал, перевел дух, крикнул на прощание и, пыхтя и постанывая, медленно уехал куда-то в сторону Петербурга». Неоднократно присутствует мотив пения поездов: «После станции Советская рельсовый автобус РА2 начал петь. Поезда вообще иногда поют. Любят петь элек-

трички». И даже железнодорожные светофоры у Данилова выражают «смирение и покорность бытию».

Книга посвящена памяти мамы автора, Галины Ивановны Власовой (1942–2022). Истоки авторской любви к поездкам и поездкам, похоже, можно обнаружить в его детских прогулках с мамой по Курскому вокзалу, рядом с которым они жили. Тогда он и увидел волшебное железнодорожное царство: «Поезда, электрички, гудки, объявления по громкоговорителям, запах креозота, запах дыма из топящихся вагонных печек, разговоры с мамой...», и неудивительно, что сотрудников РЖД он порой называет «подданными железнодорожного царства». Проезжая станцию Гагры, вспоминает эпизод из детства, когда ему было 7 лет и они с мамой чуть не отстали от поезда «в этой Гагре». (Внутри нескольких маршрутов — воспоминания о давнишних поездках.) В истории о первом, январском маршруте присутствует сквозной мотив звонков в ковидный госпиталь, где тогда находилась мама. В конце января ее не стало, и становится понятна и общая грустная тональность путешествий, и тот факт, что все эти многочисленные поездки носят для автора терапевтический характер — помогают пережить ее уход. И этой книгой автор как будто прощается с ней. Финальный маршрут дублирует первый, автор проезжает его чуть более года спустя — «Бологое — Осташков — Бологое» (композиция закольцовывается), тот же путь, но уже без необходимости дозваниваться в госпиталь, без мамы. И в самом конце книги — не обозначенное в оглавлении послесловие — о судьбе мамы, слова прощания и молитва за ее душу.

Своей документальностью «Пустые поезда 2022 года» затрагивают и сферу литературную: например, упоминается Майя Кучерская и ее недавняя книга о Лескове, Денис Осокин и его «Овсянки», Платонов, Паустовский; рассказана история знакомства с Мамлеевым и важный телефонный разговор с ним. Прямо около паровоза автор знакомится с известным автором книг о железных дорогах Алексеем Вульфовым и, наконец, на заключительном маршруте читает последний роман Евгения Водолазкина — «Чагин».

Что заставляет героя-писателя снова и снова садиться в поезд и ехать? Любопытно, что герой Данилова в подобном пристрастии в общем-то не одинок: эпизоды, когда герой-писатель выбирает долгое путешествие в поезде (в то время как его спутник летит в пункт назначения самолетом), чтобы ехать и смотреть, долго ехать и смотреть в окно, встречались и в недавней прозе Дмитрия Бавильского («Невозможность путешествий»), и Ильи Кочергина («Присвоение пространства»), но все-таки это были поездки с целью добраться в определенный город. Мотив бесцельных поездок (тоже с терапевтической целью) присутствует и в первом, недавно переизданном романе Евгения Чижова «Темное прошлое человека будущего» — герой-писатель Игорь Чесноков ездит по кольцевой в московском метро.

Тональность «Пустых поездов 2022 года» (кстати, в книге есть какие-то задумчивые чёрно-белые иллюстрации художницы Елены Авиловой) не только грустная, но и одновременно отрешенная, окрашенная скептической позицией автора по отношению к миру в целом («так называемая реальность», «так называемая личность»), недаром Данилов неоднократно цитирует Георгия Гурджиева. «Приятная атмосфера бессмысленной поездки» рождается из установки «можно делать, а можно и не делать. Но лучше всё-таки что-то делать». Например, в Касимове зайти в пристроенную к автостанции церковь и «совершить малое молитвенное делание». Но в некотором смысле из этого даниловского поезда нет выхода. «Пустые поезда 2022 года» идут сквозь «пустой белый зимний день» в пустоту: «Белая пустота за окном превратилась в синечерную». От этой безвыходной пустоты не уехать, в какой поезд ни сядь.

Тем не менее «Пустые поезда 2022 года», безусловно, познавательны в плане российской географии; про какие-то станции лучше понимаешь, где они находятся, да ведь встречаются и вовсе незнакомые названия! Вполне возможно, что кто-то из читателей возьмёт себе на заметку какой-нибудь из тринадцати описанных Даниловым маршрутов. И последует авторскому совету: «единственное и лучшее, что ты можешь сделать прямо

сейчас, — это сесть в поезд Псков — Луга и ехать, ехать в нем без какого-то смысла, без какой-либо цели. Ехать желательно до бесконечности».

Татьяна ВЕРЕТЕНОВА

ЗАМКЬ И ЗАМКИ КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ

Дина Кирнарская. Классика на бегу: Музыкальные шедевры от Средневековья до современности. — М.: СЛОВО / SLOVO, 2022.

К счастью, Дина Кирнарская — медийная персона. Ее можно увидеть не только на самом культурном канале, но и на вполне популярных. «К счастью» — потому, что ее имя и имидж могут привлечь внимание к объекту дважды непросто — книге «напечатанной» (это раз) о музыке не из «Тик-Тока» (это два).

Те, кто видел Дину Кирнарскую на телеэкране или в интернет-пространстве, знают, что заумно-занудного или тоскливого в ее репликах и пояснениях не бывает. Будет о чем поспорить, с чем не согласиться, чему удивиться — это да: но ведь тем интереснее.

«Классика на бегу» — это иллюстрированные <больше чем> комментарии к музыкальным произведениям, созданным за последние одиннадцать веков. Автор предлагает читать об этой музыке, оценивать визуальные образы-ассоциации и, конечно, слушать ее — с помощью QR-кодов. Коды в книгах — вещь теперь такая же привычная, как цитаты или ссылки на источники. Но, с другой стороны, в них столько магии: это ведь почти вызывание духа Музыки на книжные страницы.

Есть и еще одна сторона — теневая. Ведь коды, открывающие читателю музыку, являются иллюстрациями, иноmodalным дополнением к тексту. И тут все становится совсем непонятным: в книге о музыке главное музыка? А ее — допускает Дина Кирнарская — можно и не слушать...

Публикация осуществляется в рамках проекта «Мастерские» Ассоциации союзов писателей и издателей России (АСПИР).

Чтобы чуть-чуть понять, почему можно не слушать, отметим очевидное: автор настолько нетривиален, что его комментарии воспринимаются как самостоятельные эссе. В них отлично написано про впечатления от музыки. Их ценность — в комфортности стиля, а не в его научной аутентичности.

Самое время признаться, что академическое музыковедение и сегодня — светская, этикетная наука «по правилам». Это Онегин, который охотно прочтет «души доверчивой признания», но настойчиво попросит научиться властвовать собой. Кирнарская в данной ситуации немного Татьяна: смиренно выслушав академический урок, она напишет и скажет так, как интересно ей самой, — и многим другим, как оказывается, тоже.

Однако стиль Кирнарской интересен отнюдь не только искренностью и неакадемичностью: он привлекает внимание читателей, слушателей (живой ли музыки или музыки, «вызванной» QR-кодом) своей, как сказали бы в «высшем свете», междисциплинарностью. У автора колоссальная культурная эрудиция, но, что еще важнее, — «вспыльчивое» ассоциативное мышление. Только что мы читали о красоте в «Арагонской хоте» Глинки, как Кирнарская уже предлагает нам задуматься о печальной российской действительности первой половины XIX века. Едва успела доктор <искусствоведения и психологических наук> Дина напомнить нам о проявлениях зрительных и телесно-пластических образов в музыке Мусоргского, — как его, Мусоргского, мы задумчиво пытаемся сравнить с Сезанном.

И все это, как постепенно выясняет сам читатель, — мотивированно и вполне обоснованно.

Обосновано творческой стратегией автора, но не всегда собственно музыкой. Дина Кирнарская, эффектно преподнося музыкальное произведение или даже целый музыкальный феномен (стиль, жанр, концепт), увлекается порой так, что получается славный, но все же воздушный замок — текст, построенный по образно-интеллектуальным мотивам арий, симфоний, сонат. Разглядывать это воздушное архитектурное сооружение — сплошное удовольствие. Однако в какой-то

момент, когда уже рассмотрены все башенные оконца и шпили, раздается сигнал-вопрос: а как это построено? И кому принадлежит этот самый замок — композитору или архитектору <прекрасной маркизе>?

Приближая музыкальное произведение к читателю, Кирнарская нередко использует формулу «вот как это просто». Классная, универсальная, но не всегда правильно действующая формула. В комментариях к арии Тамино из моцартовской «Волшебной флейты» автор пишет: «Классик всегда умеет “разложить по полочкам” самые сложные вещи, чтобы можно было разглядеть каждый миг происходящего процесса и затем, уже прозрачным и понятным, охватить целое». Это прекрасная мотивация — предложить читателю-слушателю довериться аккуратности классика, разложившего все «сложное» по простым метафизическим (метафорическим?) полочкам. Арию Тамино и другие номера из оперы Моцарта захотелось прослушать или переслушать сразу же по прочтении текста. Но в этом порыве мы прихватываем с собой образ Моцарта, который способен все упростить. Еще один поспешный шаг — и мы во власти легенды о солнечном и улыбчивом Амадее. И уже почти невозможно поверить в другого Амадея: визионера, мыслителя, трагика. Благородное стремление — распахнуть двери классического сочинения. Но спорно возможное следствие: двери так и останутся распахнутыми. «Любовь Тамино так доверчиво открывается слушателю, что кажется, после его арии в самом таинственном из чувств все уже понято, принято и раскрыто», — сказано красиво и, увы, слишком «нараспашку».

Вот еще одно авторское «слишком». Эстетически и психологически понятна традиция объяснять русскую «бессловесную» музыку — симфонии, камерные ансамбли — через ассоциации с литературной классикой. Знакомая читателя с первой частью Шестой симфонии Чайковского («страдание Шестой беспредельно»), Дина Кирнарская подсказывает: «И так же, как Достоевский, композитор будто пытается поклониться этому страданию, испить горькую чашу вместе с героем». Возможно, зная одно, легче

понять другое. Но все же не слишком ли разные личностные и художественные психотипы оказались в этом ассоциативном ряду? Не поверхностна ли аналогия? По убеждению автора, есть здесь глубинная связь. Она рождается из основных концептуальных тем Шестой симфонии: 1) «бесконечная катастрофичность существования, когда за одним несчастьем следует еще большее»; 2) «яд обреченности, ген злосчастья, который врос в плоть и кровь русского человека, сводя на нет его прекрасные порывы»...

Стоит сделать паузу, чтобы дочитать текст Кирнарской до конца, перечитать — и убедиться: слишком это похоже на обобщенный, стереотипный взгляд на русскую культуру со стороны. Концентрация «ядов» и обреченности в этой характеристике настолько завышена, что производит обратный эффект — едва ли не комический, гротесковый. Да, именно такой предстает русская «заунывная» классика в романах Вудхауса о Дживсе и Вустере. Едва попадает герой в запутанную ситуацию или погружается в хоть сколь-нибудь мрачные мысли, как на подмогу английскому юмору выдвигается тяжелая артиллерия нелепых «как будто» — будто в романах Толстого и Достоевского, как в пьесах Чехова.

А в симфонии Чайковского? Неужели все дело в «типично русском» злосчастье? Уникальный, изменчивый, живой, сложный, выстрадавший и счастливый опыт творца — значимее и информативнее типичного.

...Так классику все же взломали или подобрали к ней универсальный ключ? Обе версии верны: и «взлома», и «подбора». Впуская в свой текст игру и интеллектуальную (интертекстуальную, междисциплинарную) вольность, Дина Кирнарская дарует свободу читателю. Он может верить или не верить. Он может не читать книгу от начала до конца, а выбрать непарные пары. Познакомиться, к примеру, со средневековым мотетом «Песня о соколиной охоте» — и сравнить его с виртуозным, «мускулистым» этюдом Ференца Листа «Охота». Или, прочитав об инструментальных концертах эпохи барокко, броситься сразу в полымя концертов Альфреда Шнитке.

Возможно все, если не спешить с подбором ключа ко всем замкам. Некоторые двери не стоит открывать резко, без вежливого стука. Есть и те, ключи от которых пока спрятаны.

Иногда стоит подождать: вдруг сами откроются?..

Алевтина БОЯРИНЦЕВА

СЛОЖНАЯ БОЛЕЗНЬ

Валерия Соболев. *Febris erotica. Любовный недуг в русской литературе*. — СПб.: Academic Studies Press / Библиороссика, 2023.

Философская монография профессора-русиста из Иллинойского университета Валерии Соболев рассматривает довольно редкую для отечественного литературоведения тему — выражение физиологических проявлений страстных чувств в классической художественной традиции. Но эту книгу нельзя отнести к категории популярных сегодня работ о слабостях человеческого организма, нашедших отражение в культуре, творчестве, нормах, таких как исследования чахотки, психических нарушений или приземленной подагры (Каролин Дей, Сьюзен Сонтаг и др.), — перед нами особое произведение. Думаю, все согласятся, что и до Рождества Христова, и ныне чувства любящих примерно одинаковы, вряд ли они подверглись существенной эволюции. Однако неискушенного читателя (если он отважится открыть научный труд) может глубоко поразить, как менялось их восприятие современниками-интеллектуалами. История представления «страстных чувств» в литературе начинается с дьявольского наваждения, с которым нужно бороться затворничеством и постом, и с беспричинной, но опасной хвори с угрожающими жизни последствиями. Доходит до прозаического расстройства нервов, циничной *половой истомы*, охарактеризованной Есениным. И наконец, к нашим дням, предстает в виде благого явления, способного вылиться в счастливый семейный союз.

Очень интересная, спорная по видам работа анализирует восприятие

любовного чувства ни много ни мало в мировой литературе — от античности до XIX века включительно (хотя формально обращена к России позапрошлого столетия). Несмотря на интригующее легкомысленностью название — любовная лихорадка, книгу стоит приобретать только уверенному в себе читателю. На протяжении относительно небольшого по объему исследования автор-универсал погружается в науку, медицину, религию, историю психологии, литературной критики. Все это для того, чтобы всесторонне обрисовать проблему понимания страстного чувства признанными авторами от эпохи эллинистического романа до позитивизма 1840–1860-х гг.

Сравнительно бегло охарактеризовав древние века и средневековый период, Соболев, к нашему удовольствию, концентрируется на трех избранных ею крупных русских романистах — Герцене, Гончарове и Чернышевском, а завершает Львом Толстым. По мнению ученого, древний художественный топос-клише «любовь как болезнь» в русской литературе наиболее ярко заимствован, развит, интерпретирован и наконец разрушен и сведен на нет, изгнан из центра внимания как писателя, так и читателя именно этими классиками. Герцен в «Кто виноват?» рассмотрел канонический прецедент, перенеся его на отечественную почву, но, в сущности, ничего нового к традиционной интерпретации не добавил. Так, благородная замужняя Люба разрывается между «любовью-привычкой» к супругу и страстным взаимным чувством к новому поклоннику Бельтову, эта коллизия в итоге приводит ее на порог чахотки и физического угасания. Гончаров же в «Обыкновенной истории» приземляет и прагматизирует трагическую ситуацию: юный влюбленный Адуев, пройдя через романтические дуи и то же самое расстройство здоровья, в итоге не только выздоравливает, превращается в рационалиста, но полнеет, опошляется и становится противоположной личностью. Чернышевский в «Что делать?» и вовсе мыслит рецептурно (чуть не сказала, антихудожественно), Толстой же разрушает саму основу топоса, заявляя в «Анне Карениной», что

проблемы нет вовсе, она лишь искусственно созданное обществом клише, а в действительности причина физического страдания отверженной Кити заключается в чувстве стыда и внезапном прозрении в отношении «вихря света». Безусловно, топос «любовной болезни» еще мелькнет в творчестве Чехова (в комическом ключе), Бунина (искаженная метафизика символистов в «Митиной любви») и даже Улицкой, но это, по мнению Соболева, некое остаточное явление на руинах классического романа.

Исследовательница неоднократно обозначает, что формальная тема ее работы — «любовный недуг» — лишь способ и повод говорить о вещах более важных и менее условных, причем как для нее самой, так и для известных авторов. Подобный стереотип художественной литературы во многом искусственная конструкция (ведь в XX веке, по мнению исследователя, она почти сошла на нет или видоизменилась). Важно не столько то, как именно и в каких ситуациях страдали герои Чернышевского, Герцена и Толстого, каким образом с их «загадочной хворью» бились лучшие медики того времени и к чему это привело в итоге (гибель, брак, изменение личности). Главное — возможность рассуждать под предлогом актуализации древнего клише о проблемах и «болезнях» социума, гуманистического общества, передовых идей, самого мироустройства. Таким образом, по мысли автора, каждый из классиков, взявшись за сходный изначальный мотив, использует его как палочку-выручалочку, чтобы вступить в спор с современниками, отстоять свои убеждения, предложить собственный путь развития. И пути эти — вечные вопросы Герцена, философско-иронические интерпретации Гончарова, слишком конкретные ответы Чернышевского, грустные насмешки Чехова и, конечно, фундаментальный пересмотр Вселенной под названием «художественная литература», сделанный Львом Толстым.

Вот как сама Соболев обозначает свою достигнутую цель: «...Толстой делает шаг назад, возрождая русское моралистическое отрицание страстной любви, популярное в период до Нового Времени, хотя и делает это гораздо более революционным и ра-

дикальным способом. Таким образом, античный топос замыкает круг в русской литературе и культуре, которая проходит путь от его восторженного принятия и присвоения до отрицания его светского и материалистического значения».

В сущности, центральную философскую проблему этой книги можно свести к исследованию типов взаимоотношений между душой и телом героя — и связи этих типов с культурно-научными представлениями эпохи. Так, в античной литературе преобладало описание «физиологическое» над проявлениями души, как ее понимали в древности. При сентиментализме, напротив, переживания души, чувствительность ее — занимали авторов куда больше, чем тряска жил или закаченные глаза. Позитивизм вновь взял курс на подсчет пульса и чередование горячки и озноба, лишь со временем гармонизировав грубую телесность романтическим указанием на связь с состоянием души. Автор пытается нам показать: как связаны дух, душа и тело, так же связаны наука, искусство, культура, литература, идеология и религия каждой эпохи — это некий организм. Изучение его — комплексная задача. Можно ли понять в полной мере чувства, представления, мечты Чернышевского и его героев, не зная научных и философских достижений его времени, уровня развития медицины, религиозных дебатов и даже идеологических противоречий общества?

Мне, однако, думается, что такой глубокий и всеохватный подход вызывает затруднение именно своей сложностью. Художественный текст уже в каком-то смысле и сам такой продукт синтеза представлений эпохи. Интуитивно и опираясь на наши современные знания, мы как-то же понимаем большую часть творчества наших классиков; необходимо ли кому-то, кроме узкого ученого, такое тщательное знание контекста? Вечный вопрос Булгакова, изменились ли люди за несколько последних столетий так фундаментально, видимо, очень важен для Соболя. Исследуя классику, она спрашивает нас, по-прежнему ли древняя природа определяет желания и судьбу человека? Или уже искусственный мир научного познания

и культурного влияния так пропитал его, что изменил в самых основаниях, даже определяя то, как человек чувствует, что и кого любит, и в итоге — к какому финалу приходит.

Хотя мы ничуть не сомневаемся в глубине познаний Валерии Соболя, однако некоторые ее категоричные суждения о *всем известных вещах* суть пересмотр стереотипов, удивляют — но не в этом ли задача настоящего ученого? Например, в главе, посвященной Льву Толстому, Соболя нетривиально разбирает сцену осмотра болящей Кити консилиумом врачей, указывая, что одна из причин печального состояния юной пациентки — вождление к ней именитого доктора под предлогом осмотра и ее стыд. Конечно, художественное произведение всегда многозначно, но читать о подобном прежде мне не доводилось. И хотя Соболя почти не рассматривает литературу в гендерном ключе, что сегодня столь модно, однако некоторые ее суждения о мужских персонажах вызывают улыбку. Так, в «Обыкновенной истории» Гончарова она характеризует дядюшку как бесчувственного прагматика, полностью подавлявшего морально свою молодую жену и доводившего ее до болезни. Мы же склонны скорее видеть его сердечным по-своему человеком со спокойным темпераментом.

Есть к работе Соболя и еще одна, не литературоведческая, а, как говорят в науке, онтологическая претензия. Казалось бы, исследовательница рассматривает все возможные казусы *febris erotica*. Однополюю склонность («Федр» Платона), невзаимную плотскую тягу (героиня Сапфо), любовный приворот (древнерусская повесть), инцестуальный мотив вкупе со счастливым разрешением (Антиох и юная мачеха), треугольник сентиментальной повести (персонажи Карамзина), консумированную страсть, разрушенную социальным устройством (Толстой), взаимное, но невозможное в силу общественных устоев и представлений о вине и долге чувство (Герцен), романтически-возвышенное идеальное мечтание Татьяны Лариной и т.д. Перед нами все сценарии и препоны для их осуществления — иначе просто не выразишь художественное произведение. Конечно, такой

охват — достоинство книги. Однако сегодня принято разделять любовь на условно «пагубную», связанную с представлениями об удовольствиях (да и любовь ли это?), и «продуктивную», *истинную*, стремящуюся к семье и браку. У Соболя же не всегда можно провести четкое разделение. Порой складывается впечатление, что речь не о некоем высоком, вечном и глубоком чувстве, носителем которого была Татьяна Ларина или даже Анна Каренина, а о куда более, скажем так, приземленном. Какое чувство испытывает племянник из «Обыкновенной истории», довольно быстро сменивший свой объект после невзаимности, или ветреный герой сентиментальной повести Карамзина, легко вовлеченный в новую связь? Читатель смущен, что настолько разные вещи вольно или невольно объединяются автором в его работе и принимаются в сути своей за нечто одно. Не говоря уже о том, что между взаимными чувствами

и безответным боготворением тоже есть существенная разница, — исследователь же описывает это как некую единую болезнь, просто имеющую множество проявлений.

В процессе чтения этой увлекательной, но непростой книги мы невольно впадаем в заблуждение, постепенно теряя грань между литературной искусственной ситуацией и реалиями человеческой природы. Жизнь подлинная и художественный текст нередко идут очень близко, а порой соединяются, как мы знаем это на примере творчества Чернышевского и его воздействия на социум. Поэтому попытка отнестись к труду автора исключительно как к рассмотрению механизмов старинной культурной модели с заданными ролями (юные возлюбленные, недалекая мамушка / нянюшка, проницательный врач-прагматик, стоящий на страже социум) — была бы слишком простым выходом.

Анна АЛИКЕВИЧ

ЛЕЧЕНИЕ ПРОШЛЫМ

Георги Господинов. Времеубежище.
/ Пер. с болг. Наталии Нанкиновой.
С.Пб.: Polyandria NoAge, 2023.

С прозой болгарского писателя Георги Господинова российский читатель мог познакомиться в журнале «Иностранная литература», где в 2010 году вышла его дебютная книга «Естественный роман». В самой Болгарии этот роман выдержал несколько переизданий, также он был переведен на ряд языков, и его называли важнейшей болгарской книгой 1990-х. Еще большее признание Господинов получил в 2023 году, когда перевод его третьего романа «Времеубежище» на английский получил престижную Международную Букеровскую премию. В последние годы небольшие издательства в России начали обращать внимание на важные зарубежные имена. Так что «Времеубежище» вышло даже не в «Эксмо» после объявления лауреата, а в Polyandria NoAge до официального пресс-релиза премии. Тема у этой книги очень большая — ни много ни мало историческое самосознание Европы. Правда, масштаб создается не эпическим размахом событий, а просто самым чувствительным прикосновением к этой исторической памяти. В какое прошлое мы хотели бы вернуться, если бы могли выбирать? Именно об этом и пишет Георги Господинов.

Рассказчиком в романе, по-видимому, выступает сам автор, во всяком случае, он упоминает своего отца по фамилии Господинов. История закручивается вокруг личности некоего Гаустина, чье имя составлено из имен Гарибальди и Августина. Его отец был без ума от Гарибальди, а мать почитала Августина, так что они не могли толком договориться о том, как назвать ребенка. Гаустин очень загадочная фигура, и до конца непонятно, существовал ли он в реальности или это только персонаж, выдуманный автором. Этого не знает даже

сам Господинов, однако называет его так: «Незримый друг, более реальный и видимый, чем я сам». На страницах романа Гаустин предстает независимым человеком, ведущим самостоятельную жизнь. Рассказчик встретил его, еще будучи студентом, на одной литературной встрече. Тогда Гаустин показался ему каким-то «непринадлежащим», то есть лишенным связи со временем.

Вскоре рассказчик потеряет с ним контакт, а потом обретет снова, когда Гаустин предложит идею новой терапии больных деменцией. Ее суть состоит в лечении прошлым. Нужно создать для пациента атмосферу ушедшего времени, то есть фактически воссоздать его воспоминания, окружив предметами соответствующей исторической эпохи. Тогда человек сможет многое рассказать, и даже если не вылечится, то хотя бы умрет счастливым. Проблема эта вообще очень актуальная. Только зарегистрированных случаев болезни Альцгеймера пятьдесят миллионов, но население стремительно стареет, поэтому это число растет.

В Швейцарии нашелся человек, который захотел вложить деньги в предприятие Гаустина. Вообще в Швейцарии много людей, которые хотят умереть счастливыми. А для автора-рассказчика эта страна даже представляет собой страну без времени, так что ее можно заполнить любой эпохой — идеальное место для проекта Гаустина. Первая клиника имеет чрезвычайный успех, за ней появляются новые, в том числе и в Болгарии. Предприимчивые конкуренты тоже создают нечто подобное. Гаустин превращается в легенду. Многие клиники хотят заполучить его в консультанты, однако тот всем вежливо, но категорично отказывает. Учитывая, что теперь не только больные, но и их сопровождающие желали вернуться в прошлое, Гаустин начал расширять свое поле деятельности, но интересуют его, похоже, вовсе не деньги, а сама возможность проникнуть в часовую механизм времени. А рассказчик в романе по-прежнему не понимает, реален ли Гаустин. Рассказчик, как и сам Господинов, писатель. Как раз когда он начал писать роман о чудовищах прошлого и опасности их воскрешения, он и узнал о клинике Гаустина. Говорит он об этом так: «Работа в клинике и написание романа напоминали сообщающиеся со-

суды». Придуманный или нет, Гаустин играл важнейшую роль в его жизни.

Клиника Гаустина представляет собой многоэтажное здание, каждый этаж которого отведен отдельному десятилетию. Есть этаж 1960-х, этаж 1970-х и так далее. Пожилой пациент может вернуться в любое время. Это и есть первый опыт создания времеебжища. Оно представляет собой способ вернуть счастье, вернее, воспоминание о счастье людям, потерявшим память. Гаустин предвидит спрос на услуги по возврату в прошлое. Поэтому он уже рисует в воображении сначала клиники, потом поселения, а затем и целые государства, живущие в прошлом. Он убежден: прошлое можно повторить. Но для него это вовсе не шоу, а нечто более важное и серьезное. И мечты его в общем-то сбываются. Государства Европы выносят на референдумы вопрос о том, в какое десятилетие народы хотели бы вернуться. Разные страны голосуют по-разному, но проект в целом признается успешным. Европа уходит в такое прошлое, которое кажется ей счастливым. В обиход возвращаются прежние предметы, вспоминаются традиции, поются старые песни.

Вся эта история с прошлым касается нашего рассказчика непосредственно. Когда еще создавалась первая клиника, он помогал Гаустину. Прошлое — это не только декорации, это еще истории. Поэтому Гаустин поручил рассказчику собирать информацию о быте, звуках и запахах для точного воссоздания эпохи. Рассказчик изучает общественные места и улицы, считая, что прошлое прячется в послеполуденном времени, потому что только в эти часы солнечный свет ложится особым образом. Самому ему нравятся шестидесятые, хотя он родился в их конце и поэтому не мог помнить. Тут дело в том, что в Болгарии, по его мнению, шестидесятые запоздали на десять лет. Впрочем, он может увлечься любым периодом. Поначалу неясно, праздный ли это интерес, но далее будет понятно, что рассказчику тоже важно определиться со своим отношением к истории.

Как мы уже говорили, первая клиника Гаустина была успешна. Мы познакомимся с некоторыми ее пациентами, чьи истории запустят философскую рефлексию о теме прошлого как таковой. Вот жил раньше в Болгарии некий господин Н. Тогда, при социа-

лизме, он позволял себе неосторожные высказывания. Когда все вокруг говорили о коммунизме, который скоро будет построен, он усмехался. Сама мысль о светлом будущем вызывала у него изжогу. Описывая все это, Господин цитирует Синявского, который утверждал, что его расхождения с советской властью не политического, а стилистического свойства. Разумеется, за такими неблагонадежными элементами, как господин Н, следила тайная полиция. И вот мы здесь же в клинике видим агента А, который в те ушедшие годы не спускал глаз с господина Н. Но речь вовсе не о моральной стороне истории. Речь о роли памяти. Если сейчас пожилой господин Н ничего не помнит, то агент А ни в чем не виноват. Нет памяти — нет преступления. Более того, если никто ничего не помнит, то и бога нет. Впрочем, ключевой идеей Гаустина является допущение, что память можно вернуть, если окружить человека предметами ушедшей эпохи. Дух 1937 года может реально воплотиться в пачке сигарет «Томасян». Бомбардировка Герники и гибель дирижабля «Гинденбург» — такое оседает на табачных листьях.

Когда вопрос о возврате в прошлое поднимают на референдуме в Болгарии, борются за его выбор две силы. Первая идеализирует эпоху 19-го века, когда болгары переживали подъем национального самосознания и боролись за независимость от Османской империи, а вторые ратуют за возрождение эпохи социализма. Обе силы хотят вернуть каждая свое прошлое и проводят митинги. Рассказчик посещает оба мероприятия, и так читатель может лучше понять его отношение прошлому. Если идеалы 19-го века в общем-то очевидны и непротиворечивы, то с эпохой социализма все не так однозначно. Рассказчик в одном месте выражается довольно прямолинейно: если бы агенты полиции написали роман с точными наблюдениями о том, что происходило в Болгарии при социализме, то роман получился бы таким же отвратительным, как и сам этот исторический период. Прежде чем слепо выбирать этот период для возврата в прошлое, он предлагает вспомнить 16 апреля 1925-го, когда в Храме Святой Недели в Софии террористы взорвали бомбу. Тогда это привело к гибели ста пятидесяти человек. Теракт был совершен представителями радикального

крыла партии социалистов. Так нужно ли возвращаться в такие 1920-е? А десятилетия спустя, когда социализм победил, молодые люди не понимали, почему их избивают за слишком узкие брюки и желтые плащи.

Но надо отдать рассказчику должное — есть у него какое-то уважение к этой эпохе как к чему-то, что составляло жизнь целых поколений. Поэтому он вовсе не радикален в своих суждениях. Вот на митинге социалистов он встречает дедушку, который говорит: «Социализм — это мое. Наверное, всякое бывало, но я знаю его подноготную. Он меня обманет, я его обману — так и договоримся, а новое время смотрит тебе в глаза и лезет в карман». Так что капитализм на страницах «Времеубежища» вовсе не является безальтернативным. Но самое главное даже не отношение к политике. Герой пришел на этот митинг, потому что хотел простого единения со своим народом, и не на идеологическом, а на обычном бытовом уровне. Он хотел быть, как все, то есть почитать народных героев, любить народные песни и одновременно материться и ругать жену за то, что та куда-то опять дела солонку. И в конце концов он делится своим впечатлением от увиденных толп людей: «Эту картину я видел сотни раз и всегда прятал в дальних уголках сознания, но сейчас она предстала передо мной, словно призрак, но призрак из тех, которые из плоти и крови и не исчезают, если до них дотронуться. А если они настоящие, то тогда призрак — ты сам». Иными словами, история для него была реальной, чем собственный жизненный путь.

Болгария была страной соцлагеря, но, как известно, не входила в Советский Союз. Читая «Времеубежище», тем не менее удивляешься, как велико было влияние России в этой стране. Здание органов госбезопасности находится по адресу Московская, дом 5. В одном месте рассказчик цитирует слова Тараса Бульбы «я тебя породил, я тебя и убью». В другом эпизоде он рассказывает, как в студенческие годы подарил однокурснице попугая, причем самку называли Эммой в честь Эммы Бовари, а самца Печориным. Во время референдума о выборе прошлого сайт движения за социализм создается наполовину на русском языке. Женщины на митинге делают прически, подражая

Валентине Терешковой. Более того, про сам митинг и его организацию читаем следующее: «Деньги, разумеется, это было тайной, известной всем, шли из России, которая постепенно превращалась в Советский Союз, возвращая себе посредством референдумов утраченные территории». Так Господинов намекает уже на историю России XXI века. Впрочем, любая нация хочет создать свою великую цивилизацию. В офисе у одноклассника рассказчика, который теперь устраивает массовые исторические реконструкции, висит карта Великой Болгарии, о которой читаем такие слова: «Почти вся Европа на карте была болгарской плюс еще два куса, отрезанные, словно бастурма, от Азии». Увидев это, рассказчик признается, что не помнит, когда Болгария существовала в таких границах.

По-видимому, человек биологически устроен так, что хочет вернуться в прожитую жизнь. Встречаясь с пациентами клиники Гаустина, рассказчик задается вопросом о том, зачем вообще нужно прошлое. Если начинаешь жить по-новому, лучше прошлое вообще отсечь и отдать на съедение собакам, ведь оно может заболеть, как недужный орган, и доставить массу проблем. Он недоумевает: «Откуда эти навязчивые воспоминания о прошлом? Почему они постоянно тянут назад, как тянет вниз нутро колодца? Почему в памяти всплывают лица людей, которых, я точно знаю, уже нет? Что там осталось, что я не успел взять? Что ждет меня в пещере прошлого? Могу ли я вымолить себе возможность вернуться один-единственный раз, не обладая даром Орфея, а только испытывая желание? И не убью ли, оглянувшись, тех, кого выведу оттуда?» Он вспоминает Одиссея, который отказался от предложения нимфы Калипсо остаться с ней навсегда и обрести бессмертие. Любовь к дому для него была сильнее. Учитывая, что дом он давно оставил, это фактически снова была любовь к прошлому. Его не испугала старость и перспектива смерти. Рассказчик между тем горько пишет о наших современниках, вступивших в закат жизни. Ведь как они себя ведут, когда чувствуют приближение конца? Начинают пить горстями витамины, садятся на злаковую диету, пытаются освоить дыхательную гимнастику и, конечно, устремляют взор на духовный мир, по-

читывая Кастанеду или Блаватскую. А потом все равно приходят к мысли, что их единственная реальность — это собственное тело дряхлого осла.

Конечно, Господинов и его рассказчик в романе предельно серьезны. Возврат в прошлое — это не праздная забава, а насущная потребность. И вот тут мы подходим к главному, хотя и скрытому посланию «Времеубежища». И Болгария, и вся Европа хотят вернуться в прошлое, потому что у них попросту нет будущего. Получается, что современная европейская реальность так превозносимых свободы и капитализма представляет собой тупик. Тот же одноклассник рассказчика, который устраивает исторические реконструкции, в свое время предложил социальный проект. В новейшей истории Болгарии много семей, где отец или мать уезжают надолго за границу на заработки. Некоторое время они исправно присылают домой деньги, но потом могут пропасть, особенно если найдут новую семью. Иногда получается так, что дети годами видят родителей только по скайпу. Поэтому одноклассник рассказчика предложил создать не то сервис, не то агентство по найму членов семьи на время, причем сексуальные отношения принципиально исключались. Смысл в том, чтобы можно было просто посидеть вместе, сварить куриный суп, выпить кофе на балконе, как положено в нормальной семье. Но проект провалился, люди просто не поняли. Вот в чем в том числе тупик Европы. Или вот еще рассказчик мимоходом роняет слова: я не прочел ничего исключительного за последние несколько лет, поэтому не нужно жалеть, что возврат в прошлое лишит нас хорошей литературы из будущего. То есть великой литературы в современной Европе тоже нет.

Точное отношение рассказчика к проекту возврата в прошлое понять непросто. Вроде бы он не против, но, с другой стороны, он осознает тающуюся здесь двусмысленность. Гаустин хочет обратить время вспять и приручить его, но в этом устремлении напоминает революционера-романтика. Какие в Болгарии были революционеры, мы уже видели в 1925 году. Поэтому не будет преувеличением сказать, что Гаустин попросту страдает от навязчивых идей. Рассказчик прямо называет его чудовищем.

То, что в Болгарии выбрали социализм, говорит о короткой памяти народа. И здесь у Господинова тоже двусмысленность. По его словам, чтобы строить коммунизм, слишком о многом нужно забыть, обо всех ужасах и жертвах. Требуется немалый труд, чтобы забыть это. Но итоги референдума показывают, что народ уже как будто ничего не помнит за тридцать лет капиталистической свободы. Теперь все будет снова таким, как было. При новом социализме будет дефицит дамских прокладок и отсутствие туалетной бумаги. Будет забор по всей границе, исчезнут Икея и западные автомобили. Вернется тотальная слежка за гражданами. Но очень спокойно Господинов пишет: большинство быстро адаптируется, а меньшинством займется полиция.

С другой стороны, в романе много эпизодов, показывающих то, насколько болгары ненавидели социализм. Когда дети на площадке играли в «страны», все выбирали Италию, Францию, США и ФРГ, никто не выбирал Советский Союз или Болгарию. Или вот пассаж о странах соцлагеря: «Каждому хотелось прильнуть к (западной) любовнице, о которой он всегда мечтал, пока обрелся в общей социалистической спальне». Да и сам герой Господинова, хоть и жаждет единения с народом, в действительности является европейским космополитом. Про Софию он говорит так: этот город и его прошлое должны быть моими, но я не нахожу с ними общего языка. Болгария для него — это часть общего европейского дома. В мечтах он видит это так: «...Европа небольших уютных площадей. Чтобы рассветы были австро-венгерскими, а ночи — итальянскими. А грусть и тоска по ним — болгарскими...» Как это сочетается с выбором социализма и перспективой жить в стране, огороженной забором по западной границе?

В общем, во «Времеубежище» позиция автора выражена неточно. Но читателю будет нетрудно прочувствовать одно из главных наблюдений романа, которое заключается в том, что современная Европа глубоко несчастна. Иначе как объяснить, что целые страны инфантильно выбирают возврат в те годы, когда даже не экономика была сильнее, а просто звучали любимые песни?

Сергей СИРОТИН

ВОЛШЕБНЫЙ ФОНАРЬ

Homo pelevins

**Ампиr V, фильм, Россия,
реж. Виктор Гинзбург, 2011–2023**

Пришлось указать целый промежуток между началом производства и выпуском в прокат, официально так и не состоявшимся. И пришлось брать командировку и ехать в Казахстан (с Ташкентом как-то не получилось), чтобы посмотреть официально разрешенный фильм, а не пиратскую копию. Ехал я на поезде и в дороге, естественно, читал одолженную у коллеги книгу Виктора Пелевина «Empire V», бумажную, изданную в 2006 году, а заодно и перечитывал (на планшете) его же «Generation П» (1999) и смотрел одноименный фильм (который как-то ухитрился допреж не посмотреть).

Книгу (я про «Generation», of course) я не только читал, но даже имел в те давние времена, когда никаких других, кроме бумажных, книг в российском обиходе не было, и это была крайняя книга Пелевина, которая мне реально понравилась. Теперь крайняя — «Empire V», и не знаю, захочу ли я рисковать и продолжать далее, тем паче что в нынешнем электронном мире, сотворенном, полагаю, Вавиленом Татарским со товарищи, это вполне доступно. А книг наш борзый писец с тоя поры натворил до хрена: одних только романов аж 13!

Вот ежели бы я так писал и печатался, жил бы в Сочи...

Но не будем о грустном!

В конечно счете получилась у меня крошка пополам с солянкой: я прочитал четверть «Ампира» и половину «Генерации» туда, посмотрел фильм там и дочитал вторую половину «Генерации» на обратном пути. Не лишне будет уточнить, что в Казахстане фильм шел исключительно на родном казахском языке с русскими субтитрами, что было как-то экзотично,

но не особо понятно и интересно. Так что большую часть фильма я проспал и потом вообще не мог вспомнить, смотрел я его или нет, зато в фойе можно было приобрести абсолютно легальный диск с фильмом (и как оказалось, даже с тремя, то есть и «Генерация» тоже, и даже, о боже, фильм Гинзбурга «Нескучный сад» (The Restless Garden, 1993) — и все исключительно на двух языках, русском и английском). Так что по настоящему я оба пелевинских фильма посмотрел уже дома.

И вот что значит диван и телевизор вместо кинозала! Я посмотрел примерно треть «Ампира» (до субботника с халдеями) и как-то непроизвольно нажал на тормоза. То есть просто стало неинтересно смотреть дальше, и я решил вернуться к роману. Причем оказалось, что я начисто забыл все прочитанное в вагоне туда и тем более обратно, так что начал читать с начала.

И на этом этапе роман выиграл у фильма!

Потому что на этом этапе идет обучение начинающего вампира Рамы Второго (так обозвали вампиры главного героя по имени Рома), которое сводится к довольно утомительному словоблудию по поводу гламура и дискурса. Обучают новичка два матерых вампира, которых Пелевин сравнивает с бодрыми отставниками ГРУ (видимо, дань тогдашней моде), в фильме же они больше походят на работников какого-нибудь элитного центра по обслуживанию элитных, естественно, иномарок, — то есть как бы и рабочий класс, но из самой верхушки рабочего класса. Однако складывается твердое убеждение, что они и сами толком не понимают, зачем вампирам дискурс и гламур, и просто вешают новичку лапшу на уши, как это издревле принято в любом рабочем коллективе (помню по собственному опыту).

А вот читаешь о том же самом в книге, и как-то нормально это воспринимается — потому что другая система восприятия. Привыкли мы понимать и любить «книгу, источник знаний», как завещал великий Горький, а вот от кино ждем чего-то другого, тоже умного, но все более завлекательного, что ли... А смотреть, как один, второй, третий... двадцать

третий взрослый мужик вместо того, чтобы показать на практике, как следует сосать из граждан кровь, вдалбливает юнцу абстрактные истины про дискурс и гламур... Ну не хочется на это смотреть, право слово!

К счастью, чтение мне тоже наскучило, и на 97-й странице, как сейчас помню, я уснул, а проснувшись, начал смотреть кино дальше. И не пожалел. Потому что дальше произошли две вещи одновременно.

Во-первых, как-то неожиданно бодро заиграл главного героя Павел Олегович Табаков (да, конечно, сын), который поначалу казался мне просто никаким. Но задним числом я его оправдал и решил, что он и должен был поначалу выглядеть туповатым и полусонным — ведь не каждый день вас ни с того ни сего обращают в вампира! А вот к моменту встречи с халдеями герой вроде начал входить во вкус и, когда пришлось устроить одному халдею «экстренное потрошение», справился не хуже Таманцева.

Во-вторых, после халдейского капустника словоблудие в фильме (но не в книге, увы) заметно сократилось, и начались, как и положено в кино, *собития*. Например, шикарная встреча с Иштар Борисовной, она же Великая Мышь, в исполнении Алентовой — точнее, головы Алентовой, потому что от всей Мыши мы увидели бесконечно длинную шею, украшенную головой Алентовой.

Признаюсь, что в этом месте я должен был снова обратиться к «источнику знаний», потому что никакой Мыши не разглядел и принял Иштар Борисовну за очень большую кобру.

А потом была еще стихотворная дуэль между Рамой и Митрой, который (Митра) нагло соблазнял начинающую вампиришу Геру, в которую, естественно, влюбился Рама. Дуэль эта кончилась весьма неожиданно для всех участников и уж тем более для зрителей, которые романа не читали. Не буду говорить, чем дело кончилось, — кто смотрел, тот знает, а кто захочет смотреть, сам узнает и не будет разочарован.

Пока же вернемся к сравнительному анализу трудов Пелевина и Гинзбурга.

Как гласит Википедия, «Фильм “Generation П” — первая большая работа автора — был воспринят публикой и критиками очень остро. Одни утверждали, что в нём нет и тени Пелевина, другие уверены, что он — точный подстрочник романа. При этом, работая над сценарием, Гинзбург изменил по-своему многие части, впрочем, очень аккуратно, боясь нарушить атмосферу самого произведения...» Точно так же разделились мнения критиков и по поводу «Ампира».

Я же полагаю, что Гинзбург показал всем (причем дважды), что такое *идеальная* экранизация литературного произведения. Причем *большого* произведения, романа, а не короткого рассказа или небольшой повести. Он ухитрился сократить все то словоблудие, о котором я говорил выше, до необходимого минимума и при этом сохранил буквально точно все значимые эпизоды и все острые, интересные реплики героев. То есть я считаю, что любой зритель, не пожелавший стать читателем, получит совершенно полноценное представление о двух не прочитанных им романах Пелевина. Мои же обращения к первоисточникам были вызваны необходимостью писать «Фонарь» и сравнивать кино с книгами, а иначе и я бы спокойно без этого обошелся.

Правда, в «Генерации» и «Ампире» есть два эпизода, которых нет в романах. Это создание из водителя Коли Смирнова в исполнении Андрея Панина образа будущего президента («Генерация») и явление Вавилена Татарского в образе гражданского мужа Иштар Борисовны на капустнике халдеев. Но они оба, по-моему, прекрасно вписываются в тему.

В заключение скажу, что «Ампир», в конечном счете, позабавил меня — как хороший фильм ужасов, в котором нет ужасов, а вот после «Генерации» почему-то резко испортилось настроение. Как-то уже подзабылись те дикие 90-е, и нет желания их вспоминать, и очень точный в деталях, хотя и совершенно фантастический притом фильм Гинзбурга разбередил былое, которому хотелось сказать «нет!» навсегда.

Валерий ИСХАКОВ

Андрей Першин Оправдание тени

Луна пробивается сквозь облака,
цветы со своей тенью резвятся...

Чжан Сянь, XI в.

Доводилось ли вам разгадывать игрушку — химеру вещи? Не понять, за какой её хватать бок, с любого места она начинается. Но, повертев её, охладеваешь, — это вроде как чашка без дна, у неё нет оборотной стороны, и для питья она непригодна. Я, конечно, очень обобщаю, когда говорю — нет, подлинные вещи не таковы, у вещей есть иная сторона, тень, они бывают непроницаемы и ранимы, и в качестве настоящего момента, в качестве сейчас, могут драматически напоминать человека, как чёрное зеркало. «Вещи жгут и в своём огне распадаются, погасая в пепел», — писал Алексей Ремизов. Бывает и так, что огонь истлевает сам. Моргает лампа, опадает свеча, рассыпается лучина. Такой огонь становится похожим на вещи. А ещё огонь будто зовёт обратно, — стоит, кажется, вещам зажмуриться, они видят вечность, от которой ушли не так далеко. Возможно, что-то подобное имел в виду Юрий Казарин, когда говорил (а поэт, разумеется, говорит) о цветущей ветке:

Но ветвь, протянутая мне
из темноты, где умирала
она в цветах и в белизне, —
одна без пламени пылала:
себя несла и подавала
своей неведомой родне —
огню в огне.

О внутреннем жаре или глубине (innig) вещей упоминает в «Дуинских элегиях» Рильке, а Чоран самое рождение поэзии приписывает «скрытой агонии» слов родного языка... Одно из чудес поэзии — в её отношении к общим местам. Если проза, скажем, требует известного постоянства и предсказуемости для того, чтобы её целостность была очевидна и куда-то вела, то стихотворение может быть всей литературой в миниатюре, её микрокосмом. Свободно определяя понятия или же определяясь между ними, поэтическая речь способна понятия оживить. Вот и отношение к тени в стихах чрезвычайно раскрепощённое. Если, например, художественная сила «Тени» Евгения Шварца происходит из нашего ожидания, Тень — противоположность героя, одновременно бесконечно далёкая и близкая, то в рамках стихотворения подобная предсказуемая установка выглядела бы слишком тяжеловесно. Оказывается, тень может быть чем и кем угодно, неизменно лишь её тесное сообщение со светом, что бы это ни значило. Она приходит и уходит безо всякого веления этики или морали, и разрешает конфликты она ничуть не хуже, чем могла бы их создавать. У Юрия Казарина, кстати, есть и такое интересное стихотворение:

Всё, что уходит во тьму,
превращается в слово.
Кружится голова.
Приближается шорох созвездий.
И снова исчезают слова.

Словно ты умер. На месте утраченном этом,
непроходимое, дрогнет растение твоей пустоты
непроницаемым светом
глухонемой красоты.

Да, тень может быть иным берегом, когда спасительно различие, но и мостом она может быть. Кроме того, тень неизбежно скрывает что-то, в ней пребывающее, но точно так же скрывает она и отсутствие того, что лишь могло бы в ней находиться. Само по себе это простое открытие способно многому научить, даже не становясь метафорой. Действительно, «глухонемой красотой» обладает не тень, но слово. Бескрайний физический космос тоже в тени, но прозрачен для света, для слов и для смысла. Во всяком случае, человек менее проворен, чем тень и свет, оттого приносит она вести из мест, где нас ещё нет, а возможно, никогда и не будет.

Какой ни поднимешь камень —
оголишь
тех, кто нуждается в его защите:
нагие,
они снова бросаются в хитросплетения.

Какое ни срубишь дерево —
мастеришь из него
ложе, на котором
снова собираются души,
как будто не сотрясён был
и этот
эон.

Какое ни скажешь слово —
ты обязан за него
погибели.

(Пауль Целан. Перевод Алёши Прокопьева)

Утекающий свет раздвигает анфилады. Капля тени падает в переполненную бочку, разрывая предмет на этажи и пролёты. Тень может будить воображение и симпатию не потому, что мы слишком хорошо её знаем, но потому, что позволяет нам не знать, позволяет видеть, словно впервые, и смотреть на то, как видишь. Неужели услышанное слово — тоже тень? Есть такая тьма, которой не вижу, как не вижу обратную сторону Луны. Протягивая в неё руку, я надеюсь кого-то коснуться.

таня с ваней шли по дну
вечером с учебы
он любил ее одну
лишь ее еще бы
таня с ваней шли по ул
не прочесть названья
ваня глупо утонул
утопилась таня

не горели фонари
не дрожали лужи
он светился изнутри
а она снаружи

(Вячеслав Попов. По дну)

Мне кажется, что романтик — это совсем не тот, кто безоговорочно доверяет возникшему чувству (таких людей до поры называют как раз бесчувственными), но тот, кто ставит себя на одну доску с чувством. Не присваивает его, но молчит, говорит и живёт с ним на равных, вот как у Вячеслава Попова. Удивительно, что именно тень позволяет здесь это рассмотреть, безмерные её чаши уравновешены. Люди утонули в тени и светятся, внутренний свет равен внешнему, вместе они несокрушимы. Индусы верили, что в пучине океана скрывается истинный огонь. Алексей Ремизов, о котором я уже вспоминал выше, годами искал и находил сокровенное в глубинах ночи: «[Это дыхание] не приходит к нам извне, оно в наших мыслях: это сновидение темнейшей глубины, это плавучая речь, из которой рождаются раздумья, раздумья, завершающиеся самоосознанием». Тень настолько прочно ассоциируется с глубиной, что и самая лёгкая догадка о тени, например, о несовершенстве, уязвимости поверхности, способна обернуться интуицией потусторонней глубины. Применительно к одушевлённому это может парадоксально означать свет.

у этого человека на лице нет морщин
одни только трещины
при этом человеку все мы молчим
при нем все трепещем мы
говорить при нем не то чтобы грех
но как-то не смеется
он трещинами робко смотрит на всех
сквозь трещины светится

(Вячеслав Попов. Трещины)

Светящееся бессмертие — древний и прочный образ в глазах мечтателя, мистика или сновидца. Союз мглистой глубины со временем — точный и послушный инструмент поэта и художника. Так, например, детство оказывается в естественных пределах досягаемости, если достаточно оттенено. «Пламень слова. Таким было детство моё. // Алый месяц ищу в тайных гнёздах лесных». Ищет светящийся месяц поэт Ален Боске, который закономерно считал, что заново рождается именно в «глубинах слов». «Для самого себя будь сном // О красных колосьях и дыме... // И ты никогда не состаришься», — в том же духе рассуждает Жан Руссело (1913—2004). Ещё больше вверить тени готова Кларибель Алегриа (1924—2018). Порыв, которым она делится в своей первой книге «Кольцо молчания» (1943), обескураживает:

Моя тень неизменно печальна
и не знает улыбки.
Когда бегаю по лугам,
наблюдает за мной серьёзно.

Это она, та, что ищет суть мироздания
и её превращает в песню.
Это она, что страдает и просит прощенья.

В тишине за мной следует её голос,
и я иногда убегаяю.
Не хочу её слушать.

Тень, моя грустная тень,
ты прости мою радость.

(Кларибель Алегриа. Моя тень. Перевод Жанны Тевлиной)

Тенью оказывается и сама (взрослая) жизнь, и даже поэтический дар в сравнении с чистой радостью. А значит, тень всё-таки помогает эту радость обнаружить. Юная Кларибель Алегриа нашла оригинальное прочтение известной формулы Рембо: «Я — это другой». И тень здесь материал не случайный, её невероятная пластика имеет большую поэтическую историю. Не случайно и «одинокий человек» Толкина оживает при встрече с «Невестой-тенью». В восьмом веке Ли Бо зазывал свою тень и Луну на весёлую пирушку, а потом так же запросто расстался с ними «до встречи — той, что между звёзд, // У Млечного пути». В «новом полдне сбывшихся прозрений» расстаётся с тенью и Антонио Мачадо. Не теряя художественной достоверности, тень для поэтов не только обретает любое значение, но и легко меняет его по ходу дела. Отчего это так? Мне нравится универсальный ответ Ива Бонфуа: «...ведь поэзия больше всех желает покончить с различными формами обмана, для чего и поднимает внутри каждой словарной единицы то восстание мысли против устоявшихся видов дискурса, которое можно назвать речью». В каждой точке рождается речь и поэзия, тонет, ветвится, уходит ввысь, слушает в пустоте собственный голос.

Всё, что воздух услышал от птицы,
он расскажет тебе и траве
перед тем, как опять раствориться
в невозможной своей синеве.

Здравствуй, воздух. Я небу послушный,
но тяжелый, чтоб было трудней
отделять от лазури воздушной
шум неведомой речи твоей.

(Юрий Казарин)

Есть, вероятно, особенное творчество в прощении, в принятии сторон жизни, которые отвергал. Но раз уже и поэт может стать тенью поэзии, впопору задуматься о том, чтобы вовсе пренебречь различием, избавиться от тьмы и тяжести. Может ли тень иметь положительный смысл в таких обстоятельствах? Скажем, быть лёгкой и чистой, просторной и доброй? Есть вещи, которые повсюду назовут чистыми, но миг их краток. Чистая свежая скатерть, новая салфетка, протёртое стекло лампы. Другая чистота — и не чистота вовсе, а тот поступок, которого она ждёт и вольна ждать, сколько случится. В ярком свете кружатся неосязаемые пылинки, признать, увидеть иногда это тоже поступок.

«Утверждение пылинок»

тело монастыря
когда я его увидел, он был пуст, тих,
и не было никакого раздражения
время имело форму, но достигало бестелесности
старушка монахиня сидела на веранде и дремала
её тень — это её дом

рядом с монастырём, внутри, шли вместе,
свободно старушка монахиня и её сон
и, конечно, не имели никакого раздражения,
послеобеденные лучи солнца косились на неё

в луче света плясали пылинки
ворота стояли нараспашку, открытые к горам,
водам, людям
сколько людей смогут понять,
что тень человека есть его собственный храм

(Пань Мяобинь. Утверждение пылинок. Перевод Д. Р. Валеевой)

...Доводилось ли вам разгадывать игрушку — химеру вещи? Она находит жизнь ребёнка и стережёт её или ждёт годами, сотнями лет. Ведь время — это уже форма пренебрежения обстоятельствами. С известного отдаления все наши вещи — игрушки, а жизнь — игра. Лишь слегка не замкнутый круг, тень между ночью и днём, перевод между словом и молчанием. Марк Гринберг (1953–2023) оставил нам такой перевод из Ива Бонфуа (1923–2016).

На камне, покрытом
Пятнами мха, зыблется
Тень. Как будто
Танцуют нимфы.

И стоит скользнуть
Лучу солнца, их косы
Вспыхивают: золото
В тёмном сосуде.

Жизнь приходит к концу,
Жизнь не исчезает.
Так играет ребёнок
Среди бесчисленных грёз.

Вот отключат интернет — тогда заживём

Как шутил Александр Васильевич Суворов, в ином маленьком худе есть много добра. Там, где опасность, грядёт и спасение. Какие окна Овертона могут открыться для нас, когда закроются Windows?

Кстати, Window — буквально «глаз ветра», тот самый глаз, который открывали вилами старику Вию, чтоб winter is coming out побыстрее. В принципе, так же по-русски, «окно» — от «око». Всевидящее.

Возможно, прообразом его было северное сияние. Как рассказывал Кирилл Косыгин-Коянто, под северное сияние нельзя выходить, не покрывшись, иначе люди верхнего мира будут играть твоей головой в футбол. Что, собственно, и происходит.

Цифровая утопия стала очередным «это было навсегда, пока не кончилось». Кажется, что она берётся из воздуха. На самом деле это очень тяжёлая технология. Каждый из нас за год оставляет за собой терабайт следов, на Ютуб каждую минуту закачивается 500 часов видео. Чтоб всё это хранить и защищать, строятся банки данных и электростанции для банков данных. Вместе они могут отапливать небольшой город. К 2050 эти банки будут нагревать атмосферу, как все автомобили мира. Как любая тяжёлая технология, она начнёт рушиться под собственной тяжестью.

Исчезновение информации, исчезновение сайтов — то, что давно замечают пристальные филологи, — первые ласточки. В перспективе сеть исчезнет целиком. Как книга Маседони Фернандеса в конце «Ста лет одиночества».

Публикация осуществляется в рамках проекта «Мастерские» Ассоциации союзов писателей и издателей России (АСПИР).

Эта технология совершает двойной удар: в голову и по печени. Люди подсаживаются на быстрый дофамин. В случае отключения интернета — 0,5 миллиарда людей просто умрут и потеряются.

Некоторые думают, что не так уж плохо, что нейросети всё захватят, раз уж они умнее нас. Как шутят в кругу письменных людей, когда писателей заменят нейросети, литература станет только лучше. Эта иллюзия от недооценки герменевтики читателя. Литературой занимаются в основном интеллектуалы-меланхолики, которые легко находят общий язык с машиной. Срединная литература достаточно алгоритмична, поэтому позволяет себя моделировать. Литература в общем похожа на нейросеть. Нейросети (НС) постоянно обучаются, и мы постоянно обучаем их. Если нейросети не смогут самоизолироваться от нас, они будут глупеть наперегонки с нами. Наша общая глупость однажды окажется решающим фактором, чтобы сеть была наконец где-то порвана.

К чему это я?

Недавно увлёкся лекциями Вадима Михайлина. Он говорит, что компьютерные игры, кино и книги, в принципе, заточены на одно — транслировать людям формы социального поведения, — «обучать». Игры это делают быстрее, чем кино, а кино быстрее, чем книги. Уже выросло поколение, которому скучно смотреть кино. Не Тарковского и Белу Тарра, а кино вообще. Понаблюдайте, как дети смотрят кино. Они одновременно разговаривают, жуют попкорн, играют в телефоны. Это очень похоже на то, как ходили в театр при классицизме. Пообщаться, других посмотреть и себя показать. Пьесы тогда знали наизусть и отвлекались на них только в ключевых моментах: монолог Гамлета, ария, ноги в 4-й позиции. Стендаль пишет, как Ла Скала стала ведущим оперным театром. Это было единственное здание Милана, которое отапливалось зимой. Плюс там были разрешены азартные игры. В ложах принимали интересантов, можно было есть, пить, заниматься сексом. Музыканты были в курсе и отдыхали, читая рэп-речетатив.

Игры, конечно, обучают быстрее, чем кино, а кино — быстрее, чем книга. Но есть один нюанс. В случае книги или мифологии язык записывается

в ваших личных нейросетях, в головах вас и ваших близких, а в случае кино и игр этот язык записан где-то там. И когда это «где-то ещё» приказывает долго жить, вы остаётесь без языка.

Когда рухнет интернет, не факт, что у нас будет бумага для записей. Но писать можно не только на камеру. Можно записывать информацию прямо в мозг, в просторечии — запоминать, и в ландшафт — превращать землю в Святую Землю.

Есть концепция «мест памяти». Что такое места и что такое память?

Шерлок Холмс говорил о своём мозге как о шкафе с полочками. К нам лет 10 назад приезжал из Омска Олег Миллер с лекциями о мнемотехнике «дворец разума». Чтоб хорошо и быстро запоминать, надо развить пространственное мышление, потренировавшись на собственной квартире. И потом умственно прикреплять (ассоциировать) то, что нужно запомнить, с отдельными локациями квартиры. Ассоциации — те самые скрепы, которые мы так долго искали. Вашим личным банком данных может быть не только шкаф или квартира. Им может стать город целиком, вся земля. Часто такие банки данных, «дворцы разума», возникают спонтанно — мозг ассоциирует автоматически.

Раньше на границе между деревнями, на меже, пороли детей. Чтобы помнили, где граница. Если дети забывали, где межа, на границе устраивались традиционные побоища. Чтобы вспомнить всё.

У каждого из нас с определёнными местами связаны какие-то события, эмоции: в этом доме жил Комадей, здесь кого-то били, здесь мы пили пиво, тут мы увидели белку, там пробежал медведь, здесь сидела на дереве рысь, на этой улице родился Дмитрий Петрович Бак.

Если человек часто ходит пешком, он начинает непроизвольно вспоминать, и воспоминания прорастают в нём. Потом он организует индивидуальный тур по городу и начинает рассказывать старину мест вслух. Хитрость памяти в том, что мы вспоминаем не событие, а своё последнее воспоминание об этом событии. Память постоянно перезаписывается. Видеорегиратор фиксирует событие максимально отчуждённо. Это мёртвая память. Живая человеческая память постоянно редактируется.

Не случайно в знаменитом стихотворении Давида Самойлова (Я зарастаю памятью./ Как лесом зарастает пустошь) диалектически противопоставлены единичность и множество.

И там, в пернатой памяти моей,
Все сказки начинаются с «однажды».
И в этом однократность бытия
И однократность утоления жажды.
Но в памяти такая скрыта мощь,
Что возвращает образы и множит...
Шумит, не умолкая, память-дождь,
И память-снег летит и пасть не может.

Лес и деревья — нормальная метафора мозга и его ветвящихся дендритов. Люди, которые гуляют и проводят туры по местам памяти, встречаются, обмениваются историями. Редактируют их взаимно. Ткётся тест. Далее происходит интересная вещь. Местами памяти (банками данных) становятся сами люди. Я знаю, что по определённым тропам памяти бродят определённые люди, которые могут рассказать.

С возрастом приходит понимание того, что места памяти — не навсегда. Дома сносят или обшивают сайдингом. Деревья срубают. Реки меняют русла. Медведи уже не так часто выходят на улицы. Люди умирают. Остаётся старина мест. Просто её ещё раз нужно переписать по отношению к новым ориентирам.

Есть ещё один нюанс. Наш мозг — та же нейросеть, а нейросеть — тот же мозг. Ловец человеков издалека видит ловца человеков. Gleich und gleich gesellt sich gern. Мозг ленив. Нужно уметь обмануть мозг, пока он не обманул нас. Против соцсетей мы дружим с мозгом, против мозга мы дружим с книгами, «дворцами разума» и Святой Землёй.

Мозг не помнит, мозг не может,
Не старается сблещать
То, что знают мышцы, кожа,
Память пальцев, память плеч.

Эти точные движенья,
Позабывшие давно, —
Как поток стихотворенья,
Что на память прочтено.

Места памяти — не обязательно места. Это могут быть люди и животные. Или группа людей из любимой Пелевиным зороастрийской притчи. Когда поисковая группа осознаёт, что они все вместе составляют то, что они ищут.

Такая группа людей обычно структурирована, как фан-база «Роллинг Стоунз» в доцифровую эпоху. Кто-то ходит на все концерты, кто-то изготавливает фанатский мёрч, кто-то знает наизусть дискографию, кто-то выпускает фэнзин, кто-то знает наизусть все тексты, кто-то умеет их интерпретировать.

Как написано в Ригведе: ṛcām tvaḥ poṣam āste pṛuṣvān gāyatram tvo gāyati śakvarīṣu | brahmā tva vadati jātavidyām yajñasya mātṛām vi mimīta u tvaḥ. — «Кто-то сидит, приводя к процветанию гимны. Кто-то поет мелодию к (стихам) шаквари. Кто-то — брахман — провозглашает знание происхождения (начал). А кто-то измеряет меру жертвоприношения».

В идеале это монастырь — фабрика памяти. Там, где собираются те, кто помнит, и вместе создают «дворец разума».

Одним из таких консолидированных мест памяти стал для нас пансионат «Антариус» в посёлке Паратунка.

Как был устроен «Антариус»? Небольшие номера повышают социальность, выгоняют погулять и пообщаться, как в Париже, стимулируя общепит. В столовой мы засиживались по два-три часа, как в парижском кафе.

Бассейн. Вода, живая и мёртвая, идеальный посредник, стимулирует обмен мнениями. Мы были окружены не только термальной водой. Рядом дышал океан. Шёл дождик системы «тундрычок», это когда сырость висит в воздухе. Очень полезно для кожи. Потом открывались вулканы, пекло термоядерное камчатское солнце, «глаз дня», который противостоит «глазу ночи» старика Вия, бога смерти и «шоковой заморозки».

Прогулки делились на краткие и продолжительные. Краткая прогулка позволяет перезагрузить оперативную память. Расширенная, больше трех километров, запускает общий кислород, — переписать то, что накопилось в оперативке, на ландшафт. Создать из уроков — урочища.

Конечно, был общий чат. Но лучше бы его не было. Отсутствие чата стимулировало бы общение, создало бы больше мест памяти в рамках пансионата.

Важны были записи с нашим оператором Гришей. Во-первых, под запись

нужно повторить определённый текст, а повторять всегда полезно. «Повторение — мать учения». Во-вторых, этим достигалось отстранение. Можно было взглянуть на себя со стороны.

Чтоб показать себя со стороны, были встречи с читателями. Если бы таких встреч было больше, мы бы сформировали полноценную команду писательского стендапа. Чтобы книга была живой, а не мёртвой, мало писать. Необходимо читать, обсуждать и исполнять.

Что мы обсуждали в резиденции? Обсуждали мы камчатские древности, разрушение системы жанров, основы мифотворчества и автофикшн. Правда, Александр Рыбин предпочитал написание «автофикшн», как «аутодафе». Александр производил «автофикшн» непосредственно от «нонфикшн», игнорируя корень слова, наверное, потому что он журналист. Чего больше в «аутофикшне» — поэзии или правды, вранья или подноготной?

У «аутофикшна» действительно есть точки соприкосновения с «аутодафе», «актом веры». Если человек умеет убедить кого бы то ни было в том, что он говорит правду (раньше это решалось судом божьим), то его «автофикшн» становится истиной. Похожим образом работает юридическая фикция, ритуал, который делает из слов вещи. «Никогда не было — и вот опять!» — кратчайшая формула мифа.

Есть некий мифогенный резервуар в расплавленном состоянии, как земное ядро. Есть точки прорыва на поверхность на месте разломов. Это действующие вулканы мифотворчества. И есть застывшие нарративы (идиотское слово): сказки, рассказы, застывшие языками лавы, или огромные горы шлака, потухшие вулканы эпоса.

Александр Рыбин полагает, что анархо-коммунизм и отсутствие классов у ительменов — следствие равенства полов. Я думаю, что «ительмены удачи» — это племена писателей древней палеоазиатской цивилизации, которые создали постоянную резиденцию на Камчатке. Было бы полезно, чтобы писательская резиденция на Камчатке вновь стала постоянной.

Василий ШИРЯЕВ,
Камчатка,
посёлок Вулканный

Редакция не рецензирует и не возвращает рукописи и не вступает в переписку по поводу отвергнутых материалов.

Рукописи, в которых отсутствуют данные об авторе (имя и фамилия, обратный адрес или телефон), не рассматриваются и не возвращаются.

Все произведения, опубликованные в журнале «Урал», размещаются в Интернете. Если Вы считаете, что публикация электронной версии нарушает Ваши авторские права, просьба заранее предупреждать о Ваших возражениях.

Перепечатка любых материалов возможна только с согласия редакции. Ссылка на «Урал» обязательна.

Мнение редакции не обязательно совпадает с мнением авторов публикаций.

Журналы с полиграфическим браком возвращать в типографию.

Уважаемые подписчики!

Обращаем ваше внимание, что оформить подписку на наш журнал на 2024 год можно по единому индексу 73412:

- на сайтах: <https://www.pressa-rf.ru/> или <https://www.akc.ru/> (для юр. лица по желанию подписчика заключается договор и предоставляется полный комплект бухгалтерских документов);

- в отделе продаж агентства ОАО «АРЗИ», направив заявку по электронной почте: Govorkova@arzi.ru или позвонив по тел. (495) 680-99-71 (для юр. лица по желанию подписчика заключается договор и предоставляется полный комплект бухгалтерских документов).

А также:

- на любом почтовом отделении через электронный каталог «Почта России». Приходите, называете индекс ПС429 — и вас подписывают!

Подписку на журнал «Урал» можно оформить также в Центре подписки и доставки ООО «Урал-Пресс Город» по адресу: Екатеринбург, улица Мамина-Сибиряка, 130, телефоны: 262-65-43, 262-78-98.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ФС77-58576 от 14 июля 2014 г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Государственное бюджетное учреждение культуры Свердловской области
«Редакция журнала «Урал»
Учредитель — Министерство культуры Свердловской области

Главный редактор — Олег Анатольевич Богаев

Редакция:

Сергей Беляков — зам. главного редактора по творческим вопросам
 Надежда Колтышева — зам. главного редактора по вопросам развития
 Константин Богомолов — ответственный секретарь
 Андрей Ильенков — зав. отделом прозы
 Юрий Казарин — зав. отделом поэзии
 Валерий Исаков — литературный сотрудник
 Александр Зернов — литературный сотрудник
 Татьяна Сергеенко — корректор
 Юлия Кокошко — корректор
 Наталья Бушуева — бухгалтер

Редакционная коллегия:

О. Богаев, С. Беляков, Н. Колтышева, К. Богомолов, А. Ильенков

Редакция журнала «Урал»: 620014, Екатеринбург, ул. Малышева, 24, 4-й этаж
 Адрес электронной почты: editor.ural@mail.ru

Телефоны:

376-57-49 — главный редактор
 376-57-54 — зам. главного редактора по творческим вопросам, отдел прозы, отдел публицистики
 376-57-41 — зам. главного редактора по развитию, ответственный секретарь, отдел критики
 376-56-25 — бухгалтерия, отдел поэзии

Оформление обложки — Альберт Сайфулин.
 Отпечатано с готового оригинал-макета в типографии
 ООО «Издательство УМЦ УПИ» 620078, Екатеринбург, ул. Гагарина, 35а, оф. 2
 Подписано в печать 19.12.2023
 Дата выхода в свет 27.12.2023
 Формат 70x108/16. Бумага типографская № 2. Уч.-изд. л. 20,6
 Тираж 1100 экз. Заказ № 7791
 Цена договорная

Журнал «Урал» в Сети:

<http://uraljournal.ru/>
http://vk.com/zhurnal_ural

Электронная версия журнала «Урал» находится по адресу:
<http://magazines.russ.ru/ural/>